



ЛЕОНИД ФРОЛОВ

СВАТОВСТВО





ЛЕОНИД  
ФРОЛОВ

---

# СВАТОВСТВО

РАССКАЗЫ  
О ЛЮБВИ

МОСКВА  
«МОЛОДАЯ  
ГВАРДИЯ»  
1980

84P7  
Ф91

Ф  $\frac{70302-059}{078(02)-80}$  161—80. 4702010200

© Издательство «Молодая гвардия», 1980 г.



## ДЕВКИ ПРИЕХАЛИ

---

### 1

Дождь уже перестал, а с желоба все еще сочилась нервушейся ниточкой вода. Над лесом устало погромыхивало, будто насадно, с передышками, в гору катили пустую бочку. Козы, прятавшиеся от непогоды под сельсоветским крыльцом, озабоченно потряхивали бородами и, важные, выходили из-под укрытия, но едва гром, скопив силы, брался за гулкую бочку снова, как они вздымали хвосты и что было мочи неслись врассыпную вдоль деревни.

Мишка Некипелов ввалился в дом к своему дружку Кире Егорову в грязнущих сапогах. Киря сидел у окошка, ел из эмалированного блюда толченый лук со сметаной.

— Ты чего это не делом занялся? — спросил Мишка, топчась у порога и не решаясь пройти на-избу. Он

поводил носом во все стороны, недовольно сморщился: — Фу-у... Как от падины пахнет...

— Не по девкам и бегать, — отговорился Киря.

— Здорóво ночевали. — Мишка посмотрел на следы, остающиеся после него, и сел на порог. — А я тебя к девкам-то и пришел звать.

Киря усмехнулся: давай, мол, давай мели, Емеля...

В Полежаеве очень-то по этой части не разбежишься... Девочек для Мишки и Кири пока что неросло, а те, что были, разъехались по институтам да техникумам. Грамотными всем захотелось стать. Никому неохота за коровьи хвосты держаться.

— Чего ухмыляешься? — спросил Мишка. — Я, смотри, не шучу. Тут экспедиция какая-то приехала, разговоры записывает, интересуется, правильно ли мы говорим.

— Ну да? — усомнился Киря. — Будут по таким пустякам к нам ездить.

Мишка вскочил с порога.

— Во-о, деятель! Не верит, — теперь уже ухмылялся он. — Они с утра всех полежаевских старух перетаскали к себе. Экзамен прямо устроили: как это называется да как это? У моей бабушки про нижнюю рубаху даже спросили, что, мол, это такое. А она им: «Подстава», — так понравилось, записали.

Ну еще бы! Степаха — известный колоколец: ни перед каким вопросом не растеряется, с три короба наплетет кому угодно, только слушай ее... Так Мишке-то веры нет. Ох и мастер на розыгрыши! Иной раз так подъедет к тебе, что и не захочешь — уши развесишь.

— Давай, давай, ври дальше, — сказал Киря, но блюдо с луком отнес на кухню.

— Чего ври? — Мишка, чтобы поменьше наследить, метровыми шагами, на цыпочках, просаженил к печке, вытащил из-под шестка табуретку и подсунул ее под

себя. — Пошли к Тишихе, увидишь своими глазами. Три девки, говорят, приехали, одна-то вроде учительница, а две практикантки.

Мишка был не просто серьезен, а даже озабочен, и это Кирю сбивало с толку, он не мог отделить правду от лжи.

— Я у них ничего не оставил, — неуверенно отказался он.

— Да для науки! — загораясь, настаивал Мишка. — Пусть хоть современного человека запишут, а не старух... Заодно бы и познакомились.

Было похоже, что Мишка даже сердился на Кирю за его неуступчивость. Чего доброго, и обидится, с него может и это стать. Но все-таки доверяться Мишке на сто процентов нельзя.

— От меня луком пахнет, — использовал Киря последний козырь, чтобы проверить товарища: не будет же он вонючего козла тащить с собой на это знакомство.

Мишка озабоченно согласился:

— Да, поторопился ты нажраться этой заразы. — Он поставил свои мокрые сапоги на перекладину табуретки, тоскливо посмотрел на скопившуюся внизу лужицу грязной воды. — Придется, видать, одному разбираться с ними.

Киря, чтобы поддержать его боевой дух, спросил:

— А надолго они приехали-то?

— Да в том-то и дело, не знаю. — Мишка покачал головой и вдруг хлопнул себя по колену. — Слушай! — повеселел он. — А ты зажуй мускатным орехом! Водку перешибает, так или уж эту дрянь не осилит?..

Э-э, вот тут-то, пожалуй, Мишка и подцепил Кирила: на попятную ради товарищества не пойдешь, и, если розыгрыш, смешнее-то случая для подковырок и не придумать.

Да ведь была не была! Кому смеяться-то? Кроме

Мишки, и некому. Ну, соберутся механизаторы в мастерских, им Мишка расскажет, поржут мужики над Кирей. Ну, еще в колхозной конторе людей посмешат, а больше-то некого. Перед девками было бы стыдно, но в Полежаеве всего одна девка была — Шура Лешукова, агрономка, — так и та после посевной замуж вышла за заведующего клубом Геннадия Ивановича. Женихов-то есть — загибать пальцы, так на одной руке их не хватит, на другую придется перебираться. Все механизаторы женихи, один Колька Попов — из молодых-то — женатый. А остальные, как Мишка Некипелов, только и смотрят, с кем бы знакомство завести.

— Ну, давай свой мускатный орех, — жертвенно протянул Киря руку.

Мишка пошарил, пошарил в карманах, а ореха-то нет.

— Ой, черт, ведь вчера в гараже выпивали, так раздал ребятам. — Он сокрушенно развел руками.

Тут уж и дураку видно, что Мишка и не думал Кирию разыгрывать. Вон как расстроился.

— Так чего? В одиночку пойдешь? — сочувственно спросил Киря.

— Да хоть сблизил глянуть, что за девки.

— Ну, ну, валяй. — У Кири где-то валялся этот мускатный орех. Куда же он засунул его? Кажись, в ящик стола... — Валяй, валяй, записывайся за всю советскую молодежь.

Мишка не отреагировал на издевку, сложил на коленях руки. Киря впервые заметил, что они у него сплошь в ссадинах и что в них намертво въелось машинное масло. Посмотрел на свои, а и у него не лучше, такие же грабли, пропитанные мазутом. Ну а чего ты хочешь от трактористов? Целыми годами так: железякой палец раскровенишь, а соляркой смажешь. Вот они, руки-то, как железнодорожные шпалы и стали, на века теперь черные. Только девок ими и обнимать...



Кирия выдвинул из-под столешницы ящик — ага, вот он, миленький, где от них прячется, дождался-таки своего часа...

Мишка Некипелов и не заметил, что у Кири орех в руке.

— А у них, может, задание такое — со стариков одних запись делать, — вздохнул он. — Не зря ведь и остановились они у Тишихи, у старухи.

Ты смотри, как ему увековечить себя охота...

## 2

Тишиха и сама устроила девкам допрос:

— Хватит, попытали старух, теперь про себя расскажите, кто вы такие, откуда, чьи.

Но вопросы-то у нее вертелись только вокруг родителей: твоей маме сколько годов да твоему папе сколько. Выходило, что молодые у девок родители, ни один ей в ровесники не годится.

Тишиха сидела на кровати и покачивала головой:

— Твоя-то мать моей Кати на год моложе... — прикидывала она, вспомнив о дочерях.

— А твоя с Валентиной моей одногодки...

Она очень рассчитывала, что начальница девок — строгая, уже со вставными зубами и уже с именем-отчеством, Фаина Борисовна, — окажется ближе к ней своими родителями, но Фаина-то Борисовна всех дальше и оказалась.

— Ты смотри-и... Тины моей на два года только и старше. Так Тина-то у меня ведь последняя, ей уж сорок годов... А тебе-то сколь, милая?

— Двадцать пять.

— Мо-о-лода-а-я...

Тишиха почему-то думала, что Фаина Борисовна старше. Может, вставные зубы сбили Тишиху с толку. Она сама-то ими обзавелась уж тогда, когда на тот свет

пора было ладиться, а не зубы менять. Но Фаина Борисовна и повадками была не очень-то молода: не балаболила лишнего, не шепталась ни с Лариской, ни с Надей — а те только уши друг дружке и подставляли, столь секретов у них накоплено, — и, уж конечно, не прыскала, как они, в кулачок. И еще отделяло ее от девчушек то, что она в отличие от них была не в брючном костюме, а в обычном сереньком платье, хоть и ладно облегавшем ее фигуру, но нефасонистом, нефорсистом. Теперь в таких платьях доярки и коров ходят на ферму доить.

Лариска, пожалуй, оделась тоже невызывающе: брючки черные и в обтяжечку, как у спортсменки. Так это Лариске было как раз к лицу: она худенькая, чернявая — брюки делали ее строже, подтянутее.

А Надежда-то вырядилась как огородное чучело: натянула на себя не штаны, а балахоны — в каждую штанину можно по беременной бабе забить. И ведь сшито-то черт знает из какого и материалу — Тишиха из такого платок и то постыдилась бы носить: петухи не петухи, а какие-то разноперые, крикливые птицы насажены на зеленые ветки, не по одному петуху на каждой штанине. И кофта не кофта на Надежде, а мужская рубаша со стоячим воротником, с накрахмаленными манжетами. Это надо же так себя испроказить: на лицо посмотришь — девка как девка, миленькая, улыбается, и щербинку видать, русые волосы в косу заплетены, а вниз глянешь — и обомрешь, петухи все впечатленье портят. Когда Надежда по избе ходит, только их и видать: от лица взгляд оттягивают.

Фаину Борисовну, наверное, и силой не заставишь Надеждины штаны на себя надеть: эта знает цену обезьяньему модничанью. Правда, больше всего Тишиху склоняло к мысли, что Фаина Борисовна уже повидала жизнь, все-таки не это, а то, что она будто дочка, так

за ней по пятам и ходила: Тишиха загремит в сенях ведрами, чтобы отправиться за водой, а Фаина Борисовна уже у нее отбирает их: «Ой, что вы! Вам тяжело, а я для разминки сбегая... Пойдемте, покажете, где колодец». Тишиха наладится за дровами в ограду, а Фаина Борисовна опять впереди нее. До того ловка, будто сизмалу со стариками росла.

Конечно, годы у Тишихи уже не такие, чтобы воду носить и дрова таскать. Тут Фаина Борисовна правильно говорит. Только кто за Тишиху будет эту работу делать? Вот уж, посчитать, сколько годов одна живет, Тихона ухлопали на войне в сорок первом. Ой, да ведь тогда мужиков-то что солому валили на огонь — полежаевских только трое домой и вернулось. Девоч Тишиха всех подняла на ноги, замуж выдала. Вон уж младшей-то, Тине, сорок годов исполнилось. Даже Тина в матери Фаине Борисовне почти годилась, не то что старшие дочери.

— Федосья Тихоновна, — спросила Тишиху Фаина Борисовна и повертела в руках самопишущую ручку, — так сколько же у вас всего-то детей?

— А пиатеро. Пиать девоч бог дал.

Фаина Борисовна удивилась, Лариска зачем-то наклонилась к Надежде, чего-то сказала ей на ухо. Надежда не согласилась, головой замотала:

— Да нет же... Пи-и-ать... Дифтонг «иа»...

— Федосья Тихоновна, — попросила Лариска. — Скажите, пожалуйста, еще раз: пять.

— Ну, пиать, — обескураженно повторила Тишиха.

Девочки опять заспорили. У Лариски черные кудряшки затряслись на голове, как у овечки. Надежда тыкала карандашом в бумагу и настырно стояла на своем:

— И-и-а...

— Девочки, — остановила их Фаина Борисовна. — Я уже записала.

Они, столкнувшись лбами, сунулись к ее тетрадке.

— Ага, пи-и-ать...

Потеха и смотреть-то на дурочек. Сами-то, видать, еще ничего не смыслят, а спорят как умные.

Но Тишихе было приятно, что они — все трое — записывали ее одну.

— Пиать девок у меня, — сказала она еще раз. — Ой, а ведь росли-то как... — Она и не хотела, да возвращалась памятью в те года. — Я тогда дояркой работала, так дети-то у меня как поросята...

— Молоко им носили с фермы? — спросила Надежда, показав на зубах щербинку.

Господи, ничего-то не понимают...

— Какое еще молоко? Как поросята, были в грязи. Мне ведь за ними и присмотреть некогда. Утром при темне к коровам убежу, да и вечером заявлюсь, они уж спят... Ой, ведь как мы работали-то... Ведер железных не давали на ферму. Деревянные были, тяжелущие — а воды-то надо сколько переносить: у меня восемнадцать коров, потаскаешь...

Тишиха видела, что и Фаина Борисовна и девчонки чего-то записывали.

— Так бы и почитала такую книгу, про мою-то жизнь. Во сне увижу — и то страшно, — призналась она. — А теперь-то и корм сам идет. Господи, как все сделано... Поилки, подумай только...

Тишиха замигала повлажневшими глазами: девки перед ней задвоились. Ой уж и поревела она за свою жизнь! Ревела, ревела — и, как жаловалась не раз, глазами из-за этого почти не завидела.

— Обжинали серпами под жнейку, — без всякого перехода переключилась она с фермы на поле. — Вижу, Тина ко мне бежит: «Мама, есть хочу!» — «А поешь, — говорю, — колосков. Только колоски-то, мотри, когда вышелушишь, не разбрасывай, захорони в земельку, а то обоих засудят». Поела она зернышек. «Сыта?» — спрашиваю. «Сыта». — «Ну и ладно, иди домой...»

Не помню уж, сколь прошло времени, вдруг Валя сломя голову с горы летит: «Мама, — кричит, — Тинка умирает». Я и серп оставила на полосе. Тина моя на печи катается. А во жниву было, и так жарко. За брюхо руками хватается, стонет... Ржи-то зеленой наелась, разбухло там. Уж поблевала бы, так и полегчало. А ей не блюется, и в уборную не может сходить. Я быстрее спроворила самовар, налила кипятку в бутылку и по брюху ей бутылку катаю, пока не ырвало. ырвало — тогда уж и стала она в себя приходиться...

Тишиха терла под глазами:

— А у меня еще Оля есть. Она после Гали вторая, пятый класс тогда кончила. Ну, думаю, надо куда-то девку устраивать. Она-то грамотная, зачем и ей с нами с голоду подыхать. Давай, решила, на счетоводку пошлю учиться. А председатель колхоза справку никак не дает: «Кто у меня, — говорит, — боронить в поле будет?» А тем же летом ему повестка на фронт и пришла. Утром кричит под окошком: «Оля, приходи за справкой, меня на войну берут...» Уж и косточки у него, наверно, изгнили давно, а я ему, Ивану-то Ивановичу, и сегодня поклоны кладу: уж так выручил, так выручил — ну-ка, на один рот убавил голодную-то ораву...

Тишиха встала с кровати, перекрестилась перед иконами:

— Дай бог, чтобы тебе хоть там-то хорошо было, Иван Иванович.

Лариска, сидевшая за столом ближе всех к красному углу, из-под низу зыркнула глазами на образа и подо двинулась плотнее к Надежде.

— Чего бога-то испугалась? Не укусит тебя, — сказала Тишиха и опять села на кровать. Кровать была деревянная, разохшаяся и, когда на нее садились, скрипела. — Здоровье-то, как и у меня, неважноецкое. Чуешь, жалуется... — Тишиха поерзала, заставив кровать снова скрипеть. — Ну, так ведь в приданое с собой привезла.

Тятя-то у меня краснодеревщиком был, изладил кровать: «Вот, — говорит, — Тиша (мужу-то моему, а и сам тоже Тиша: я вся в Тихонах, как в снопах на овине)... Вот, — говорит, — Тиша, на ваш век хватит, за свою работу ручаюсь. Если, — говорит, — не осердишься на Федосью да сгоряча не искромсаешь мое изделие топором, так и сто лет простоит. Тятя знал, за кого меня выдает.

— А что он, муж-то, сердитый был? — спросила Лариска. Глазенки у нее испуганно засверкали, в них за теплилась жалость.

— Кто? Тиша-то? Не-е-ет... Раза два за всю жизнь и поколотил меня, так и то за дело.

— Он вас би-ил? — вытаращила глаза Лариска. — И вы от него не ушли? Я бы и минуты не задержалась!

— Ой, да это ведь Тиша, — сказала Тишиха. — От такого и стерпеть можно.

Лариска было открыла рот, но Фаина Борисовна строго глянула на нее и кивнула на лист белой бумаги: пиши, мол. Лариска, как старательная школьница, склонилась над бумагой. Черные кудряшки нависли над лбом. А обиделась, обиделась, нос-то и то покраснел от досады.

Чего-то Тишихе напомнило в поведении Лариски младшую дочь.

— Ой, про Тину-то еще чего рассказать хочу... — спохватилась она. — Начнут девки с кошкой играть, а ей не дают. Она уйдет за комод, никогда не подумаешь, что расстроилась. Приткнется в угол книжку листать... А у нее, у бедной, обида-то в сердце ушла, никому не выкажет ее. Утром встанет пораньше, пока все спят, и наиграется с кошкой... Ой, дети, дети, куда мне вас дети...

Тишиха улыбалась воспоминаниям. Вот еще чем хорошо квартирантов держать — уж, кажись бы, совсем

забудешь чего, а с ними начнешь говорить и ненароком наткнешься, будто куст малины отыскала в лесу, который сама же и оставляла дозориться, да в суматохе забыла.

Вот ведь чего, ну-ка, вспомнила: про кошку. Тине тогда лет восемь было, поди. А теперь уж у дочери ни единого волоска родного нет — вся седая. Время-то как бежит...

Про Тинины волосы Тишиха говорить не стала: начнутся расспросы, что да как. А ей сейчас распространяться о том, что у младшей дочери умер муж, нисколько не хотелось.

— Теперь уж у Тины детки, — сказала она. — Четыре ребеночка, все в школу ходят... Каждые каникулы привозила ко мне. А в прошлом году не привезла, так я не видала и лета, как потеряла чего...

Тишиха подумала, что уж сейчас-то они у нее спросят, привозила ли Тина ребят нынешним летом, и заторопилась, чтобы они не успели задать вопроса:

— Ой, не озорные у нее детки, нет, все с разрешения. — Она шумно высморкалась и все-таки не смогла усидеть на месте, пошла будто бы в огородец, накопать на обед картошки-скороспелки.

Фаина Борисовна было засобиралась с ней, но Тишиха остановила ее:

— А чего ты со мной пойдешь? Два-то куста картошки выкопать невелика надсада.

Фаина Борисовна так и осталась.

Тишиха вышла из избы, проскрипела воротами в огородец и прислонилась спиной к заплоту ограды.

Дождь навывачивал из травы комаров. Они скопились под крышей, не вылетали на ветер и будто только и дожидались Тишихи. Она поотмахивалась от них рукой, но — это ведь не комары, а зверье, не дадут и погоревать — побрела к начатому загону картошки.

Картошку нынче опалило морозом, ветвина у нее побурела, как осенью. И ведь как дружно весной все двинулось в рост — и хлеба, и трава, и картошка. Но тепло продержалось недолго. В июне ударили холода — и все сразу присело.

Скороспелка уродилась нынче не больше куриного яйца. И дожидаться от нее, что она поправится, не приходилось, потому как ветвина уже отмерла от клубней, клубни жили в земле сами по себе.

Да-а, про Тину лучше и не затевать разговора. А как не затеешь, когда Тина из головы не выходит. В тридцать пять лет осталась одна с четырьмя ребятами — натерпелась горького до слез. Тут посидеешь...

Видно, богу угодно, чтобы какая-то из дочек повторила ее судьбу. Тишиха овдовела в сорок один. А Тина-то и того раньше. Вот уж пять лет мыкается...

По три года привозила Тина своих ребят к матери. А то ведь летом-то неизвестно, куда их и девать. Всех не забудешь в пионерский лагерь на три-то смены. Да Петька тогда еще в садик ходил, Вера в первый класс — какие им лагеря.

— Вези, Тина, всех ко мне!

А это ведь только легко сказать: «Вези»... К семидесятилетней старухе. Лето Тишиха пропышкает над ними, а на осень сама сляжет: и голова болит (нервы-то уж никуда не годятся; ну-ка все три месяца в расстройстве: не заболели бы без матери, не заблудились бы в лесу — лес-то такой большой, не утонули б в реке), голова болит, да и ноги не ходят, и руки не действуют. Надо бы на зиму дров наготовить, а с ребятами и некогда было: то стирка, то варенье.

Три года выдержала, а больше-то не смогла. Сказала Тине:

— Не могу, Тина, больше...

Так сама же и покою нигде не находила, изболелось



все сердце: как там Тина одна-то с четырьмя управляется? Да и не в деревне ведь, в городе. Выскочил на дорогу ребенок — и того гляди, как бы не попал под машину.

«Привози, Тина, на лето», — написала дочке опять. Но Тина ведь у нее неглупая, понимает, что через два года мать не стала моложе.

«Приезжай, мама, сама», — ответила ей дочка.

Господи, четыре рта на руках, а она еще и пятый зовет. Да куда уж ей, Тишихе, теперь ездить? Дождет свой кусок и дома.

Старшие девки тоже звали ее к себе, и им отказала: у одной с мужем не больно ладится, у другой у самой здоровье кулижками — то ничего, а то прихватит, что в больницу заставляют ложиться; у третьей квартира тесная — сами-то чуть друг по дружке не ходят; а Галя скоро на пенсию — ей только гнилого-то пенька около себя и не хватает.

Да уж и не в ее возрасте по городам разъезжать. Нечего теперь старыми костями трясти, грей на печке бока.

Тишиха накопила скороспелки — не картошка, а один смех, чуть крупнее гороха, — намыла в канаве той, что «похруще», а остальную свалила в ведро. Надо будет Степахе отдать, пускай поросенку скормит. Тишиха уже скота не держала, а Степахе ей чуть не через день приносила молоко и не брала за это никаких денег.

Тишиха пошла в избу и еще из сеней услышала, что в окошко стучат. Ой, господи, чего такое стряслось? Она открыла дверь. Девки все еще сидели за столом, сортировали по кучкам какие-то бумажки.

— Федосья Тихоновна, вас зовут, — сказала Лариска.

— Ти-и-хо-овна! — под окошком стоял Сережка Дресвянин, парнишечка с другого конца Полежаева.

Он еще Тининой-то Вере ровесник. Когда Тина привозила ребят, так каждый день прибегал с ними играть.

— Чего тебе? — спросила, не открывая окна, Тишиха.

— Селедку привезли в магазин.

В кои-то разы...

Тишиха засустилась, полезла в комод за деньгами.

— Ну, девки, картошку-то не зря я копала...

### 3

В душе Фаины Борисовны все плясало и пело: едва успели они приехать с девчонками в Полежаево, как в руки им повалил такой материал, какому сам Соболевский, отец русской диалектологии, и то обрадовался бы. Ну-ка, пошла Фаина Борисовна с хозяйкой за водой («пó воду», как сказала хозяйка), а Федосья Тихоновна и говорит:

— Чего-то брилы среди лета обветрели...

Фаина Борисовна повертелась в недоумении, где это обветревшие среди лета брилы. Все зеленеет кругом, ни одного побуревшего клочочка земли, ни одного ссохшегося кустика.

— Уж не лихоманка ли привязалась к ним, — вздохнула Федосья Тихоновна, и только тут Фаина Борисовна поняла, что хозяйка жалуется на губы: они у нее шелушились.

Переспросила — и точно: брилы — это губы, а губой, оказывается, называют в Полежаеве подбородок.

Да как разговорились по дороге к колодцу с Федосьей Тихоновной, так Фаина Борисовна четыре страницы избисерила в блокноте: «пожня» — это луга, «дрязд» — луковица на грядке («выдерни один дрязд»), а уж «водиця», «куриця», «дровця» так и сыпались во время разговора как из рога изобилия. Что ни слово, то для науки находка.

— Девочки, — сказала Фаина Борисовна своим помощницам, когда Федосья Тихоновна ушла в магазин, — я вам советую быть ближе к объекту. Вот мы сейчас с Федосьей Тихоновной ходили по воду, — она улыбнулась себе, довольная, что так ловко вставила в свою фразу необычную для нее конструкцию, — и я записала сорок девять диалектизмов.

Фаина Борисовна с нескрываемым наслаждением прочтала девочкам эти сорок девять слов и выражений и посоветовала:

— Надо применяться к жизни объекта, к его желаниям, привычкам, бытовым потребностям. Вот он пошел за дровами — помоги ему, за водой пойдет — тоже сходи с ним. И объект полнее раскроется, не будет чувствовать себя скованным.

Фаина Борисовна знала свое дело, выезжала в экспедицию уже пять раз. Трижды, еще в студенческие годы, побывала в Новгородской области, два раза, будучи уже аспиранткой, съездила на Кубань, и вот теперь, — не аспирантка, а почти ассистент кафедры русского языка, — по крайней мере, разговор с ней об этом состоялся еще весной, — она приехала руководителем группы в Полежаево.

Девочки ей попались хорошие. Фаине Борисовне было бы грешно на них жаловаться. Что она им ни скажет — выполняют беспрекословно. Ну, иногда Надежда, недовольная каким-нибудь приказанием, слегка взбрыкнет («Фаина Борисовна, да это же мартышкины хлопоты!»), но стоит Фаине Борисовне на нее посмотреть поостроже, и та все сделает, и сделает-то на совесть, не подкопаешься.

Фаина Борисовна и сама во время первой экспедиции не все понимала — а ей казалось, что все! — и лезла к руководителю группы со своим особым и единственно правильным, как ей думалось, мнением.

Ничего, время лечит от зазнайства и переоценки соб-

ственных сил. Теперь-то Фаина Борисовна знала, что она не рождена хватать с неба звезды, но была твердо уверена, что кандидатскую диссертацию высидит и что ее кандидатская будет ничуть не хуже других, а может, в каком-то смысле даже и лучше — добросовестнее. Вот только обескураживало Фаину Борисовну, что она не успела завершить диссертацию, пока училась в аспирантуре. Так это еще раз подтверждало: на небе звезды не для нее.

Фаина Борисовна приглядывалась к своим помощникам. Они были моложе ее на каких-то пять лет — а какая разница! Будто между ними целая жизнь. И если бы Фаина Борисовна начала себе объяснять, почему это так, если бы она начала докапываться до причин этой резкой непохожести девочек на нее, она, конечно бы, отметила в первую очередь беззаботность, беспечность своих учениц. Фаина Борисовна никогда не была такой. Ею с первого курса — нет, значительно раньше, с девятого класса — была выбрана цель — стать... ну, не ученым, это громко звучит, а кандидатом наук и (Фаина Борисовна допускала такую возможность), может быть, доктором. Но и в этом, последнем, случае Фаина Борисовна чувствовала некоторое несовпадение между понятиями «ученый» и «доктор». Девчонки же бездумно жили сегодняшним днем. Фаина Борисовна однажды задала Ларисе такой вопрос:

— Лариса, через три года вы заканчиваете университет... Пора предпринимать какие-то шаги, чтобы устроить свое будущее.

— Да что вы, Фаина Борисовна, — смущаясь, сказала Лариса, — замуж мне еще рано.

Дурочка, Фаина Борисовна ей совсем о другом толковала, о карьере — не в плохом смысле этого слова, а в первородном. Фаина Борисовна не захотела ставить Ларису в неудобное положение, пояснять свой вопрос, но узнать, куда думает студентка уже, считай, третьего

курса, податься после университета, ей было интересно, и она спросила по-другому:

— А где бы вы хотели, Лариса, работать?

— Куда направят.

— Даже в школе? — невольно вырвалось у Фаины Борисовны, потому что нынешняя школа для человека с нормальной организацией нервной системы, по ее разумению, — ад.

Лариса безразлично пожала плечами.

— Без работы никого не оставят, — сказала она.

Возможно, Лариса немного скрытничала, Фаина Борисовна уже заметила за ней, что она обладает завидной реакцией замыкаться в себе. Как это Федосья Тихоновна сказала про дочь? «Вся обида ушла в себя...» Да, да, кажется, так. И Федосья Тихоновна углядела в Ларисе такую особенность, иначе об этом не вспомнила бы.

И все-таки — Фаина Борисовна чувствовала — не настолько Лариса скрытна, чтобы не сказать преподавателю об обыденной для студента вещи, где бы ей хотелось работать. Видимо, Ларисе и в самом деле было безразлично, преподавать ли в школе или закончить аспирантуру и, как Фаина Борисовна, остаться в университете при какой-нибудь кафедре.

У Надежды же Фаина Борисовна о планах на будущее даже и спрашивать не стала. Тут ясно и без вопросов: Надежда — воплощение бездумности. Ей бы только покрикливее вырядиться да попохотать.

Нет, нет, Фаина Борисовна не обижалась на девушек. То, что нужно сделать сегодня, то, что требовала от них Фаина Борисовна в данный момент, они выполняли безукоризненно. Может быть, им не хватало инициативы, творческого жжения, так разве можно требовать этого от всех людей подряд? Творческий зуд возникает, когда перед человеком сияет заманчивая звезда.

Фаина Борисовна попросила девушек разнести по карточкам собранный утром материал.

— В Москве будет некогда... Мы все должны обрабатывать здесь, на месте.

Надежда слегка нахмурилась, едва заметная тень проскользнула у нее по лицу, а Лариса сразу склонилась над записями.

Фаина Борисовна вышла на крыльцо.

Трава была еще мокрая от дождя. С крыши скатывались редкие капли. Но было уже совсем тепло. Фаина Борисовна села на лесенку и, вернувшись памятью к разговору со своими помощницами, подсадовала на себя, что забыла высказать девчонкам еще один, может быть, самый важный для диалектолога совет: нельзя эмоционально воспринимать душевные излияния объекта. Надо записывать и записывать, что он говорит. Сочувствовать некогда. Слово, как говорится в пословице, не воробей, вылетит — не поймаешь. А девчонки иногда забывали о том, что охать и ахать, ловить ртом мух профессионалам диалектологам строго-настрого противопоказано.

Ничего, она им об этом еще успеет напомнить. Они все-таки восприимчивые.

В огороде у Федосьи Тихоновны трава была уже скошена, сметана в стожок. На стожаре сидела ворона. Ветер, как у флюгера, заворачивал ей хвост.

Фаина Борисовна вдруг ощутила на себе пристальный взгляд сбоку. Она, не шевельнувшись, скосила глаза. На крыльце с поднятой для очередного шага лапой замерла курица. Фаина Борисовна хотела ее прогнать, но курица, выражаясь словами Федосьи Тихоновны, «посулила ей яйцо» — ко-ко-ко — и вкрадчиво переставила лапу на солнечный свет.

Солнце еще путалось в серых отрепьях ускользящих облаков, но уже испускало тепло, и курица чувствовала его. Она поджала лапы, повела шеей в сторону

Фаины Борисовны и, успокаиваясь, пригреваемая слабыми лучами, сонно стала закрывать глаза. Фаина Борисовна впервые в жизни увидела, что веки у курицы закрываются снизу. Снизу, не сверху наплывает на роговицу желтый мешочек кожи.

Фаина Борисовна так удивилась этому, что, вспугнув курицу, побежала в дом.

— Девочки! — изумленно воскликнула она у порога, но, увидев, что Лариса с Надеждой сортируют на столе карточки, решительно подавила в себе по-детски выплеснувшийся восторг. — Вы уже работаете? — спросила она деловым тоном и так же деловито похвалила их: — Молодцы.

#### 4

Солнце уже прорвало облака, и земля парила. Видно, верно подмечено стариками: с утра дождь — так под вечер день хорош... Разгуляется денек и сегодня.

Но через дорогу-то надо переходить, не дожидаясь вечера, а на ней грязи по уши. Мишка Некипелов посмотрел через дорогу на зазывно зеленеющую омытой травой лужайку и пошел напрямую:

— Давай за мной, пока Тишиха за селедкой не сбегала, — сапоги у него зачавкали, заскользили по мыльной глине.

Кирия помялся-помялся, да делать нечего — не отставать же от боевого товарища — и, пытаясь угадать ногой в остающиеся после Мишки следы, сунулся в болотно засасывающее месиво.

Мишка выбрался на затравеневшую дернину, оттопал грязь с сапог.

— Скажем, поля проверяли... Просим, мол, извинить за такой затрапезный вид. — На нем был Кирия прорезиненный плащ, на лоб блином свисала Кирина фуражечка-восьмиклинка, в руках Мишка держал старый Кирия портфель, набитый газетами.

— Ну как? Похож на председателя сельсовета?

— Похож, — насмешливо успокоил его Киря, а сам подумал: «На раменского пастуха, тот с портфелем коров пасет...»

Они спустились под горку до Тишихиной избы. Окна у нее были низкие, и Киря с Мишкой, проходя мимо них, увидели, что девки сидят за столом и чего-то едят.

— Интеллигенция, едриттвой налево, — завистливо сказал Мишка и сунул руку в темнеющий на дверях прорез, чтобы открыть с той стороны задвижку.

Дверь заскрипела, предупреждая тех, кто в избе, что пожаловали незваные гости.

Мишка с Кирей не решились перешагнуть порог в сени: полы отсвечивали яичным желтком.

— Мать честная, как языком вылизано, — сказал Мишка.

Ну, Тишиха чистюля известная. У нее не только в избе, но, наверное, во дворе на найдешь ни единой паутинки.

В углу у дверей стояли три пары туфель.

— Ого, уже и девок разула, — заметил Мишка. — Босиком шлѣндают по избе. — Он запустил под кепку ладонь, почесал затылок. — Н-да, непредвиденное препятствие...

А Киря, кивнув на туфли, добавил:

— Как в иностранной церкви. — Он читал об этом в какой-то книжке, что будто бы там разуваяются прямо на улице.

Мишка было стал снимать сапоги, но потом одумался: смешно же будет — председатель сельсовета предстанет перед девками босой, как Иисус Христос.

— Пошли, — позвал он решительно Кирю. — Девочек столько, или не вымоют.

Они боялись оглядываться, чтобы не видеть своих следов.



Мишка открыл дверь в избу и, согнувшись в три погибели — косяки были низкие, — шагнул на еще чище, чем в сенях, вылизанные полы.

— Здравствуйте, — сказал Мишка, проходя на́-избу и небрежно бросив портфель на лавку.

Девчонки притихше уставились на него. Начальница — по всему видно, засидевшаяся в старых девах кимора — поздоровалась за всех и спросила:

— Вы к хозяйке? — и осуждающе посмотрела на Мишкины сапоги.

Кирия от порога было начал извиняться за неопрятный вид: мы, мол, поля смотрели, но Мишка перебил его:

— Нет, мы к вам, — и строго уставился на старую деву.

— Чем могу быть полезна? — спросила старая дева и показала вставные зубы.

Мишка расстегнул плащ, по-хозяйски бросил кепку на свой портфель и пригладил ладонью волосы:

— Я председатель сельсовета, — представился он. — А это, — Мишка указал на оробевшего у дверей Кирию, — полежаевский бригадир.

Кирия сделал два шага вперед, полупоклонно кивнул головой.

— Очень приятно, — сказала старая дева.

Ее помощницы, переглянувшись, прыснули, зажали ладонями рты. Наставница строго посмотрела на них, и они отвернулись к окну, чтобы не рассмеяться в открытую.

Кирия немного смутился: «Чурбан неотесанный, — осудил он себя. — Раскланялся как царский офицер».

Девчонки обе и, отвернувшись-то, не выпускали его из-под обстрела своих глаз.

Кирия кашлянул в кулак и смутился еще больше: девчонки неприязненно смотрели на его проскипидаренные мазутом руки. Кирия как от огня отдернул их ото рта и

спрятал за спину, сцепившись пальцами на поясице. Вот так-то, пожалуй, стоять лучше, — и вид независимее.

— Та-а-ак, — начальственно протянул Мишка. — Кто такие? С какой целью приехали?

Старая дева полезла в чемодан доставать документы:

— Мы из Московского университета, — через плечо говорила она. — Диалектологическая экспедиция. Изучаем северный говор.

— Хорошее дело, — сказал Мишка и сел на лавку к столу.

Кирия, торопливо отодвинув от Мишки портфель, занял место с ним рядом.

На полу после них кое-где отстали от сапог пластинки влажной земли с отпечатавшимися на них рубчиками подошв. Первым желанием Кири было собрать ошметки и бросить под умывальник в таз, но это было бы неестественно: начальство они или нет?

У Тишихиной кровати была привязана к деревянной точеной ноге нитка с бумажкой на конце. «Для кошки, — догадался Кирия. — Тишиха себя развлекает — как маленькая». В детстве он тоже любил так забавляться: потрясет за нитку, а кошка тут как тут — выскочит из-под кровати и начнет бумажку ловить, ухочешься.

Старая дева принесла командировочные удостоверения.

— Вот, пожалуйста... Да мы бы ведь все равно зашли в сельсовет отмечаться... Куда бы мы делись... — Она улыбнулась, опять показав вставные зубы, и добавила: — Без отметок нам и командировочные расходы никто не оплатит.

Мишка не поддержал ее шутку.

— Положено сразу отмечаться, — сказал он.

— Да мы уж как-то привыкли, что одновременно ставим отметку и о прибытии и о выбытии.

— Не положено одновременно. — Он взял удостоверение, повертел их в руках.

Кирия испугался, что на них останутся жирные отпечатки Мишкиных пальцев. Уж не показывал бы никому свои руки. Ра-а-стя-а-па...

Девчонки уже не смотрели в окно, облокотились о стол. Та, что сидела справа, со щербинкой в зубах, белокурая, игриво протянула:

— Такие молодые, а строгие...

— Надя! — остановила ее старая дева.

— А нет, в самом деле, Фаина Борисовна, — обиженно обернулась к ней Надя. Русая коса стекла у нее со спины на предплечье. — Нигде таких строгостей нет, как здесь, в Полежаеве. — Она сердито отбросила косу назад.

Кирия сразу вспотел: пересолили, надо было полегче.

— Порядки везде одни, — назидательно проговорил Мишка. — Другое дело, что в одном месте их нарушают, а у нас требуют неукоснительного исполнения. Если вам не нравится это, мы можем вообще не отмечать ваши командировки.

— Да нет, что вы? Мы не в претензии, — заволновалась Фаина Борисовна. — Это Надя по недоразумению сказала...

Надя нервно затеребила стоячий ворот блузки. Видать, и она всерьез приняла Мишкину угрозу. Но глаза у нее прищуренно и, как показалось Кире, насмешливо следили за новоявленным начальством. Они будто бы утверждали, что уж если нельзя пришельцев поставить на место словами, то никто не запретит ей выразить к ним свое отношение взглядом.

Вторая студентка — чернявенькая, в кудряшках — была сдержаннее, скромнее и не встречалась глазами с Кирей. Она сидела вполоборота к окну и делала вид,

что ее совершенно не занимает, зачем заявили к ним в избу председатель сельсовета с полежаевским бригадиром, как бы уже заранее предвидя, о чем они спросят, что ответит им их начальница, как они попросят прощения за беспокойство и уйдут исполнять свои прямые обязанности.

Мишка, видно, так же истолковал ее безразличие и загорячился.

— Паспорта, — потребовал он и, пока Фаина Борисовна доставала паспорта, спросил: — Сколько дней пробудете в Полежаеве?

— Да, наверно, дней семь, — опять через плечо ответила Фаина Борисовна. — А потом переберемся в... это... как его...

— Переселенье, — подсказала Надя, не скрывая насмешки.

— Да, да, в Переселенье, — повторила Фаина Борисовна.

— Очень хорошо, — сказал Мишка, неизвестно что одобряя: то ли, что они переедут в Переселенье, то ли, что будут жить в Полежаеве семь дней.

Мишка заскорузлыми черными пальцами открыл первый паспорт.

— «Сорокажердьева Надежда Егоровна...» Та-а-ак, — протянул он и посмотрел на Надю. — Сорока-Жердьева? Чего-то его в фамилии удивило.

— Сорокажердьева! — обиженно сказала студентка и еще злее сверкнула глазами.

Но Мишка уже читал дальше:

— «Одна тысяча девятьсот пятьдесят пятого года рождения...» Пóнято! — и подал паспорт Кириллу.

— Да я верю, — сказал Киря.

Мишка, сердито сощурившись, обернулся к нему, но ничего не сказал и взял второй паспорт:

— Завьялова Лариса Сергеевна... Это вы? — вски-

нул он брови и посмотрел на чернявую девчонку, сидевшую под иконами.

— Как видите! — жеманно поклонилась за подругу Надежда, и опять русая коса съехала через плечо вперед.

Лариса не удостоила Мишку вниманием.

— Оч-чь хорошо, — сказал Мишка и прочитал: — «Одна тысяча девятьсот пятьдесят шестого года рождения...» Та-а-ак... На один год вас помоложе? — обратился он теперь уже к Наде.

Надя недоуменно вскинула белесые брови: какое, мол, это имеет значение?

И Киря посочувствовал ей: действительно, какое? Мишка явно переусердствовал. Им еще предстояло припугнуть девчонок работой на сенокосе, а он придумал проверять паспорта. Чего это ради? Теперь уж с сенокосом ничего не получится...

— «Место рождения — город Москва», — прочитал Мишка и причмокнул языком. — Завидую... Везет же людям...

Это почему-то задело Ларису.

— А чего в том завидного? — спросила она, потрянув кудряшками. — В Москве родился или в Полежаеве... Какое это имеет значение? — Лариса хмыкнула.

— Имеет, — нажал голосом Мишка и побарабанил потрескавшимися пальцами правой руки по столешнице.

— Да не все ли равно? — настаивала на своем Лариса. — Лишь бы человеком вырос, а где родился...

— Вот именно, — перебил ее Мишка. — Человеком, — и стал перелистывать паспорт, где особые отметки и где прописка.

Киря только теперь сообразил: да ведь Мишке Лариса понравилась! Он же сразу — как это Киря не об-

ратил на это внимания? — на нее уставился, сразу выделил ее из троих и теперь пытается выудить из паспорта кое-какие сведения о ней. Ну, конечно, смотрит, не замужем ли она. Ну, конечно, запоминает домашний адрес. С него станется, что и письмо накает в Москву.

— Все ясно. — Мишка отложил паспорт Ларисы, уже не предложив Кире взглянуть на него, и Киря опять разгадал этот жест: да Мишка же ему Надежду подсовывает. И паспорт ее подал, чтобы Киря изучил про нее, где живет, не замужем ли. Сам-то вот и смотреть не стал.

Мишка взял третий паспорт и уже не объявил вслух ни фамилии, ни года рождения Фаины Борисовны.

— Ну что ж, товарищи, — сказал он. — Документы у вас в порядке. — Мишка намеренно искажил ударение в слове «документы».

— Неужели? — съехидничала Надежда, и Фаина Борисовна строго остановила ее:

— Надя, не надо. Товарищи при исполнении служебных обязанностей.

— Вот именно! — подтвердил Мишка. — Прошу сегодня же командировки отметить у моего секретаря. Сельсовет во-он, на горе... — Он повернулся к окну. — Видите дом с мезонином? В мезонине почта, а внизу — Советская власть. Милости просим...

— Непременно придем. Сегодня же, — заверила его Фаина Борисовна.

Мишка через Кирю потянулся к портфелю:

— Дай-ка мне сегодняшнюю газету со сводкой.

— По заготовкам кормов? — уточнил Киря.

— Ее.

Теперь начиналось главное... Ну Мишка! С перевыполнением жмет. Ему бы в театре работать, а не на тракторе «Беларусь». Какой талант пропадает!

Киря достал из портфеля районную газету.

— Так, так, так, — сказал Мишка и опять побарабанил замазутенными пальцами по столешнице. — Колхоз имени Жданова... Это мы... Предпоследнее место... Скошено... восемнадцать и семь десятых процента... Засилосовано... тридцать два процента...

Фаина Борисовна чего-то записала в блокнот.

Мишка, встрепенувшись, протянул руку к ее блокноту:

— В печати можно не отражать. Уже зафиксировано. — Он подчеркнул ногтем нужную графу. — Вот полюбуйтесь... Восемнадцать и семь десятых процента, тогда как в «Рассвете» шестьдесят два...

— Плохо работаете, — подколола его Надежда и отвела взгляд от Фаины Борисовны, потому что та спясть уже хмурилась.

Ох и строгая же у них наставница, и слова не даст сказать.

Мишка повернулся к Надежде:

— Мы уже слышали это, товарищ Сорока-а-жердьева. — Он умышленно перервал ее фамилию на двое. — Вчера с председателем колхоза отчитывались на бюро райкома. Оба схлопотали по выговору.

— Бедненькие, — снова не удержалась Надежда.

— Ничего, — приободрился Мишка и кивнул на Кирю. — И с ним поделимся.

Про выговоры в их сценарии ничего намечено не было, и Киря вымученно заулыбался.

— А чего лыбишься? — вскинулся на него Мишка. — Твоя бригада завалила дела, а ты чистеньким хочешь остаться? Не-е-ет, и тебе вкатаем по первое число.

— Да ведь людей нету, — заоправдывался Киря. — Одни старухи... Чего я буду с ними?

Мишка приподнял ухо и руку еще, паразит, приставил к нему.

— Соловей! — насмешливо сказал он. — Слышали, что поет? Людей нету, — и неожиданно закричал: — А нас на бюро об этом не спрашивали, есть или нет у тебя люди! Нам сказали, мобилизуйте имеющиеся резервы. Чтобы сводка была на сто процентов — и все.

«Ну, чего позоришь-то? Чего? — умолял его Киря глазами. — Ведь договаривались же без всякого бюро... Ведь говорили, что создалось трудное положение с кормами... Затяжная весна... А ты... Крик тут поднял...»

Фаина Борисовна нетерпеливо ерзала на стуле — переживала, когда начальство уйдет. Записывать она после Мишкина запрета уже ничего не решалась.

— Нам на бюро так и заявили, — остывая, сказал Мишка. — Использовать все резервы, поднять на борьбу за производство кормов все совершеннолетнее население: и старух, и стариков... и всех!.. Им такое распоряжение из области поступило, а области — из Москвы. — Он выжидающе посмотрел на девчонок, но они не догадывались, куда он клонит и что значит это «и всех».

Надежда заулыбалась Мишке:

— У вас и председатель колхоза такой же молодой? — спросила она игриво.

Мишка споткнулся.

— Не имеет значения, — сбитый с мысли, нахмурился он и, опомнившись, добавил: — Молодое ли, старое начальство — его уважать надо.

Сумел-таки и спотычку обратить в свою пользу.

— В общем, товарищи, — сказал он. — Вы мобилизуетесь на заготовку кормов.

Девчонки пришибленно захлопали глазами. Даже Ларисе изменило чувство уравновешенности. И у нее губы вытянулись от изумления.



— Да как же так? — спохватилась Фаина Борисовна.

Но Мишка предостерегающе поднял руку:

— Я у вас паспорта смотрел, все совершеннолетние... Подпадаете под решение бюро и вышестоящих органов.

— Но... простите, — встала Фаина Борисовна, прижав к груди руку. — У нас программа...

Она бросилась к подоконнику, где лежала стопка книг и тетрадей:

— Вот видите, утверждена кафедрой, — показала она отпечатанные на машинке листки.

Кире стало жалко ее: а ну разрыв сердца произойдет у женщины? Нашутковали, пожалуй... Но отступить-то не станешь тоже... Позади, как говорится, Москва.

— Вы понимаете, создалось трудное положение с кормами, — жалостливо сказал Киря. — Была затяжная весна, трава совсем недавно пошла в рост. А на носу жатва... Необходимо в сжатые сроки завершить сенокос.

Фаина Борисовна почувствовала, что бригадир в чем-то уже сдается и вроде бы не настаивает, а лишь уговаривает их.

— Миленькие мои, — сказала она, заламывая пальцы. — У меня же программа... Если я не выполню ее, меня уволят с работы.

Мишка встал и, сделав навстречу Фаине Борисовне шаг, поднял вверх указательный палец:

— Уважаемая, — раздраженно сказал он. — У нас одна программа — выполнить план по молоку и мясу.

Фаина Борисовна огороченно села на стул.

— Но мы же ничего не умеем, — растерянно выдохнула она.

— Ничего, — бодро сказал Мишка. — У нас как в армии: не умеешь — научим, не хочешь — заставим.

Фаина Борисовна безвольно опустила на колени руки.

Мишка взял портфель, нахлобучил на голову кепку и церемонно попрощался со всеми девками за руку.

— До скорого свиданьица, — сказал он и улыбнулся Ларисе. Она растерянно смотрела на него. От порога Мишка обернулся и добавил: — А газетку вам оставляю: может, на досуге читаете и про нашу жизнь. — Он пропустил перед собой Кирию и, выйдя следом за ним, закрыл дверь.

С минуты на минуту из магазина могла возвратиться без селедки разозленная Тишиха.

## 5

Тишиха всю обратную дорогу плевалась: «Ну что за собачонок такой? — грозила она Сережке Дресвянину всеми карами. — Подожди, отольются и наши слезы. Думают, навек молодыми останутся... Не наве-е-ек!»

И ведь какая корысть старуху обманывать? Выглядывает, наверно, откуда-нибудь из-за угла, похохатывает, перед дружками хвастается: «Это я ее сгонял через все Полежаево».

Посмотрела на окна — девок за столом не было.

Тишиха вытерла сапоги о ребристую, из деревянных плашечек подставку, зло звякнула металлической щеткой и открыла дверь в сени.

Батюшки-светы! Как свиньи побывали, весь пол затоптан. «Да что это они не остерегаются-то совсем?» — подумала Тишиха о своих квартирантках, а в избу вошла — и того страшнее: у стола вдоль лавок целый потоп, ошметки грязи посреди пола валяются, их-то бы можно собрать...

— Вот, навязали на мою голову, только пол успевай теперь мыть. — Она не смотрела на девок.

Сбегала, намочила в ведре, стоявшем под потоком, тряпку и давай на коленках ползать, грязь в сенях смывать. В общем-то, наслежено было не так уж и много, это Тишиха сгоряча нашумела на девок. По одной половичинке только и пришлось пройтись тряпкой.

Тишиха, успокаиваясь, сполоснула тряпку в ведре, отжала ее, а грязную воду выплеснула и пошла обтирать пол в избе. Ошметков у стола уже не было.

Девки скованно жались друг к другу на скамейке за комодом.

Тишиха присела собирать тряпкой лужицу воды, вытянувшуюся вдоль лавки, и все почему-то ждала, что вот сейчас Фаина Борисовна коснется ее плеча и скажет: «Федосья Тихоновна, вам в наклонку вредно».

Тишихе уже показалось, что скрипнула половица, что слышны стали приближающиеся шаги Фаины Борисовны. Тишиха приготовила ей ответ: «Да тут и немного совсем. Разве по эстоль мне мыть придется...»

Она согнала лужицу, протерла пол насухо — Фаины Борисовны не было за спиной.

Тишиха поправила локтем съезжающие на лоб волосы и только тогда заметила: у девок-то чемоданы в кути стоят и плащики на них брошены. Глянула на стол, на подоконники — ни тетрадей, ни книжек.

— Да вы куда наладились-то? — испугалась Тишиха, что девки обиделись на нее. Ну-ка, одним махом свернулись, до чего горячие. Пока Тишиха в сенях половицу вылизывала, они уж и чемоданы к дверям выставили. — Ни-и-икуда не поедете! — решительно заявила она. — Смотри-ка, сердца-то как у петухов, и слова молвить нельзя.

Тишиха сняла с чемоданов плащи, повесила их на крючки, вбитые в стену.

— И не выдумывайте! Не отпущу! Чего уж я такого и обидного вам сказала?

Фаина Борисовна виновато поднялась со скамейки:

— Мы, Федосья Тихоновна, переезжаем от вас в другую деревню.

— Это еще куда? — коршуном подлетела к ней Тишиха.

— По-видимому, в Переселенье.

Тишиха всплеснула руками: просились на постой на неделю, а тут уж запели про Переселенье.

— Да вы хоть знаете ли, Переселенье-то где? — спросила она. — Туда ведь двадцать верст, а дорога-то, видишь, какая? Ни одна машина сейчас не пройдет.

— А до соседнего колхоза далеко? — упавшим голосом поинтересовалась Фаина Борисовна.

— До соседнего-то? — прикинула в уме Тишиха. — А верст восемь с гаком... Да вы чего? Никак и в самом деле надумали уезжать?

— По-видимому, поедем, — вздохнула Фаина Борисовна. — У нас программа срывается.

Вот тебе раз! С утра не срывалась, а тут засрывалась сразу. Тишиха сообразила, что в ее отсутствие что-то произошло. Она придирчиво присмотрелась к девкам — господи, да они же босые сидят, в одних капроновых чулочках. И ведь когда в сенях Тишиха мыла, так видела: девкины туфли притулились у дверей, чистенькие. А вот — злая была — не соединилось в голове-то, что раз обуток на месте, значит, не квартирантки грязи нанесли в дом.

— Да кто хоть у вас был-то? — спросила Тишиха.

Фаина Борисовна, видимо, поначалу не хотела объяснять причины поспешных сборов, а вопросом Тишихи оказалась припертой к стенке.

— Председатель сельсовета был, — сказала она, покосившись на дверь, будто дверь могла в эту минуту

распахнуться и впустить подслушивающего ее признания председателя сельсовета.

— И бригадир, — добавила Надя. — Ой, что тут было! — заволновалась она. — Друг на дружку кричат. На нас тоже голос повышают...

— Пьяные? — уточнила Тишиха.

— Да нет, — пожалала плечами Надя. — Луком вроде пахло от них... — Она еще подумала, вспоминая гостей. — Непохоже, что пьяные. А хуже и пьяных. Как в период военного коммунизма, мобилизацией нам угрожали... Говорят, с сенокосом провал, восемнадцать и семь десятых процента, — Надя передразнила председателя сельсовета. — Всех совершеннолетних на сенокос! Не умеешь — научим, не хочешь — заставим!

— Постой, постой, — остановила ее Тишиха. — А председатель-то однорукый?

— Не-е-ет, — удивилась вопросу Надя. — С двумя руками. Молодой такой. С портфелем, в плаще...

— Ой, дак ведь это же наши жеребцы, Мишка Непелов с Кирей-Обабком. Смотри-ка, от ума вас отставили...

Она Мишку-то с Кирей видела, когда побежала в магазин за селедкой. Еще хотела крикнуть им, что закуска плавает по прилавку, но парни так угонисто вышагивали под гору, что Тишиха подумала: в Сельхозтехнику пешком полетели — с ремонтом, видно, у тракторов приспичило, в колхозных же мастерских ничего не сделать. А они, голубочки, прямым ходом к ней в избу...

Тишиха засмеялась:

— Ну, девки, парни пришли завлекать вас, а вы со страху полные штаны напрудили.

— Какое завлекать, — возразила, подбоченившись, Надя. Панталоны с незнакомыми птицами колыхнулись на ней, как цыганская юбка. — Я уж им глазки строила, не реагируют... Только сенокосом пугают.

— А вахлаки-и, — заключила Тишиха. — Девок-то в Полежаеве в глаза не видят, так совсем одичали, не соображают ничего. Ты заигрываешь, а они как слепые.

Фаина Борисовна, все еще не пришедшая в себя после того, что произошло полчаса назад, онемело стояла, скрестив на груди руки.

— Да нет, что вы, Федосья Тихоновна, — председатель, — сказала она, втягивая в плечи шею. — Я шесть раз в экспедиции, не могла ошибиться... Он командировки требовал немедленно отмечать.

— Милая, — успокоила ее Тишиха, — у нас председатель-то однорукий. Соколов Егор. И не молодой, перед пенсией уже... А это парни собачатся.

Фаина Борисовна все еще не верила ей. И Тишиха даже обиделась, что она такая невера:

— Есть ему когда вдвоем-то с бригадиром ходить... У них, милая, распределено все. Один на ферму несется, другой на луга, а председатель колхоза куда-нибудь третьей затычкой лезет. Им ведь побольше ухватить надо. Так они к тебе вдвоем и попрутся...

Тишиха пошла на кухню разогревать самовар. Девки зашептались между собой.

«Вот, вот, охолоните немного, — усмехнулась она. — А то в Переселенье они собрались, мокрохвостки...»

Тишиха набила в конфорку углей, подожгла лучину и сунула ее в самоварную трубу. На кухне запахло горелым.

«Вот сейчас всю дурь из вас кипятком выгоню».

Девки, слышно, стали разбирать чемоданы, раскладываясь. Тишиха выглянула из-за перегородки: так и есть, выгружают книжки на стол. Фаина Борисовна уже чего-то в блокнотик записывала.

Тишиха накосила в лугах осоки: соломы-то старой нет, а до свежей еще недалеко, но ведь матрацы девкам надо чем-то набить, не на голом же полу им спать. Осока уже выветрела, будто ее и дождем не мочило, а теперь вот повянет часика три на солнышке — и не хуже соломы: не отлежишь на такой постели бока.

Тишиха обтерла косу травой, повесила ее на плечо и повернула к дому. Глядь, торопится к ней Фаина Борисовна, по-журавлиному переставляет ноги в траве.

— Не ходи, осокой изрежешься, — замахала на нее руками Тишиха. Но Фаина Борисовна не понимает ничего: она как маленькая — в городе выросла. Ноги уже кровоточили у нее порезами.

— Федосья Тихоновна, давайте я помогу, — отобразила она у Тишихи косу. Не велика тяжесть — коса, да вниманье приятно.

— Вот вам работа к вечеру, — указала Тишиха на свою кошенину. — Соломенники будете себе набивать.

— Да, да, хорошо, — закивала Фаина Борисовна.

На дороге их поджидала Степаха, простоволосая, без платка, в вышитой — красными лапушками — кофте, в пестрядинном — еще в молодости, наверное, вытканном — сарафане. В руке у нее был белый бидончик, и Тишиха сразу догадалась, что Степаха пришла с молоком.

— Ухайдакалась, девка? — сочувственно спросила Степаха у Тишихи и посмотрела в луга, где среди зеленеющего колыхания травы недвижно покоилась плешь выкошенного пятачка.

— Ой, подруга, не говори, — призналась Тишиха. — Охапки три натяпала осоки, так как после бани — вся мокрая.

— Да, теперь уж старые кости и солнце вполсили

гreet, — сказала Степаха и подала Фаине Борисовне бидончик. — Это вам... У нее коровы-то нет, — указала она на Тишиху. — А в деревне без молока и хлеб не жуется.

— Ну что вы! — заотнекивалась Фаина Борисовна. — У нас консервы есть.

— Бери, бери, — посуровела Степаха. — Кому говорят, бери.

Фаина Борисовна растерялась и, видать, перестала прижимать к груди косьевище — полотно жалом воткнулось за спиной в землю, в двух вершках от ноги.

— Изувечишься! — Тишиха забрала у нее косу.

Фаина Борисовна даже испугаться не успела, да она, наверно, и не заметила, что чуть не отхватила себе полпятки.

— Я сейчас за деньгами схожу, — сказала она, держа бидончик в вытянутой руке.

— Я тебе схожу за деньгами! — прикрикнула на нее Степаха. — У нас молоко свое, не продажное.

Она говорила это и смотрела куда-то вдаль, в луга, и уже слушала Фаину Борисовну вполуха.

— Господи! — всплеснула Степаха руками. — Да лошади-то за что такая кара?

Она, горбясь, засемила вниз по дороге — побежит, побежит, схватится руками за грудь, пойдет шагом и опять побежит.

За рекой ходила в лугах запряженная в одноколку лошадь. Пустые фляги перекатывались в телеге с боку на бок.

Тишиха тоже охнула: лошадь могла залететь в зыбун — в полежаевских лугах через каждые двадцать шагов болотистые трясины. Для запряженной лошади страшнее лугов и места нельзя сыскать.

— Ой, опять молоковоз сшибаловкой занимается...

— Чем, чем? — не поняла Фаина Борисовна.



— Чем же еще? Водку хлещет: Лошадь-то, бедная, оголодала, наверно, стояла-стояла привязанная к углу, да не выдержала, оторвалась.

— А почему сшибаловкой? — недоумевала Фаина Борисовна.

— Да как не сшибаловкой-то? Весь пропился, теперь только и ждет, кто угостит. На чужие сшибает.

Не любила Тишиха Петьку-молоковоза. Ой, не любила. Про таких говорят, что у них память совсем отшибло, где пообедали, туда и ужинать идут. Бывало, постучит Петька-молоковоз в окошко: «Тихоновна, опохмелиться нет ли?» А не откажешь: потом его же и будешь умолять, чтобы дров привез. А ведь с паразитом давно расчет сделан, на прошлой неделе свалил у ограды воз осинника, так сразу же и заткнула горло бутылкой; весной привозил березовые дрова — так тоже деньгами не взял: «Нет, нет, — говорит, — ничего не надо», а от бутылки не отказался. Вот повышали цены на водку, говорили: мужики меньше пить станут. А им чего меньше-то пить? Повышение-то сказалось на старухах, а не на пьяницах. Раньше, до повышения, по бутылке за воз брали и теперь по бутылке. Так мало того, уж пообедали бы вроде давно у тебя, а еще и ужинать не один раз забредут. Хорошо, что в Полежаеве Мишка с Кирей есть.

— Тихоновна, ты с этим оглоедом больше не связывайся, — посоветовал как-то Мишка. — Мы с Кирей силосование закончим — прямо ко крыльцу тебе полную тракторную тележку хорошей березы подкатим.

Это бы, конечно, все так. Не по один год они выручали ее дровами. Дак от людей стыдно: не берут, собаки, за помощь ничего — ни «натурой», ни деньгами. А ведь не сыновья. Да и своей работы у них по горло.

У того-то охломона, у Петьки, от безделья губы блином обвисли. Пусть хоть с чужими дровами поразо-

мнется немного. Тишиха с сумой не пойдет, если откупится от него поллитровкой.

Тишиха сплюнула:

— Работают как маленькие, а пьют как большие.

Степаха уже перебежала по мосту через реку, свернула в луга. Раза два, перебираясь с кочки на кочку, оступилась, вывозив сапоги в торфяной жиже, — да хорошо хоть не утопила совсем их.

Она поймала лошадь за узду, повела ее на пригорок. Фляги, перекатываясь, загремели.

— Боевая старушка, — восхищенно сказала Фаина Борисовна.

— А вашего председателя сельсовета родная бабушка, — засмеялась Тишиха. — Мишки-то Некипелова, который вас на сенокос отправлял, — и горделиво протянула: — По-о-роду видать. И Мишка на работе ни перед чем не постоит. Такой же ухватистый.

— Хулиган он, — нахмурилась Фаина Борисовна.

— Ой нет, — не согласилась Тишиха. — Когда ему фулиганить-то? Его ведь ночь угнала и ночь пригнала: я печку встаю затоплять — а у него уж под окошком трактор регочет; вечером я уж спать легла — он только с работы едет, от трактора в рамах стекла дрожат... Не-ет, Мишка не фулиган. Он веселый — вот это правда.

Степаха уже вывернула на проселочную дорогу, поднялась на мост и, держась левой рукой за передок, правой раскрутила над головой вожжи:

— А ну, залетная!

Лошадь сбежала с моста впритрус.

— Нет, не фулиган Мишка. Он у нас настырно работает, — не успокаивалась Тишиха. — Они с Кирей-Обабком... с бригадиром-то вашим, — опять засмеявшись, подоткнула она под бок Фаину Борисовну, — с доски Почета не сходят. Лю-ю-ты до работы...

— Я о работе ничего не говорю, — сказала Фаина Борисовна. — Я имею в виду поведение.

— А что поведение? — еще больше обиделась за ребят Тишиха. — И поведение хорошее. Выпивать зря не выпивают, не матюгаются.

Фаина Борисовна поджала губы.

Тишиха перевесила косу с одного плеча на другое:

— Это уж они с вами-то раздухарились, — заулыбалась она. — Ну так еще бы: такие девки приехали. На ранешних бы ребят нарвались, так они бы попусту-то молотъ языками не стали, а раз-два — и пощупали бы вас...

Фаина Борисовна возмущенно покраснела, хотела чего-то сказать, но подъехала на телеге Степаха.

— Тпру, — остановила Степаха лошадь и повернулась к Фаине Борисовне: — Девки, приходите вечером ко мне ужинать... Я вон там за сельсоветом живу, второй дом налево.

— Они твоего внука боятся, — сказала Тишиха.

— Да его уж и след простыл... Силосуют на Межакове хуторе. Дай бог, если в полночь домой зайвится... Приходите, у меня мяса нажарено.

Фаина Борисовна не успела сказать «спасибо», как к ней потянулась здороваться хуторская Огрёша. Тишиха и не заметила, когда Огрёша подкатилась к ним. На локте у нее висела сумка с двумя буханками хлеба — из магазина бежит.

— И ко мне приходи, — пригласила Огрёша Фаину Борисовну. — У меня тоже в печке мясо томится.

Фаина Борисовна растерянно кивала бабам:

— Да, да, спасибо.

Степаха взмахнула вожжами, поехала на конюшню выпрягать лошадь:

— Дак вечером жду...

Бидончик оттянул Фаине Борисовне руки.

— Я, пожалуй, пойду, — замаялась она.

— Иди, иди, милушко, — отпустила ее Тишиха.

И едва Фаина Борисовна отошла от старух, Огрёша хуторская наклонилась к Тишихе и спросила шепотом:

— Это что за девка? Чего-то признать не могу.

— Дак ты же в гости ее звала...

— Ну, Степаха-то ведь тоже звала...

Тишиха расхохоталась: она уж было подумала, что Огрёша успела записаться у ее постояльцев.

— Экспедиция это, — доверительно пояснила Тишиха. — За языком приехала.

Огрёша виновато заморгала ресницами:

— А чей язык-от?

— Да наш.

— Ой, господи, дак чего они с им делать-то будут? — все еще не понимая, о чем идет речь, засмеялась Огрёша.

— Да не солить же! — рассердилась Тишиха. — Про жизнь записывают, кто как расскажет.

Огрёша удивленно качнула головой.

— Гли-ко, и про нас вспомнили. — Радостные морщинки залучились у нее под глазами. — Ой, ведь у меня есть чего про жизнь рассказать... Ты видела ли, сколь у меня на заборке Почетных грамот наклеено? Ой, мне ведь и медаль первой вручали. Еще значок какой-то из Вологды привозили — три года ни один теленок не умер, падежа не было.

— Да они не про работу спрашивают, — поправила Огрёшу Тишиха. — Они про жизнь.

— Ой, дак, какая это жизнь без работы? — удивилась Огрёша. — Я про роботу только и помню.

## 7

— Вот еще одна славутица, — представила Тишиха своим квартиранткам хуторскую Огрёшу. — Сорокина Аграфена Матвеевна.

Огрёша кивала головой: да, да, мол, Сорокина Аграфена Матвеевна, все правильно. Она села к столу на лавку.

— Вот ее записать-то, — продолжала Тишиха. — Ой, много переживаний у нее было.

— Да, да, — согласилась Огрёша и без всякого предложения со стороны Фаины Борисовны сказала: — Не знаю, откуда и начать: как в девках жила, али с колхозу.

Фаина Борисовна выдернула с подоконника свой блокнотик. И Лариска с Надей тоже настропалились.

— Ну, давайте немного скажу, как в девках жила — решила Огрёша. Она уложила руки на колени, но там им было, видно, неловко, и она спустила их к полу. — Мозжат, — вздохнула Огрёша. — У меня пальцы всякую непогодь знают: видно, опять погода сомнется...

Пальцы у Огрёши были пухлые, как коровьи соски, только соски розовые, нежные, а у нее хоть и розовые, да все в трещинах.

— Ты, Огрёша, сколько лет в доярках-то ходила? — спросила Тишиха.

— А с самого колхозу, — похвалилась Огрёша. — С тридцать второго году... — Она улыбнулась воспоминаниям. — Ой, я ведь долго работала! Из доярок-то выстала уж старухой... Семилетку объявили как раз... Дак я уж семилетку-то не дотянула, сил не хватило, а через пятилетки прошла через все, от первой и то захватила хвостик...

— Так сколько же вы на ферме работали? — уточнила Фаина Борисовна.

Огрёша напрягла память — зашевелила губами, уйдя в расчеты.

— Федосья, — обратилась она за помощью к Тишихе, — когда для колхозников пенсии-то ввели?

И Тишиха наморщила лоб, прикрыла глаза ресницами:

— Да уж давно, — сказала она.

— Это я и без тебя знаю, — отмахнулась от такой помощницы Огрёша. — А вот когда?

Она еще пошевелила губами и высчитала:

— Пензии ввели с шешдесят пятого году... — и пояснила девкам, откуда она заключила это: — Семилетку-то объявляли в петьдесят девятом... Ну да, в петьдесят девятом. У меня Нюрка... дочка моя... через две зимы после объявления-то завербовалась на стройку, а я ишшо без ее больше года коров доила... Дак вот, шшитайте сами, сколь работала. — Огрёша победно посмотрела на девок, уже в уме-то давно все высчитав и расставив годы один за другим в том порядке, в каком они были в жизни. — Двух лет только до пензии-то и не додержалась... А и мне дали пензию, да-а-ли, никому не пожалуюсь...

— Ну так, еще бы не дать: тридцать лет отработали, — посочувствовала Фаина Борисовна.

Огрёша, уловив в ее голосе жалость, нахмурилась:

— Ой, почету-то мне ведь сколь было... Нигде эстолько не бывает, сколь в доярках...

И Тишиха тоже вспомнила, что на всех собраниях Огрёшу садили в президиум, а уж на совещания-то в район возили несчетно раз.

Как-то само собою вышло, что натолкнули ее говорить про колхоз.

— Да-а, мы в колхоз-то вступали, так все хозяйство отдали и самих себя. С наших капель все началось. — Огрёша пошевелила внизу, у пола, распухшими пальцами. Видать, к непогоде их ломило неудержимо, и Огрёша морщилась. — Да чего вам про то время рассказывать, сами знаете, грамотные.

— Нет, не знаем мы, — вытянула шею Надежда. Верхние пуговицы у нее на блузке выскочили из петель, из-под разъехавшегося ворота выставились острые клю-

чицы. Лариска, та себя не рассупонит, сидит, как при парнях, все до единой пуговки застегнуты.

Огрёша помяла пальцы, и Тишиха подумала, не предложить ли ей блюдо холодной воды: пусть помочит — вода-то сымает колотье. Но разве Огрёша согласится при девках — гордости-то и сейчас через край.

— Вот посмотрю на вас, какие вы нарядные, — без всякой зависти сказала Огрёша. — А я в девках-то ходила в пестрой юбке, в лаптях...

Видно, все-таки вспомнила, что обещала рассказать, как в девках жила.

— Ну-ко, глупые какие были... — рассмеялась она своим воспоминаниям. — В шестнадцатом годе были у тяти петьсот рублей золотых. Мама-покойница и говорит: «Купи девке хоть кофту. А то ведь замуж скоро отдавать — и не в чем». Замахнулся на маму: «Молчи! Без тебя знаю. Вот обменяю деньги — тогда». А золотые-то меняли в банке на бумажные, на каждую сотню накладывали по десятке лишку. Вот тятя и обменял, петьсот петьдесят получил — и все на ветер. Весь мой наряд.

— Почему? — не поняла Надя.

— А новая власть пришла — новые деньги.

— А-а, революция...

Тишиха тоже встряла в разговор:

— Ну, нынешние ни на чего не скупятся, — сказала она. — Косить и загребать в шелковом ходят. А на стенах-то, посмотри, по четыреста рублей ковры висят.

— И на полу, милая, по четыреста, — дополнила ее Огрёша. — Ну дак ведь чего и жалеть: теперь кто работает — по деньгам ходят.

— А мы-то молодость за что погубили? — спросила Тишиха.

— Ой, милая, да на нас-то плевать. У меня вот на два раза не хватит пензии — поодинова буду есть... Лишь бы деткам-то хорошо было.

— Это-то так, — согласилась Тишиха. — Да ведь ты сама говорила, что с наших капель все начиналось. Сейчас конюха, скотницы по полторы сотни зарабатывают в месяц, трактористы, дак вон и до трехсот с лишним. У них пенсия-то, знаешь, какая выйдет, не то что у нас с тобой. По восемьдесят рублей и боле...

Огрёша беззаботно махнула рукой:

— Подожди, прибавят... Одинова прибавляли, поймут, что мало, и вдругорядь прибавят. Только бы надо кое-кого подоткнуть на это дело. — Она выжидающе посмотрела на девок, сидевших с карандашами в руках, и, увидев, что они — все трое — чего-то записали в блокнотах, успокоилась и подбодрила их: — Я думаю, и партия бы пошла на это, только бы подоткнуть.

С руками ей, видно, стало невмоготу. Огрёша поднялась:

— Девки, да вы приходите ко мне, у меня вся заборка Почетными грамотами оклеена. А сколько я самоваров в премию наполучала — и не сосчитать. Теперича три только осталось, а штук восемь размаркидала. — Она скосила взгляд на блокнот Фаины Борисовны. — Дак али это все и записали, чего я тут перед вами навывечеркивала?

— Записали, — сказала Фаина Борисовна.

— И напечатают это все? — не поверила Огрёша.

— Да, готовится сборник научных работ по диалектологии.

Огрёша недоверчиво покачала головой, и ей, видно, хотелось прочитать про свою жизнь.

— Про меня вообще-то много в газетах писали, — похвасталась она. — Бухну за год три тысячи от коровы — напишут: у Сорокиной три тысячи. Бухну три двести — опять напишут: у Сорокиной три тысячи двести... Еще бы на ферме работала: больно почета много. Да руки можжат... Не могу и трех коров теперь продонть.



Она расслабленно потрясла пальцами, будто вытряхивала из них боль, надернула лямки черной кожаной сумки на локоть и, скособочившись от тяжести двух буханок, пошла на улицу:

— Приходите ко мне! У меня мясо в печке томится.

## 8

Кирия удивился Мишкиной быстрокрылости: на минуту не задержался дома — раз, раз, от еды отказался — некогда! — сполоснул руки под умывальником, надел белую шелковую сорочку — и к дверям. Степаха навязала с ним бидончик молока:

— Ну-ко, что они у Тишихи-то всухомятку будут пить? Неси, неси и не разговаривай.

Мишка взял молоко.

— Пошли!

Кирия чувствовал себя неловко: по Полежаеву уже прошелестел слушок, что девки после их председательского налета собирались в бега. Но Мишка ржал как жеребец:

— Так мы-то при чем? Они рты пооткрывали, шуток не понимают, а мы виноватые, да?

Времени у них было в обрез: переезжали силосовать на Большую Медведицу.

— Ну, посмеемся хоть немного между работой, — сказал Мишка, а Кирия подумал, что после вчерашнего девки с ними и разговаривать не будут.

— Ничего, у меня заделье к ним есть, — беззаботно смеялся Мишка и кивал на бидончик с молоком.

Но у Кири-то никакого заделья не было. И все-таки какая-то необъяснимая сила тянула его за Мишкой. Может быть, на посмешище заманивала, на позор...

Небо было бездонное. Солнце припекало спину.

Мишка ухарски расстегнул у безрукавки верхнюю пуговицу, беспечно лыбился:

— На денек бы отгул попросить...

— А два не хочешь?

Мишка двух не хотел. Поставил на тропу бидончик, достал из кармана расческу, пригладил волосы, продул у расчески зубчики.

— Артист, — подколот его Киря, — из поторелого театра.

Мишка оскалил зубы.

— Ого! — воскликнул он. — Окошко открыто. Приготовились!

У окошка сидела Тишиха.

— Тихоновна, привет! — подходя к окну, крикнул Мишка. — Квартирантки дома?

Из избы слышалось какое-то волнение, будто девки разбегались прятаться по углам. Киря почувствовал, как из вытолкнувшейся на улицу волны на него нанесло запахом духов.

— Ой-ой-ой, — укорила ребят Тишиха, — собачье лежебасовское... Явились, и стыд не гнет...

Мишка заулыбался во весь рот:

— Тихоновна, я к твоей селедке бутылку кагоры принес.

— Я ведь не больная, кагор-то пить, — отпарировала Тишиха.

Киря стоял в отдалении как бедный родственник.

— Вот, леший, не сообразил, — притворно хлопнул себя по колену Мишка. — Думал, Тихоновна сладкое любит, а ей русскую горькую подавай.

И в этот самый момент из-за плеча Тишихи на Мишку выплеснулся полнощий ковш воды.

Сорочка Мишки, прилипнув к телу, порозовела.

— Надя! Что вы делаете? — раздался в избе взволнованный голос.

— Фаина Борисовна! Да надо же расквитаться, — растерянно отозвалась Надежда.

Мишка стоял осклабившись, расшеперив руки. С него стекала вода.

— Ну, как поживаем? — довольная, захохотала над ним Тишиха.

— А как графин, — отряхиваясь, сообщил Мишка. — Все норвят за горло взять.

Он напустил на себя строгий вид и вчерашним председательским тоном спросил:

— Товарищи студенты, вы, говорят, с наших старух допросы снимаете? — Вода протекала ему под ремень, и Мишка попеременно поднимал ноги. — Толкаете их на то, чтобы они чернили нашу действительность? — Вода холодила ему в пахах, и он завзбрыкивал как жеребец. — К ответственности притянем!

— Отчепись! — засмеялась Надежда и выплеснула на Мишку еще один ковш.

— Вот так, — подытожила Тишиха. — Запрягай дровни да езд по ровне.

Фаина Борисовна что-то выговаривала Надежде. Тишиха отпрянула от окна и заступилась за свою неунывающую квартирантку.

— Да попустишь ты, — сказала она Фаине Борисовне. — На него, на собаку, надо бы целое ведро выплеснуть. Да и под зад напирать.

— Во-во, бей наших, чтобы чужие боялись. — Мишка поставил бидончик на подоконник, который был на уровне его груди, и, вытянувшись на цыпочках, заглянул в избу: — Фаина Борисовна, — позвал он, — вы не думайте, мы не в обиде. Мы же умеем понимать шутки...

Фаина Борисовна все-таки, видать, по-прежнему опасалась Мишки, не могла еще, видать, свыкнуться с мыслью, что он не председатель сельсовета, а Киря не бригадир.

— Нехорошо, взрослые люди — и вдруг их водой, вдруг какое-то вульгарное «отчепись», — осуждала она свою помощницу.

Надя не очень-то серьезно воспринимала ее укоры. Глаза у нее горели, и по лицу то и дело пробегала гримаса сдерживаемого всеми силами смеха.

— Правильно, девка, — не согласилась с Фаиной Борисовной Тишиха. — Задай им перцу, — и победно притопнула ногой. — Ой, Надька, тебе бы сапоги подковать, дак искры бы из земли высекала!

Киря тоже подошел к окну. Вот уж никак не ожидал он, что так хорошо повернется разговор.

— Здравствуйте, — кивнул Киря всем, кто стоял, сидел и ходил по избе.

— Что? — спросила Тишиха. — И тебя, соколик, завидки грызут?

Киря, краснея, нахмурился. А Мишка, поросенок, захохотал:

— Ой, смотри, Тихоновна, в тихом-то омуте черти водятся, — и толкнул Кирию локтем.

Киря смутился еще больше.

— Ну, что же вы своего бригадира обижаете? — посочувствовала Кире Лариса. Она сидела на том самом месте, где вчера хозяйничал Мишка. — И в прошлый раз на него шумели за невыполнение плана. Сегодня он тоже, что ли, какой-то ваш план завалил?

— Да он всегда с невыполнением идет, — засмеялся Мишка и подмигнул Ларисе. — Ну так как там в Москве Беговая, 28, живет?

— Надо же! — удивилась Лариса. — И адрес запомнили.

Киря хотел сказать: «Зачем и паспорт смотрели», да вовремя спохватился — Мишка не простил бы ему ротозейства.

— Я вот на будущий год поеду в университет поступать, — заявил Мишка. — Так по этому адресочку

хочу кое к кому за консультацией заглянуть. — Он выжидающе смотрел на Ларису и улыбался.

— Заходите, — пригласила она будничным голосом. — Только я на будущий год опять в экспедицию уеду.

— А мы подождем, — не переставал улыбаться Мишка.

Лариса склонила набок голову: ваше, мол, дело. А Надя не выдержала.

— Миша! — крикнула она. — Вы ее на тракторе покатайте, она уступчивей будет.

— Замаарается, — не согласился Мишка.

Фаина Борисовна, видимо, уже отчаялась одергивать девчат. Ушла за комод и деловито начала копаться в своих тетрадях. Тишиха подмигивала девкам: ваша, мол, воля теперь, делайте что хотите.

— Я в самом деле надумал в университет податься, — засерьезничал Мишка.

Ну залива-а-ть... Никогда Кире не говорил об учебе, а тут решил цену себе набивать.

— И на какой факультет? — спросила Лариса.

— А на какой примут.

Вот уж никогда не поймешь у человека, где он правду говорит, а где врет.

Но Тишиха не на шутку встревожилась:

— Ты что? А кто за тебя работать-то будет? Все выучитесь, так в Полежаеве некого будет и на трактор посадить.

— А теперь, Тихоновна, звеньевая система будет. — И потому, что Тишиха не поняла его, пояснил: — Один человек по нескольку машин станет обслуживать. Вот я Кире и сдам свой трактор, пускай на двух работает: на своем попашет, на моем поборонит.

— А Киря-то что, пальцем деланный, за тебя работать?

Тут уж даже Мишка смутился. Хорошо, что Фаина

Борисовна не слышала Тишиху и как ни в чем не бывало подошла к окну и протянула Мишке два рубля:

— Передайте, пожалуйста, бабушке за молоко.

— Да вы что? — обиделся Мишка. — Мы не берем.

Фаина Борисовна растерялась:

— Тогда мы не можем принимать от вас молоко, — упавшим голосом сказала она.

— Ну уж вы тогда с бабушкой договаривайтесь, — махнул рукой Мишка. — Мое дело десятое. Сказано — унеси, я и понес. Освободите посуду, — ткнул он в бидончик так, что молоко в нем заплескалось и бидончик запokaчивался на подоконнике.

— Фаина Борисовна, — засмеялась Надя. — Да вы или не видите, он боится, что Лариса умрет с голоду. Берите, и нам кое-что перепадет.

Мишка весело подмигнул ей.

А Тишиха, обеспокоенная Мишкиным заявлением об учебе, твердила свое:

— Ой нет, Михаил, не уезжай никуда. Мы и так всех деток распустили по городам. С кем жить-то будем?

## 9

Фаина Борисовна уже по просвечивающей крыше приоровилась определять, какое утро: если дранка золотится — то солнечное, если матово тускнеет — то облачное. Дождливое же заявляет о себе не светом, а шумом. Крыша на повети в непогоду дрожит и стонет от напора дождя.

На этот раз Фаина Борисовна проснулась от стукотка синицы и сначала испугалась, что начало покрапывать, но разглядела на крыше золотистые полосы и успокоилась.

Где-то в углу повети гундосил шмель. На улице с кем-то разговаривала Федосья Тихоновна.

Фаина Борисовна прислушалась к разговору, но ни-

чего не смогла разобрать, и все же в нее закралась тревога. Фаина Борисовна долго не могла уяснить причины все сильнее охватывающего ее беспокойства.

На другом соломеннике спокойно посапывали девочки, накрывшиеся одеялом до подбородков: к утру на повети становилось свежо и, если не подогнуть под ноги одеяло, снизу, от половиц, наносило промозглой сыростью.

Фаина Борисовна перевернулась на другой бок и снова услышала, что Федосья Тихоновна с кем-то стояла и разговаривала.

— Ой, нынче и грачей развелось, — жаловался Федосье Тихоновне чужой голос. — В комбайновых трубах гнезд навили — не пересчитать... Сколько птенцов выведется, и ведь все на будущий год прилетят где родились... А через пять лет сколько их будет в Полежаеве...

— Люднее-то лучше, — засмеялась Федосья Тихоновна. — А то обезлюдело Полежаево. — И пожаловалась на свое: — Не знаю, где она и несется... Утром шупала — с яйцом была, а сейчас уж пустая.

— Это которая? Рябая, что ли? — узнала Фаина Борисовна голос Степахи. Видимо, опять молока принесла. Но не это же обеспокоило Фаину Борисовну: не берет деньги за молоко, можно какой-то подарок ей сделать на ту же сумму.

— Не курица — паразитка, — сказала Федосья Тихоновна. Фаина Борисовна вздрогнула: только сейчас до нее дошел смысл испуга. Уже сколько раз за сегодняшнее утро она слышала, как и Федосья Тихоновна и Степаха повторили это слово — курица — не так, как оно записано у Фаины Борисовны в блокноте, не так, как разнесено по карточкам девушками. Они же раньше-то говорили: курица. Не могла же Фаина Борисовна ослышаться: Федосья Тихоновна произнесла несколько однотипных слов с ясным «ця» на конце: ку-

риця, водиця и, кажется, дровця... Да, они ходили с Федосьей Тихоновной за дровами, и хозяйка сказала: «Дровця у меня сухие». Потом отправились «по воду», и Федосья Тихоновна сказала: «Водиця у меня близко».

Фаина Борисовна торопливо оделась, вышла во двор.

На крыльце стоял Степахин бидончик. Сами старухи сидели под окном на завалинке.

Фаина Борисовна поздоровалась с ними и, не в силах удержать в себе недоумение, спросила:

— Федосья Тихоновна, вы же мне говорили «куриця»...

— Чего? — не поняла хозяйка.

— Вы же мне «куриця» сказали, «водиця», «дровця», а сейчас говорите «курича»... Куриця или курича все-таки?

— Ой ты господи, — поняла наконец Фаину Борисовну Федосья Тихоновна. — Меня вот хоть горшком называй, только в печь не ставь.

— Федосья Тихоновна, это же для науки нужно.

Федосья Тихоновна пристыженно шмыгнула носом:

— Ну дак, мы ведь и знаем, что это для науки. Зачем мы будем неладно-то говорить, позорить себя. Это уж мы между собой как попало бухаем. А для книг надо правильно.

Фаина Борисовна ослабела ногами и чуть не опустилась на дымившуюся от подсыхающей росы траву.

— Федосья Тихоновна, что вы наделали! — ужаснулась она. — Мы же теперь в полном неведении, что истинное, а что ложное.

Степаха остановила ее взмахом руки:

— Будет скуку-то распускать! Курича или куриця — не все ли равно?

— Нет, не все равно, — чуть не заплакала Фаина Борисовна. — Для науки самое важное — точность.



Степаха пожала плечами.

— Дак мы ведь когда скажем так, когда эдак, — оправдала она Федосью Тихоновну. — Это раньше все говорили «курича». А теперь и мы за молодыми тянемся: один-то на один еще когда и чавкнем, а так только правильно говорим. Не то ведь Мишке нашему на язык попадись — и проходу не даст, так и будет, не переставая, дразниться: «Курича, овча, рукавичка».

У Фаины Борисовны, кажется, родилась спасительная идея:

— А что? Михаил поправляет вас? — затаив дыхание, спросила она, а сама уже готовила новый, более важный вопрос:

— Ой, подь ты к ляду с таким учителем, — засмеявшись, сморщила и без того сморщенное лицо Степаха. — Этого учителя в детстве мало учили, чтобы над стариками не изгалялся.

Но Тишиха заступилась за Мишку:

— Да чего ты, Степанида, на парня несешь? Мы с тобой бестолковые, нас и надо учить...

— Не учить, а в могилу класть.

Но Тишиха замахала на Степаху руками:

— Прикуси язык-от. С сыном живешь, со снохой, внук вон хороший какой, а ты о могиле... Я одна мыкаюсь, да и то молчу.

— А не все равно — одна, не одна? Мы уж — в нашем-то возрасте — все теперь под низом у жизни. Это им теперь высоко летать, — кивнула Степаха на Фаину Борисовну.

Разговор уходил явно в сторону, и Фаина Борисовна снова спросила:

— Ну а Михаил... — Она замялась, сознавая, что вопрос ее странный, и не зная, как выразить его и понятно для старух, и деликатно, без обидного оттенка высокомерности. — Ну а он знает... как раньше данное

слово произносилось, как вы его в былые годы употребляли?

Она ушла-таки от определения «неправильное произношение», которое вертелось на языке и, торжествуя, внутренне похвалила себя за это.

— Мишка-то? — удивилась Степаха. — Да он же здесь вырос! Конечно, знает. — И хитровато подмигнула Фаине Борисовне: — Его-то не проведе-е-ешь...

Фаина Борисовна молча проглотила укор. Главное она выяснила: Михаил может откорректировать их записи. Надо будет поговорить с Ларисой, чтобы она попросила Михаила об этом. Фаина Борисовна была приметлива и не сомневалась, что Ларисе он не откажет.

— Слушай-ко, — вывела Фаину Борисовну из состояния задумчивости Тишиха. — Вы бы ребят-то поспрашивали... Они ведь разговаривают лучше нас... Я-то вот дальше своей печки никуда не бывала, и грамотешка-то у меня какая: полкласса и два коридора... А ребята-то десятилетку кончали — ой, люто́ много знают...

— Да, да, поспрашиваем, — кивала им Фаина Борисовна. Настроение у нее выправлялось.

## 10

В избе у Тишихи опустело: девки разбрелись по своим делам — Фаина Борисовна ушла записывать хуторскую Огрёшу, Лариса с Надей, кажись, убежали к Степахе. Без них стало в доме совсем тоскливо — вот ведь как к людям-то привыкаешь. Пока никого на постое не было, так хватало и кошки: с ней поговорила, послушала, как мурлыкает, посмотрела, как беснуется у нитки с бумажкой, поулыбалась — и спать легла. А теперь за неделю сжилась с девками — не знаешь, как и вечера дожидаться без них. Как одной-то — уедут — быть?

Тишиха заварила в кипятке зверобой. Почему-то он глянулся ей больше чая. После зверобоя хотелось летать. Но сейчас и зверобой оказался бессильным от придавившей ее тоски.

Затосковала-то Тишиха, пожалуй, не в отсутствие девок, а при них, когда Мишка Некипелов заговаривал об учебе. Ведь если они с Кирей уедут, так Тишихе каюк. С Петей-то молоковозом не скоро столкнешься о дровах — загуляет, так по неделе не привести в чувство.

Сегодня Тишиха утром видела, что с молоком поехала Нюра, Петькина жена. Тишиха пересчитала флаги — восемь штук, — только бабе и валандаться с ними. Ой, сторит от вина мужик — шестой день уж не просыхает.

— А лешой с ним! Заадался бы до смерти, — вслух сказала Тишиха и опять перевела думы на Мишку: ведь уедет, собака, уедет... У него втемяшится в голову — своего добьется. А в городе-то такого парня с ручками отхватят: на дороге не валяются эдакие ребята. Чего хочешь умеет сделать, из рук не выпадет ничего...

Тишиха уже закидывала удочку и Степахе, пыталась ее:

— У тебя внук-то не ладится уезжать?

— А он и здесь хорошо зарабатывает.

Значит, Степаха не в курсе. Заработками нынче молодяшек не удержать.

Вчера ребята опять приходили к девкам. Тишиха дождалась, когда они начитались девкиных записей, вышла за ними на крыльцо.

— Миш, — спросила она, — не передумал с Москвой-то? — спросила вроде бы бодро, смешком.

И Мишка ей смешком же и отозвался:

— Книжки, Тихоновна, с подволоки за десятый

класс приташил, все в пы-ы-ли — еще и сегодня прочихаться не могу...

За книжки зря не берутся. Уедет!

Да и Кирю сманит еще за собой. Вот собака...

## 11

Фаина Борисовна уезжала с окрыленной душой. Программа была выполнена экспедицией полностью. Девчонки оказались у нее молодцы: все записи разнесли по карточкам, не по одному разу проверили их точность у местных ребят.

— Федосья Тихоновна, большое вам спасибо за все, — прощаясь с Тишихой, сказала Фаина Борисовна.

А Тишиха-то вроде собиралась расплакаться — то и дело отворачивалась в сторону, поднимала к глазам угол повязанного на голову платка.

— Письмо-то хоть напишите, когда доедете...

— Обязательно, Федосья Тихоновна, напишем, — пообещала Фаина Борисовна и сама поверила своему обещанию, хотя очень уж не любила эпистолярный жанр и даже на деловые бумаги садилась отвечать через силу.

Федосья Тихоновна стояла у машины, на которой и предстояло ехать в Переселенье, — низенькая, сморщенная, в высоченных валенках с галошами. Валенки у нее, когда она шла, волочились по земле, и из травы за ней поднималась пыль.

— Коля, ты их ходко-то не вези, — обратилась Федосья Тихоновна к шоферу. — А то на дороге-то больно ям много.

— Не стеклянные, не разобьются, — засмеялся шофер.

Девчонки уже сидели в кузове, и, хоть кабина была пустая, Фаина Борисовна тоже полезла к ним.

— Ветерку хочешь? — догадался шофер. — Ну, давай.

У кабины, чтобы девкам было мягко сидеть, была взбита вытряхнутая из соломенников осока, уже высохшая, нерезучая и, кажется, пахшая потом — все-таки неделю спали на ней.

— Федосья Тихоновна, и ты напиши нам, — растроганно попросила Фаина Борисовна.

Тишиха обрадовалась ее словам, закивала:

— Да, да, напишу...

Шофер опять засмеялся:

— На почте ее почерк не разберут.

— Поштё? — встрепенулась Федосья Тихоновна. — Я письмо-то уж напишу, так и в Крым и в Мурман уходит.

Она намекала на дочерей. Фаина Борисовна все семь дней собиралась расспросить о них хозяйку, но все забывала.

С пригорка торопливо спускалась Степаха, руками махала, чтобы шофер ее подождал.

— Ой! — останавливаясь, она еле перевела дыхание. — Али бы уехали без меня? И не дождались бы?

Она подала через борт узелок.

— Яичек хоть на дорогу возьмите...

Фаина Борисовна было прижала к груди руки — спасибо, мол, зачем беспокоиться, но Степаха закричала на нее:

— Я те откажусь, я те откажусь! Бери — они вареные, не разобьются...

Шофер спустил машину с тормозов, она покатила под уклон сначала бесшумно, а потом зафырчала мотором.

Старухи махали руками, Федосья Тихоновна украдкой от Степахи утирала платком глаза.

У Фаины Борисовны вдруг и у самой запершило в горле. Она никогда не замечала за собой такой сла-

бости, чтобы при прощании с кем-то ей хотелось заплакать.

Фаина Борисовна скосила глаза на своих помощниц. Лариса тоже сидела подавленная, ушедшая в себя. Одна Надежда не унывала, вздымала вверх руки, ловила ветер.

В стороне, в лугах, рокотал трактор. Надежда толкнула Ларису и, дурачась, запела:

— Прокати нас, Петруша, на тракторе...

Лариса не обратила внимания на ее намек, но все же нахмурилась.

Старух еще долго было видно. Они по-прежнему стояли у дороги и махали руками. Федосья Тихоновна, чтобы ее было заметней, сняла с головы платок и махала им.

Фаина Борисовна не могла больше смотреть назад. Она встала к кабине. Ветер рванул ее волосы, перехватил дыхание.

Машина влетела на взгорок, и перед ней расступилась другая деревня, уже не Полежаево, а, кажется, Большая Медведица. От амбара, жавшегося к дороге, испуганно шарахнулись куры.

И Фаина Борисовна, заново переживая старое удивление, вспомнила, что глаза у куриц закрываются снизу. Вот ведь: сколько раз ездила в экспедиции — и не знала.



## АЛЕВТИНИНО ГОСТЕВАНЬЕ

---

### 1

Нюрке жалко было Алевтинины туфли. Они на весь каблук вдавливались в мокрый песок, хотя Алевтина старалась идти на цыпочках. Но разве выдержишь через всю-то деревню: чуть оступишься, и на земле, как от козьих копытец, — вмятины.

— Сняла бы да босиком, — сказала Нюрка. — Не по асфальту ведь, за два дня обдерешь.

— Ничего, Илюша новые купит, — ответила Алевтина и пошла смелее, будто на ногах у нее сапоги; козий след потянулся точеной строчкой.

Нюрка еле сдерживала себя, чтобы не спросить Алевтину: «Передо мной-то чего рисуешься? Знаю я твоего Илюшу...» Да неудобно было со встречи ссориться: только увиделись — и в задир. Не за этим Алевтина, едва с дороги опомнилась, прибежала к подруге, не за этим домой к себе повела.

Тропка после дождя была узковата — натоптать еще не успели, — и Нюрка, страдая, шагала сзади, не в силах смотреть, как вязнут в земле Алевтины туфли.

— Босой-то, что ли, боишься? — не удержавшись, укорила она подругу. — Корост от земли не будет...

— Да уж отвыкла, Нюрочка, я босиком ходить. Перед людьми неудобно: не девочка все-таки.

Нюрка чуть с досады не плюнула и, утешая себя, вспомнила о матери Алевтины: «Ничего, Петиха за отпуск научит тебя обутку беречь».

Мария Петиха — известная в селе скупердяйка. У нее зимой снегу не выпросишь. Она и сама изведется, и дочери жизни не даст, когда увидит, как Алевтина обращается с обувью.

Но Мария Петиха девок встретила молча, посмотрела, как Алевтина сняла раскисшие туфли, как, потягиваясь, прошлепала босыми ногами к зеркалу и, словно понимая, что родную дочь упрекать все равно бесполезно, — а выговориться, видно, хотелось, — заворчала на Нюрку:

— Загордилась, славутница. Без провожатых и дороги к Але не знаешь. Видела ведь в окошко, что Аля приехала...

— Нет, не видела. Я только с фермы пришла.

— Аля приехала — и сразу ко мне с вопросом: «Где-то Нюра? Чего она не идет? Сбегаю, мама, к ней». С матерью двух слов сказать не успела, а уж к тебе бежать собралась. Сиди, говорю, вертихвостка. Не отпустила ее. Так пока на стол собирала, она все равно улетела к тебе.

Петиха опять посмотрела на туфли. Под ними темным пятном скопилась вода. И не стерпела, укорила дочь:

— Ухайдакаешь туфли-то.



— Да ладно, мама, — остановила ее Алевтина. — Илюша новые купит.

— Напокупаешься на тебя, — вздохнула старуха и обеспокоенно посмотрела на дочку: чего-то она никак не могла в ней понять и оттого тревожилась.

Перед тем как садиться за стол, Алевтина повела Нюрку в горницу — показывать наряды. Платья и кофточки у нее были красивые, но Нюрка не завидовала подруге: в деревне в таких куда пойдешь? Разве в район когда съездить, так и то вырезы на груди велики слишком.

Но у Нюрки повлажнели глаза, когда она увидела паспорт. На гербованных листочках старательно выведена тушью новая фамилия Алевтины. Нюрка непривычно повторила ее:

— Елсукова.

Илюшу по фамилии в деревне никто не звал. Как железом каленым выжгли, на всю жизнь припечатали прозвище Илюша Центнер. И был-то он худенький, с рукавицы весом, а вот поди ж ты — Центнер, и всё.

Слыл Илья недотепой. Про таких говорят в деревне: на ходу уснет. Ветром вырвало с крыши у Елсуковых тесину, так все лето упиралась она одним концом в желоб, а другим — в землю. И только когда уходили ребята в армию, пришли к Илье пиво пить, Коля Задумкин не вытерпел, забрался на крышу.

Девки обходили Илюшу за три версты, даже на провсды не заглянули к нему. А он, отслужив три года, остался в армии на сверхсрочную — в кладовщики пошел, — приехал в первый же отпуск да и увез Алевтину.

— Вот тебе и Илюша, — дивились бабы. А уж больше-то всех удивилась Нюрка. Три зимы с Алевтиной на ферме вместе работали, все пополам делили. Уж кто Алевтину лучше Нюрки знал — никто.

Перед отъездом пришла Алевтина на дойку, смеется:

— Илюша Центнер замуж зовет.

Посмеялись вместе, а на другой день не явилась она на работу: Елсуковой стала.

Чего же делают с девками паспорта.

...Мария Петиха заглянула в горницу:

— Самовар-то стынет. Второй раз ставить не буду.

Сели за стол. Выпили по рюмочке красненького. А разговор, как раньше-то, не вязался. Отвыкли, видать, одна от другой, Алевтина спросит, Нюрка ответит коротко. Нюрка для приличия вопрос задаст — Алевтина проронит слово. А думают, видно, каждая о своем.

— Вы, девки, как умирать собрались, — не выдержала Петиха и еще налила по стопке. — Аль! Ну вот ты посмотри на Нюру, — сказала она озабоченно. — По-о-олнень-кая, как помидорчик... А ты-то чего иссохла вся?

И опять затуманились у старухи глаза.

— Да хватит, мама, — поморщилась Алевтина. — Дай хоть посидеть с человеком.

— Да я ведь чего... — покладисто согласилась Петиха. — Я молчу...

Она отщипнула от пирога кусок мякиша, вместе с крошками, подобранными со скатерти, бросила его на язык и долго и отрешенно перетирала беззубыми деснами. Отвернулась даже от девок в угол. А в глазах не таяла, синела тревога, и Петиха, наверно, сама не заметила, как снова ввязалась в беседу:

— Я ведь только чего и сказала-то — что Нюра полненькая...

— Ну, завелась как пластинка...

Петиха положила пирог на стол, заморгала повлажневшими ресницами. И дочь, предупреждая ее обиду, ущипнула Нюрку за бок:

— А тебя и правда ухватить не за что, — сказала она неестественно весело. — Как мячик стала...

— Сама-то какая была, — сказала Нюрка.

— Вот и я ей про то толкую, — обрадовалась неожиданной поддержке Петиха. — Сама-то мягонькая была, аккуратненькая...

Алевтина возразила ей строго:

— А теперь полные-то не в моде.

Петиха всплеснула руками:

— Да перед матерью-то чего выкручиваешься? Вижу ведь, не слепая: по абортам заладила.

— Ну, мама-а...

— Ладно, ладно, не мамкай. Замужнее дело такое — стыдиться нечего.

Алевтина встала из-за стола:

— Спасибо за хлеб-соль.

Позвала Нюрку в горницу.

Петиха растерянно посмотрела ей в спину:

— Да я ведь чего и сказала-то... Вот, Нюра, при тебе весь разговор наш был... Ты как своя... Не пойдешь по людям трезвонить... Вот скажи ты ей: ну разве есть за что на меня обижаться, не правду, поди, говорю ей?.. Сердце-то у меня ведь тоже не каменное. Матерь ведь я. И пофыркивать на матерь нечего...

Лицо у нее покраснело и сморщилось. Углами платка — то одним, то другим — она стала сушить под глазами, тихонько всхлипывая.

В горнице Алевтина снова выдвинула из-под кровати свой чемодан и отыскала под ворохом платьев белые носки.

— Вот подарок тебе.

Когда-то такие носочки было днем с огнем не сыскать. Кто б ни поехал в город, от всех девок один заказ — купи носочки.

— Ой, Алька, да не носят теперь такие...

По простоте сказала. Лучше бы промолчать. От подарка разве отказываются?..

Алевтина захлопнула чемодан, на кровать села.

— А раньше-то как гонялись, — сказала она задумчиво.

Вспоминать было начали, как бегали раньше плясать на игрищах, парней-то прежних всех перебрали, кто где пристроился да кто женился уже.

Но разговор выходил невеселый. И Алевтина, то ли желая взбодрить его, то ли задумав выведать подробности, о каких в письме не расскажешь, спросила:

— А ты, чертовка, скоро ль замуж пойдешь?

— У меня женихи не выросли.

— Ну не скажи-и, — возразила Нюрке подруга. — Твой жених давно в переростках бегают. Вот, правда, работа у пастуха ответственная — для женитьбы времени не найдешь...

Нюрка заалелась вся, понимая, что Алевтина намекает на Колю Задумкина.

— Он у тебя ничего-о, — не унималась подруга. — Я б за таким глаза закрыла — и хоть сегодня в омут. Ой, и налюбились бы с ним на дне-то омута...

Алевтина захохотала. «Ну и кобыла», — подумала Нюрка, чего-то пугаясь и оттого не находя слов, какими можно урезонить насмешницу.

— А может, он у тебя такой: и тебя блюдет, и по бабам не бегают? — затаившись в прищуре, спросила Алька.

— Не бегают!

— Неужели такой терпеливый? До тридцати-то лет? Ох, не маху ли я дала, поторопилась с замужеством. Ведь и глянулся мне раньше-то. — Алевтина пронзительно посмотрела на Нюрку, и та поразилась: смеху-то нет у хохотуньи в глазах, смех-то во рту завяз.

Нюрка, охваченная смутным беспокойством, засобиралась домой. Алевтина ее не удерживала, сидела, обмякнув, на кровати.

Не получилось ни разговора у них, ни шутки.

## 2

Нюрка торопилась с работы. И проскочила бы Алевтинин дом, если бы подруга ее не окликнула:

— Куда военным-то шагом да с перебежками?

Алевтина сумерничала на скамеечке у ограды. Подолом прикрыла за спиной крапиву: боялась, видно, платье измять, сидела на голой доске. Она лениво встала и, покачивая бедрами, завышагивала с Нюркой рядом:

— Пойду к тебе ночевать.

И раньше такое случалось: захочется языки почесать — спать ложились вместе.

— Смотри, рано вставать мне, — предупредила Нюрка. — Боюсь разбудить тебя...

Алевтина почувствовала насмешку:

— А ты не бойся, — сказала она и прищурилась, как вчера, когда говорила про Колю. — Я на ферму с тобой пойду.

Многозначительно как-то сказала.

Нюрка стрельнула в нее глазами:

— Ну, ну, покажись, какова теперь стала...

Алевтина хотела что-то ответить, но навстречу шли двое парней. Один был с Алевтину ростом, а другой чуть пониже, бритый.

— Здравствуйте, — сказала им Алевтина.

Парни удивленно поозирались и молча прошли мимо. Уже на бугре, сообразив, что, кроме них, на улице никого не было, они обернулись разом, обрадованно воскликнули:

— Здравствуйте, девочки.

Алевтина громко и как-то неестественно захохотала. — Ты чего? — испугалась Нюрка. — Это ж не наши. Парни выжидательно постояли, подумали и, закутив, пошли дальше.

А у Нюрки все еще дрожал в ушах ее смех.

— Сумасшедшая, — сказала она. — Разве можно с чужими-то?

— Ты смотри, какая пугливая, — не поверила Алевтина. Или притворилась, что не поверила. — А чужие-то разве хуже?

И опять засмеялась натянуто.

### 3

Кровать под марлевым пологом у Нюрки стояла в левом углу повети, свободном от сена. Девки легли и еще долго смотрели сквозь марлю на шелестящую крышу, пока темнота не замазала узкие полосы света. И тогда повесть начала жить таинственной жизнью. Шуршало, уплотняясь от собственной тяжести, сено, будто в нем бегали мыши. Внизу, во дворе, одиноко вздыхала корова, и, невидимые, зудели над пологом комары.

— Тишина-то какая, — прошептала гостя. — Отвыкла я уже от такой.

Нюрка устроилась поудобнее, закрыла глаза.

— Ты не перепугайся завтра, — предупредила она подругу. — У меня над кроватью будильник висит.

— А ты уж спать собралась?

— Да ведь рано вставать...

Алевтина вздохнула:

— Доярка как солдат в карауле, — сказала она задумчиво. — Солдат два часа спит, два — бодрствует, а два — на часах стоит. За сутки и набирается вроде бы восемь часов сна и восемь свободного времени, а из караула очумевшим приходит...

— Это ты про Илью?

— Нет, про доярку. Сравниваю просто.

— Чего-то раньше не сравнивала...

— А раньше не с чем было...

Завозились на нашесте куры. Под осторожными шагами кота глухо прошелестела на крыше drankа. И опять стало тихо.

Алевтина не могла молчать в такой тишине:

— Я вот только теперь и вздохнула всей грудью.

— Когда за Илюшу выскочила? — подколола Нюрка.

Алевтина не обиделась на нее, и Нюрка по вздрогнувшему телу гостьи догадалась, что та усмехнулась.

— Вот вы — Илюша, Илюша... А может, лучше Илюши и мужа нет.

— Ну, конечно, нет.

Алевтина будто не поняла подковырки, не шелохнулась даже.

— Илюша со службы придет — чаю поьем, идем гулять, — голос у нее мягкий и ласковый, каким сказку детям рассказывают. — Улица у нас тихая, в березках вся — как деревня... Иной раз на танцы ходим, а то в ресторан заглянем — не старые ведь. Ресторан от нас на трамвае в десяти минутах всего... Все-то рядом, удобно-то как, ног никогда не запачкаешь. Каблучками выстукиваешь по асфальту, а встречные парни оглядываются, так и едят глазами. Илюша сердится даже. — Она засмеялась тихонько, как ручеек зажурчал. — Говорит, ходи в босоножках. А ведь, Нюра, чего худого в этом. Пускай оглядываются, если понравилась, — меня не убудет...

Нюрка не видела лица Алевтины, но ей казалось, что та улыбается воспоминаниям.

— А то Илюша друзей позовет. Посидим за столом, радиолу послушаем, поговорим, посмеемся. Ребята у нас хорошие, деревенские все. А есть старшина, веселый та-

кой: на аккордеоне играет и песни поет. Он родом из Кировской области. Вот это, Нюрочка, парень! — И неожиданно предложила: — Хочешь, pošлет тебе карточку?

Нюрка задышала ровно и глубоко.

— Спит, — устало вздохнула гостья, отвернувшись к стене и согнувшись калачиком.

А Нюрка лежала с открытыми глазами, не смея пошевелиться. Какое-то странное состояние сковало всю — хоть реви, хоть кричи на всю улицу. Но рядом не спала Алевтина, прислушиваясь к ее ровному дыханию, и завидовала, наверно, что она быстро уснула.

Вот вся-то жизнь в зависти. Тот легко засыпает. Той посылки идут от родни с Украины. А ту муж в город увез, пристроил к легкому делу...

Бабы долго рядили, каково-то будет за Ильей Алевтине. По-разному мнения складывались, только все сходилось в одном:

— Развязалась хоть с фермой-то.

У Нюрки не было зависти к Алевтине. Была лишь обида: подружки все-таки не делают так, чего скрытничать, на шею к ее Илье не бросилась бы. Да, господи, кому он нужен, Илья-то... Смех и горе...

Завидовала Нюрка в своей жизни однажды только. Да вместе с Алевтиной и говорили об этом, ревели даже от зависти, кажется.

В школе они учились вместе с Галькой Мартьяновой. Нельзя сказать, что Алевтина и Нюрка хорошо успевали по всем предметам. Но уж не на тройках, как Галька, ехали. Школу окончили — куда сунуться? Об институте и не мечтали: только проеѐдишься — рублей сто, не меньше, — да славу худую домой привезешь — ну-ка, провалили бы экзамены, стыда ведь не оберешься.

А белый свет посмотреть охота.



— Поедем, девки, на льнокомбинат устроимся в Вологде.

Председатель колхоза не отпустил:

— Мне доярки нужны — не ткачихи.

Пришлось Алевтине с Нюркой идти на ферму. На Гальку власть председателя не распространялась: отец у нее продавцом работал, а мать — уборщицей в клубе. Не колхозники. Гальке паспорт еще в девятом классе выдали. И она со спокойной совестью укатила в город.

Алевтина ходила злая.

— Не я буду, если не вырвусь отсюда...

— А чего ты там потеряла, в городе-то? — спрашивала Нюрка.

— По-твоему, коровы к нам за хвосты привязаны?

Нюрке тоже было невесело, но сама себя сдерживала, не распускалась, как Алевтина.

Конечно, город тянет к себе, есть на что посмотреть. Но ведь и из города едут в деревню. Агроном — чем не парень? Из рук ничего не валится. И землю знает — дай бог каждому так понимать ее. Я, говорит, с этой земли ни на шаг. А ведь сам ленинградец, привык, наверно, к асфальту, в сапоги залезать несподручно было.

И Галька через полгода вернулась домой, в библиотеку устроилась.

— Ну как там, в городе-то? — пытали ее.

Она только отмахивалась:

— Ой, девки, везде ведь работать надо...

Но хоть своими глазами увидела. Хоть не надо было Илюшу искать.

...Илюша приехал, едва схлынуло водополье. В логах, правда, было полно воды, но коров уже выпускали на свежую зелень.

В день приезда он обошел всех соседей, с каждым за руку поздоровался. Сапоги от блеска горят. Бабы с ног и начинали разглядывать его.

— Ох, Илья, какой ты стройный-то стал.

Илья пружинисто прохаживался по избе — то ль сапоги скрипят, то ль половицы — и, довольный, прислушивался к скрипу.

Нюрка столкнулась с ним — лоб в лоб — на лестнице. Сержант надраивал бархаткой зеркальные голенища.

— Немного забрызгался, — забыв поздороваться, сказал он.

Нюрка пригласила гостя зайти, усадила его к столу, а сама села наискосок, к другой стене. Илюша снял форменную фуражку, повесил ее на колено.

— В отпуск приехал, — сообщил он радостно и спросил: — Ну, как вы тут?

— Да ведь у нас изменений нет, — сказала Нюрка. — Коров доим.

— Ну, ну... А ребята где, с которыми я призывался?

Нюрка подумала: «Знаешь небось. Получаешь из дому письма-то». Но все же ответила:

— А кто где... Витька вторунский — трактористом в колхозе...

— Это какой Витька? Перминов, что ли?

— Я и говорю, что вторунский. Не забыл Вторунку-то?

Илюша смутился, а Нюрка, не обращая на это внимания, обстоятельно рассказала о всех парнях, и, когда добралась до Коли Задумкина, Илюша заулыбался:

— Коля-то все за тобой?.. — он будто подбирал слова. Уколоть решил или как был, так и есть недотепа?

Нюрка нагло спросила:

— Уж не ждешь ли, когда освобожусь для тебя?

Илюша только зевнул и остался с открытым ртом.

В это время и влетела в комнату Алевтина.

— Илюша? В отпуск приехал? — И закричала на Нюрку: — А ты чего прохлаждаешься? Коров ведь пригнали. Хоть бы в окошко выглянула. А то через всю

деревню к тебе делай крюк. Видишь, уж на бугре коровы-то?

Они забыли о госте, выскочили из дому как угорелые.

Коровы и вправду были уже на бугре. Сейчас они спустятся вниз. Заведующая фермой Мария Попова откроет двери во двор, и коровы, толкаясь в проеме, зайдут в пропахшее молоком и навозом тепло. А когда поймут, что никто не собирается их привязывать к кормушкам, никто не несет им корм, разбредутся по темному двору и начнут в тесноте бодаться...

— Девчата, куда через ратники-то? — испуганно крикнул вдогонку Илюша и, забыв, что надраены сапоги, побежал за доярками. Но на угоре остановился. В эту пору через гнилые ручьи в ложбинах, которые не зря в деревне прозвали ратниками, не перескочишь.

До фермы было рукой подать. И зимой и летом тропинка прямая: летом по лаве из двух шатких бревнышек, переброшенных через реку, да через ложбину — и вот она, ферма; зимой прямо по льду — ни ручьев, ни болотины не заметишь. Но в водополье приходится делать обход через мост — крюк через всю деревню и через раскисшее поле. В водополье не так страшна река — лава все-таки высока: берега у Комьи крутые. — как страшны проклятые ратники. Воды в ложбинах скопится столько, что никакую лаву не перебросишь. Да и какая тут лава — ратники-то без берегов: в одну весну снега набухают синью только до поворота тропки, откуда она начинается круто взбираться вверх, а в иную — до самой кривой березы, прислонившейся к вытаявшей земле посередине взлобка.

Нюрка перебежала реку по лаве. Внизу крутило темную воду. Пенистые вьюны, хлопаясь о деревянный настил, уходили вглубь и всплывали наверх уже под осыпистым берегом, обнажившим корневище старой сосны.

— Как через ракитники-то? — спросила ее Алевтина.

— А кто его знает...

В логу снежницу уже расплавил, и вода шла на убыль. Была она мутновато-желтая, дно не проглядывалось. Нюрка разулась, взяла в руки кол.

Коля Задумкин пас коров на бугре, увидел доярок, заметался испуганно:

— Девки, вернитесь, ноги настудите.

Нюрка услышала крик, и ее как током кольнуло: «Тревожится». Она, прощупывая колом землю и вытянув в свободной руке сапоги, осторожно перебирала ногами по дну.

Песчаный склон уходил под воду не круто, и Нюрка с облегчением отметила, что глубина будет чуть выше коленей.

— Девки, куда вы? Патракеевские без вас подоят.

Коля торопливо спускался с угора, ноги расплзались в мыльной грязи, и он размахивал руками как пьяный. Расстегнутый плащ цеплялся лапами за кусты.

— Коля, миленький, помоги, — пропела за Нюркиной спиной Алевтина. Нюрка оглянулась: чего с ней? Подруга, зажав под мышками сапоги, обеими руками приподымала подол. И воды-то было ей по колено, а юбку задрала чуть не до пояса. Нюрка инстинктивно, будто это не Алевтиныны, а ее ноги синеют на ветру пупырышками, выпустила кол из руки и расправила на ногах намокшее снизу платье.

Коля влетел в воду с разгону и, поднимая брызги, торопливо пошел навстречу девкам. Прорезиненный плащ, пузырясь, плыл за ним как собака.

— Нюрка, не ходи дальше, здесь глубоко. — Он оступился в яму, судорожно вздохнул и выскочил на мелкое место. — Не ходи, говорю, я сейчас.

Он поднял ее на руки и, обходя яму, вынес на просящую тропу.

— Коля-а-а! — закричала жалобно Алевтина. Она беспомощно стояла в воде, держа подол в руках.

— Не визжи. Сейчас вынесу.

Он, расталкивая воду, пошел за Алевтиной. И когда взвалил ее на руки, Алевтина, словно утопленница, обхватила его за шею. «Бессовестная!» — задыхнулась Нюрка от ревности. Это чувство не оставляло ее весь день: и когда Коля под руки вел их в теплушку отогреться; и когда он убежал за коровами, а доярки сидели вдвоем в парившем тепле и держали ноги в ведре, полном сукропной воды, прислушивались, как покалывает пальцы; и когда заведующая фермой Мария Попова, похохатывая, спрашивала: «Ну как, девки, ратники-то поухватистей ухажеров?» — Алевтина в ответ побабьи ругалась:

— К лешему все! Не могу больше. К черту!

Но утром забылось все. Алевтина явилась на работу веселая и, поманив Нюрку пальцем, увела за кормушки:

— Илюша Центнер замуж зовет.

Посмеялись вместе.

...Будильник зазвенел неожиданно, будто и не было ночи. Разбуженный, загорланил петух. Курицы покудахтали на нашесте и захлопали крыльями, поднимая на повети ветер. Щели на крыше уже просвечивали.

Нюрка натянула на себя холодное, повлажневшее за ночь платье. И долго не могла разобраться: то ли приснились ей ратники, то ли не спала до утра, вспоминала.

#### 4

Нюрка любила во дворе чистоту. Если у стойла выскоблено — шерсть на корове лоснится, будто дорогой воротник. Во время дойки прижмешься щекой к ворси-

стому боку коровы и слушаешь, как она дышит. И тепло и удобно. Молоко туго звенит о подойник...

— Коровы-то у тебя прихоженные, — похвалила Нюрку подруга. — Дай хоть одну подою.

Бабы сразу заметили горожанку.

— Алевтина, эй! — крикнула Мария Попова. Ее не было видно, сидела под пестрой коровой. — Не забыла еще, где соски-то искать?

— Да не забыла, — засмеялась в ответ Алевтина. Она огладила вымя, и звонкие струи заговорили пенисто и упруго.

— Иди в доярки-то снова! — перекричала Мария звон молока.

— Да я уж, видно, свое отдоила.

— Ну? Загордилась али от нашей работы отвыкла? — Мария, зажав в руке беспокойный коровий хвост, отвела его в сторону. Она сегодня работала за дочку. Как уехала Алевтина с Илюшей в город, так и пришлось заведующей ставить на освободившуюся группу коров свою Нинку. Может, за это сердилась Попова на Алевтину.

— Мы ведь с осени перейдем на двухсменку, электричеством станем доить. Белые рученьки не устанут, — продолжала она язвить.

— Да хватит тебе, — заступилась за Алевтину Нюрка и ужаснулась: «Чего уж так-то она? Как отбившуюся от стада корову...»

— А чего хватит? — возразила Мария, но Пеструха у нее в это время нагорбилась, и по настилу гулко зашлепало. — Зараза, снова блины печет. — Доярка отодвинулась вместе со скамеечкой от хвоста.

Нюрка из-за коровы не видела лица Алевтины. Она видела только зажатый в ногах подойник да растерянные руки под выменем. Пальцы неуверенно отжимали соски, и белая струйка все время рвалась. «Да уж не ревет ли?» — испугалась Нюрка и позвала тихо:

— Аля!

Алевтина не отозвалась, но струйка забилась туже.

В дверном проеме появился Коля Задумкин. Нюрке казалось, что он смотрел на нее. «Ты чего рано пришел?» — хотела крикнуть она, но проглотила крик и зарделась: Коля шел по двору и смотрел на нее. Нюрка отвернулась и не услышала, когда он остановился.

— Нюр, а у тебя сегодня помощница, — сказал Коля и поздоровался. Алевтина встала с подойником и, сияя, подала Коле руку. Нюрка почему-то вспомнила сразу, как она держалась ему за шею, когда он переносил ее через ратники.

— С приездом вас, — сказал Коля.

И Нюрка заторопилась:

— Аль, помоги флягу вынести.

Коля вежливо отстранил ее, взвалил на плечо флягу и пошел к выходу. Алевтина прищурилась:

— Ой, Нюрка, а ты ведь ревнивая, — и, заметив смущение подруги, затараторила: — Ну, не буду, не буду, ладно.

Она села на скамеечку, потупившись, сидела так, пока коров не стали выпускать со двора.

## 5

Нюрка не слышала, когда Петиха пробралась на повесть. В повлажневшей темноте густо пахло росой. Корова чесалась внизу о ясли. Они вздрагивали и скрипели. И Нюрка подумала, что забыла, наверно, вечером завести будильник. Бабы, пожалуй, уж затопили печи и подоили коров.

Нюрка хотела вставать, но вставать сейчас было неловко. Алевтина с Петихой разговаривали на приступке.

— Ты от матери не скрывай, — уговаривала Петиха. — Матерь худого не посоветует.

— Мама, да хватит тебе, — умоляла Алька. — В чужих-то людях дай спокойно поспать.

— Матьер худого не посоветует, — настаивала Петиха. — Денька два поживи у нее — и ладно.

— Мне и здесь хорошо.

— Ты людей постыдись. Чего люди-то скажут? За весь отпуск к свекровке не заглянула. Через два дома свекровка-то — не переломятся ноги.

— Хоть через три — не пойду...

— Срам-то, срам-то какой.

— А я свой срам вместо хлеба съела.

Петиха закуксилась, всхлипывая, она поднялась с приступка и, натываясь руками на стены, зашаркала к выходу.

— С матерью-то толком не поговорит, ничего не расскажет... Не чужая ведь я тебе...

Петиха спустилась по лестнице, глухо прикрыла дверь. Ее шаги прошуршали вокруг избы и удалились в гору. По росе было долго слышно, как она шла и всхлипывала.

Алевтина таилась в тихом углу. И Нюрке казалось, что подруга, как и на ферме, сидит на приступке не шевелясь. Не настала бы...

Ночь-то какая мокрая! Одеало наволгло. Волосы стали тяжелыми. А щели в крыше все еще не просвечивали.

Под Алевтиной пропел протяжно приступок. Зашуршало сено в ногах. Она осторожно легла на кровать.

Нюрка закрыла глаза. И едва удержала вздох. Чего теперь делать-то? Хоть бы успокоилась Алевтина. Да и бабы на ферме... И чего уж девку травить? И так места нигде не находит...

Нюрка вчера сказала об этом Марии Поповой.

— Не люблю вертихвосток, — отрезала та. — Она что думала, в городе-то для нее меду припасено — только на кусок успевай намазывать? Нет, миленькая,



и там через мозоли хлеб-то дается. Везде ведь работать надо...

Мария хотела поставить подойник вверх дном на скамью, чтоб обсох, да разнервничалась, столкнула его с доски. Ведро, загремев, покатилося под ноги. Попова не стала его поднимать.

— Приехала на каблучках перед нами крутиться, удивить захотела. Даже имя свое успела забыть...

— Какое имя? — схитрила Нюрка, будто и знать ничего не знала.

— А вон от Илюши письма идут Елсуковой Алле.

Разве утаишь чего в деревне? Почтальонша в первый же день растрезвонила по селу: «Ой, бабы, думаю, что за Алла у нас появилась, а это Алька, оказывается».

Нюрка спрашивала у Алевтины о письмах, правда ли.

— Ну, конечно, правда. Я там Алла для всех. И Илюша привык: все Алла да Алла... Алевтина уж больно имя-то деревенское... А дома все равно знают, что меня Алевтиной зовут. Хоть Ириной сказывайся, хоть Розалией, язык ведь не переломят, — Алевтина для них, и все.

Но обиды в голосе не было. «Смеется, поди», — подумала Нюрка. Ей казалось, что смехом и вызывающими замашками подруга предохраняет себя от излишних вопросов, отвечать на которые ей до слез тяжело.

...Нюрка лежала и думала, что городская-то жизнь не каждому, видно, в пользу. Рвутся, рвутся все в города, а душа-то болит по дому. Одни возвращаются, а другие едут. Конечно, съездить неплохо бы... Посмотреть на людей, пройтись в нарядном платье у всех на виду. Вон и дочка Марии Поповой собирается в Вологду. Отправляют ее за счет колхоза учиться на зоотехника. Предлагали и Нюрке, согласилась уж было, да сходила с Колей Задумкиным в райцентре в кино и пе-

редумала. Уж на год-полтора поехала бы... А тут целых пять лет. Вдруг не поглянется в городе?

Нюрка совсем запуталась в своих рассуждениях. «Ой, да город-то тут при чем?» И уснула.

Будильник надрывался от звона, а Нюрка счастливо улыбалась во сне, и виделось ей, что она едет в трамвае. Улочка тихая, вся в березках, и дома деревянные. Нюрка вглядывалась в них, и ей почему-то казалось, что она здесь бывала тысячу раз. Трамвай звенел, останавливаясь у каждого дома. Нюрка, не выдержав этого звона, выскочила на мокрый асфальт. У ворот знакомого дома — господи, да это ж Вторунка! — стоял Коля Задумкин и громко смеялся: «Вот видишь, и в городе встретились», — сказал он. «Какой же город? — хотела она возразить, но Коли не стало, ей подавал руку Кировский старшина. Рядом с ним стояла в платье с глубоким вырезом Алевтина и шептала Нюрке: «Карточку подарит сейчас. Не теряйся, Нюрка! Пора!»

Алевтина тормошила ее за плечо:

— Нюрка! Пора! Проспала коров!

Она хохотала. Но под глазами у нее было черным-черно.

— Ну и спать я горазда, — потягиваясь, проговорила Нюрка. — Как убитая. С вечера завалюсь — и трактором не поднимешь.

Она давала понять, что не слышала разговора с Петихой.

Алевтина, кажется, не обратила на это внимания.

— Да Коля Задумкин поднимет тебя и без трактора, — сказала она, лукаво сощурившись.

Нюрка отвернулась смущенно. Расчесала гребенкой волосы и, дождавшись, когда отхлынет жар от лица, взглянула на Алевтину. Та, нежась, вытянула руки за голову и зевала. Нюрка вспомнила о приходе Петихи, снова пожалела ее.

— Я рано встаю, — вздохнула она. — Не даю тебе и поспать.

Алевтина, догадываясь о намеке, как отрезала:  
— Мешала бы, так дома спала... Или у свекрови...  
Нюрка покраснела под ее пристальным взглядом.

6

На подкормку косили овсы. Подрезанные, они долго хранили в стерне прохладную влагу и, когда на них наступали, брызгались из-под ног молоком.

Алевтина вела покос первой. Ноги у нее клейко вызеленились, и Нюрка, когда отставала, не могла разглядеть их среди овса.

— Да потише ты, заморила совсем, — просила она Алевтину.

Подруга не слышала ничего, кроме косы. Казалось, она сливалась хрупким телом с косьевищем и через него вбирала в себя дрожь падающих хлебов, обостренно чувствовала и густоту посева, и неровность пашни, и направление ветра, который, когда к нему приравниваешься, помогает косить.

Запах вянущих овсов густел и кудревато струился над зеленеющими валками.

В горячем воздухе звенели оводы. Они кружились вокруг доярок, садились им на потные спины, льнули к рукам, присасывались к голым икрам. Искусанные ноги у девок были в кровавых ссадинах. И только лошадь, впряженная в телегу, спокойно похрумкивала овсом.

— Уж не заговоренная ли она у тебя? — удивилась Алевтина, обтирая рукавом потное лицо.

— Да я ее дегтем мажу. Лучше всякого заговора.

— Ох, намазали бы меня! — Алевтина бросила косу, расправила занемевшую спину, прислушиваясь, как в ней что-то похрустывает. — Выкупаться бы сейчас...

— А давай, — согласилась Нюрка. Она смотрела на повеселевшую Алевтину и хотела лишь одного — сохранить ее настроение.

Алевтина, неуклюже вскидывая ноги, побежала по колкой стерне. Нюрка, не выпрягая лошади, привязала ее за узду к оглобле и бросилась догонять подругу.

Вода в Комье светлая. Сквозь нее было видно, как тупоносые пескари жались к ногам, но стоило только сделать навстречу им почти незаметное движение, из-под плавников у них тотчас же взвихривались песчинки, а у белых Нюркиных ног никого не оставалось. Мозолистые пальцы казались ей на дне расплюснутыми. Нюрка заходила в реку по шею, и ноги начинали уродливо переламываться в струистой воде, а белые мозоли вырастали словно под лупой.

Алевтина плескалась на отмели. Она, подпрыгивая, брызгалась, и брызги горели на солнце искрами. Потом заходила поглубже. Взвизгивая, падала в воду бревном, и волны долго и беспокойно плюхались о противоположный обрывистый берег, смывая с темных, как головешки, корней березы, поникшей над омутом, жухлые листья.

— Девки, — позвал с обрыва мужской прокуренный голос, и Нюрка увидела, что у березы стоит, посмеиваясь, Коля Задумкин. Она стыдливо присела, обхватившись руками, и закричала испуганно и сердито:

— Ты чего приперся? Не видал, как купаются?

Коля воткнул в березу топор:

— Жерди пошел вырубать, да решил к вам заглянуть.

Он был доволен переполохом, который вызвало его появление, и, словно дразня Нюрку, сел на зеленеющий дерн, свесил ноги с обрыва.

— Коленька, ты что-то хочешь сказать? — игриво спросила его Алевтина. Она, повернувшись к берегу, где стоял Николай, убирала с лица намокшие волосы.

Всякий раз, когда Алевтина поднимала руки, над водою вздымались не только плечи, но и четко обозначившаяся на груди ложбинка. Нюрка задыхалась от ужаса: «Да ведь видно все». Она хотела сердито крикнуть: «Ты чего перед ним выголяешься?» — но язык у нее задеревенел.

Коля смущенно поигрывал на берегу топорщиком, отводя глаза в сторону.

— Вот что, девки, — сказал он, вставая. — Вы подкормку скорей везите. Мария Попова ругается.

— А чего ей не терпится? — Алевтина перевернулась на спину и поплыла. Коля, отступая от берега, оправдывался:

— Да коров-то пришлось во двор загнать. Сегодня овод большой.

Алевтина, колошматя руками воду, смеялась:

— Ну какой ты мужик? Даже оводу испугался...

Брызги радугой стояли над ней.

Нюрка прислушалась, как Коля, путаясь сапогами в траве, выходил на тропу, дождалась, когда затихнут его шаги, и, воровато оглядываясь и пригибаясь, побежала к кустам, где лежала одежда.

Алевтина громко захохотала. Нюрка, вздрагивая на ветру, укорила ее:

— Бессовестная. Перед чужим мужиком выголяешься.

Алевтина резко оборвала свой смех:

— А мне, миленькая, терять уже нечего... Я замужняя. Вот ты стыдись.

Она вылезла из воды, молчаливо оделась и направилась в поле, где стояла невыпряженной серая лошадь.

Над валками овса густел житный запах.

Алевтина взяла из телеги вилы и, выйдя на край покоса, пошла вдоль рядка. Кошенина застревала в стерне, не держалась на вилах, и Алевтина, сердясь на

свою неловкость, всем телом давила на черенок. Металлические рога глубоко уходили в землю, к ним прилипла глина.

— Да будет злиться-то, — сказала Нюрка. — Что, не правду разве сказала?

Алевтина, собрав вилами ношу потяжелее себя, уперлась о землю чернем и подлезла под груз спиной.

— С ума сошла! — испуганно закричала Нюрка, и злость на подругу исчезла. — Надорвешься ведь...

Она подбежала к Алевтине и, пристроившись поудобнее, помогла забросить овес на телегу.

— Очумелая, — сказала она и стряхнула с головы запутавшиеся в волосах травинки.

— Ты сама очумелая, — ответила Алевтина. — Ну, сколько еще годов он будет за нос тебя водить... Пришел, ножки с бережка свесил. И любо ему, что зарделась вся, как осинка дрожишь. Вот, мол, до чего голову ей задурил: просижу на берегу целый день — при мне из воды не вылезет.

— Нет, буду, как ты, голая перед ним подпрыгивать.

— Тьфу ты! — обиделась Алевтина. — Есть еще дурь на белом свете, да не все вместе собраны... Ну, чего ты млеешь так перед ним? Боишься, что разонравишься? Да ведь любил бы, так давно уж посватался... Сколь годов тянет...

Нюрка до крови закусил губу, ничего не сказала в ответ. Обидно слушать такие слова, но и возражать глупо.

Он вот стучит сейчас за рекой топором. Как кукушка кукует. Хоть бросай вилы в сторону да, разинув рот, начинай гадать, чего выстучит: возьмет замуж — не возьмет, возьмет замуж — не возьмет...

Уж не только в своей деревне, а и вторунские девки, и патракеевские — все, наверно, задумались, отчего тянет Коля волынку.

Воз накидали молча. Нюрка забралась наверх и, натянув вожжи, стала править к дороге. Нагруженная овсом телега ощущала колесами каждую неровность загона, каждую вмятину и оттого расшатанно ходила из стороны в сторону, как деревянная веялка.

Алевтина выскочила на тропку и побежала к лаве.

— Я на ферме тебя подожду, — желтый заграничный платок с изображением пальм затрепыхался на ней как живой.

Тропка закаменевшей лентой спускалась по бритой луговине к реке и, выскочив на другом берегу на угор, исчезала в чащобе ельника, где вырубал жерди Коля Задумкин.

Нюрка посмотрела вслед Алевтине, и у нее от кольнувшего подозрения вспотели ладони. Она нетерпеливо заподхлестывала лошадь вожжами. Телегу затрясло, как на кочках.

Алевтинин платок мелькнул несколько раз за кустами, около лавы, потом Нюрка увидела, как Алевтина легко вскарабкалась в гору и сразу же ее заслонил частый ельник.

Нюрка раскрутила над головой спаренный конец вожжей, опустила его на пыльный круп лошади. Но удар получился слабым, натянутые постромки приняли его на себя. И все же лошадь прибавила шаг.

Дорога сбегала к реке, проговорила под колесами настилом моста и наезженной колеей свернула на обрывистый берег, где долго виляла среди кустарника, забирая от Комьи вправо, к пологой вершине ратника.

Тонкостволовые березки наклонялись к возу, поджимая его с обеих сторон. По их расщептавшимся на ветру макушкам стлался отчетливый стук топора. Коля вырубал жерди где-то сразу за ратником.

Нюрка, успокаиваясь, остановила лошадь и, соскользнув с воза, взяла ее под уздцы. Начинаясь спуск к ратнику. Спуск сам по себе не страшный, отлогий,

но там, внизу, речьевина расползлась по дороге, и, если лошадь, испугавшись воды, свернет всего на полметра в сторону, колесо обязательно соскочит с вымощенного камнем проезда в ил и по трубицу утонет в болотине. Одной тогда ничего не сделать. Приходилось намеренно притормаживать во время спуска, и потому телега давила на лошадь, передком била ее по ногам. Кобыла хрипела, косилась на Нюрку испуганными глазами, но сдерживала напирющий воз, боялась своей тяжелой поклажи.

Перед лужей, когда уклон кончился, Нюрка остановила лошадь, благодарно погладила ее по шелковистой губе и прикинула по четко обозначившейся при выходе из воды колее, где безопасней проезд.

— Ну, милая! — Нюрка взялась за ременный повод, но, так и не сделав ни одного шага вперед, замерла на месте. Ей показалось, что там, в чащобе ельника, хотнула Алька. По крайней мере, топор у Коли молчал.

Нюрка долго вслушивалась в тишину. Ей опять слышалось, что Алевтина возбужденно смеется и чего-то нетерпеливо говорит в ответ Коля.

Нюрка рванула на себя лошадь и, сама не сознавая, зачем она это делает, круто повернула от колеи в сторону. Переднее колесо жирно чавкнуло. Лошадь дернулась и, как привязанная за хвост, заперебирала ногами на месте. Натруженно заскрипели гужи. Лошадь метнулась влево и, угрожающе потрескивая оглоблями, вывернула колесо из ила, ткнулась резким рывком вперед, но тогда съехало в болотину заднее колесо, и телега застряла намертво, завалившись на правый бок. Кобыла испуганно шарахнулась к берегу, передок соскочил со шкворня, и телега зеленым островом осталась посреди мутной лужи.

Нюрка привязала взопревшую лошадь к березе и побежала в гору. Наверху она прислушалась к молчаливому лесу, ничего не услышала и, не зная, куда бе-



жать, чуть не разревелась. Запыхавшаяся, она покрутилась на месте и, боясь, что ее могут увидеть такой обезумевшей, нырнула в чащобу ельника. Продираясь сквозь колючие лапы, она торопилась к тропке, соединяющей ферму с деревней. Уж если Алевтины нет и на ферме...

Нюрка выскочила на солнечную поляну и испуганно подалась назад.

Коля сидел на пне, а напротив, прижавшись к березе, стояла Алька. Она прислонялась к дереву не спиной, а руками, заложенными назад, и отталкивалась от него, а береза будто магнитом гянула ее к себе.

«Ишь разыгралась», — зло подумала Нюрка. Она не знала, то ли выбежать из ельника, то ли, зарывшись лицом в мягкий мох, нареветься досыта, нажаловаться земле на свою нескладную жизнь. И, не успев ничего решить, услышала ласковый укор Алевтины:

— Ох ты теленочек...

Коля растерянно улыбался.

— Бабы ведь не кусаются, — настаивала Алевтина. — Бабы послаще девок.

Она неестественно засмеялась.

Коля поднялся с пня и, видя, как Алька, оттолкнувшись от дерева, настороженно сделала к нему шаг, громко матюгнулся. Алька удивленно остановилась:

— Это что ж так неласково? — спросила она, одергивая платье.

Коля, краснея, нагнулся за топором.

— А-а, иди ты к... Илюше. — И стал неуверенно ошкуривать жерди, чтобы они быстрее просохли.

Алевтина громко захохотала. И непонятно было, над собой ли она смеялась, над оробевшим ли Колей Задумкиным.

Пропахший лесом и зноем ветер обжал на ней платье, выпукло обозначив и грудь и ноги, будто хотел убедить Задумкина, что тот поступает глупо. Алевтина, не обо-

рачиваясь, шла к тропинке. Ветер играл ее платьем, путался под ногами. Она, вытянув руки по бедрам, не давала ему шалить, уходила быстро, а за ней, выпрямляясь, долго качались в траве ромашки.

Нюрка хотела дождаться, когда Алевтина пересечет поляну, но, вспомнив о ратнике, продралась через чащобу к ложбине, где была привязана лошадь, и закричала призывно, побежала по лесу, откуда едва успела вернуться, ломая сучья, треща валежником:

— Помогите-е-е!

Она выскочила на солнечную поляну намеренно левее того места, где работал Коля, и, намеренно не оглядываясь, побежала к ферме.

— По-мо-о-гите-е!

Алевтинин платок еще не скрылся в кустах и маячил вдали как подсолнух.

Нюрка слышала, что Коля бросил работу, что он догоняет ее.

— По-мо-о-гите-е!

Алевтина обернулась на крик и, увидев, что Нюрка зазывающе машет руками, спотыкаясь, побежала назад. А за спиной у Нюрки уже тяжело дышал Коля:

— Чего разоралась?

Он стоял перед ней, покорный, и, ловя ртом горячий воздух, дожидался ответа.

— Телега в ратнике... Вязнет...

Коля облегченно вздохнул:

— Думал, режут тебя...

Он легко выдернул из наводопевшего пня топор и, не дожидаясь Альки, вломился в густую стену мелкорослого ельника.

Нюрка постояла, пока Алевтина не поравнялась с ней, и насмешливо стрельнула глазами:

— Что-то медленно ты идешь?

Алевтина, не понимая намека, охнула:

— Да на тебе лица нет. Что случилось?

И, смягчаясь от ее испуга, Нюрка сказала тихо:  
— Засадила телегу в ратнике.

Она хотела снова спросить: «Что-то медленно ты идешь?!» — но Алевтина скользнула вперед и, пока не добежали до ратника, не давала себя догнать.

Коля вырубил на угоре жердь.

— Важить будем. Может, получится.

Он спустился вниз и, не снимая резиновых сапог, обошел с трех сторон телегу.

— И как тебя угораздило... задним-то колесом?

— Не знаю.

— Уж передним — тогда понятно бы...

— Да, передним понятно бы, — повторила Нюрка.

Коля сходил за лошадью, развернул ее у воды и, не выпрягая из передка, заставил пятиться к телеге. Потом он, подсунув жердь под ссевший перед телеги, позвал девок на помощь. Втроем они приподняли воз, и Коля, подсев под жердь плечом, натянул вожжи, осаживая лошадь.

— Нюрк, наставляй шкворень!

Они поставили телегу на передок, но им оставалось сделать не менее сложное — высвободить из ила заднее колесо. Заважив его, они приподняли жердь. Воз был тяжел. Нюрка почувствовала, как у Коли напряглось тело.

— А ну, взяли! — хрипел он. — Алька, понукай Каяху!

Алевтина рванула лошадь за недоуздок.

— Раз, два, взяли! — хрипел Коля. И болотина, чавкнув, выпустила грязное до черноты колесо. Лошадь легко выкатила воз на берег.

— Ух ты! — облегченно проговорил Коля и закурил. — Ну поезжайте.

Он постоял у воды, жадно затягиваясь дымом, бросил сигарку и сквозь кусты стал продираться к полюне, где его дожидалась работа.

— А не Коля, так что бы делала? — задала вопрос Алевтина. На ногах у нее мазутными пятнами чернел ил.

— Ноги-то не отмыла, — сказала Нюрка.

Алевтина выругалась:

— Вот зараза... Да мыла ведь... Наверно, с телеги набрызгало. — Она хотела спуститься к ручью, но передумала. — Все равно в грязи будешь: на ферме не чище.

Нюрку резанули эти слова:

— Шла бы тогда домой. Без тебя управлюсь.

Алевтина вздохнула.

— Мучений-то сколько через эти ратники принимаете, — сказала она сочувственно.

— Ну, ты уж теперь отмучилась, — ответила Нюрка. Алевтина недоверчиво посмотрела в ее глаза — завидует ей или смеется — и сказала с вызовом:

— Да, я отмучилась!

«Господи, — подумала Нюрка. — Да какие тут муки? Сама так хотела...»

Она вспомнила, как повернула лошадь навстречу трясине: «Напридумываем всякого, только бы оправдаться... На ратники можно чего угодно свалить...»

Алевтина, стыдясь своей резкости, заторопилась сгладить ее:

— Ой, как вспомню ту водополицу, когда Коля на спине таскал нас — так по коже мороз...

— А ты не вспоминай лучше, — усмехнулась Нюрка и сердито подумала: «Чего уж оправдываться? Не оправдаться ведь все равно. Вышла замуж — живи. А то заладила: «Ратники, ратники...»

— Что-то ты сегодня не в духе, — заметила Алевтина.

— А мне не с чего в духе быть!

Нюрка представила, как, засадив в болотине воз, ломилась через кусты к поляне. Позор-то какой, стыдобушка — следить, как за мужем.

И чуть не вздохнула вслух: «Ой, Алька, ратники-то можно ведь обойти. А как себя обойдешь?»

И вдруг сама поразилась пришедшим мыслям: не с ратниками, с собой воюешь все время.

По правую сторону дороги раздался стук топора. Коля вырубал жерди. Осенью он собирался обнести приусадебный участок новой изгородью и теперь использовал всякую свободную минуту.

## 7

Нюрка вытащила из комода все свои платья и, сбросив их по кровати, не зная, с какого начать прищипку.

«Пожалуй, вот с этого, голубого». В нем она ездила в район на совещание животноводов. Смешно и радостно вспоминать сейчас, как они с Колей убежали тогда в кино. В черном костюме, при галстучке, он был очень похож на городского.

— К тебе сегодня и подходить боязно, — призналась она.

Коля улыбнулся в ответ и, чтобы уж совсем не отличаться от городского, купил мороженое для себя и для Нюрки.

В полутемном зале они сидели на последнем ряду и почти не следили за тем, что происходило на экране.

— Я никогда не бывала в кинотеатре, — шепнула Нюрка. Она хотела добавить: «С парнем», но вовремя удержалась.

— А я в армии посмотрелся... Зал, пожалуй, поболее этого...

— Ну, в армии это не то. Там одни солдаты.

— Конечно, не то, — согласился Коля.

На них заглядывались, и они, замолчав, не решились продолжать свой разговор.

Сеанс кончился. Нюрка с Колей вышли из прохлад-

ной темноты на душную улицу и, не сговариваясь, захохотали:

— Ты хоть знаешь ли, что за кино смотрели?

Они побежали к афише и, давясь смехом, прочитали название фильма.

А потом Коля купил билеты на следующий сеанс, и они опять сидели на заднем ряду и ели мороженое.

Колхозная машина ушла из района без них. Председатель всю дорогу ругался и вслух высказывал догадки: «Наверное, с молоковозом уехали. Ну я им покажу, как не сказываться».

Нюрка с Колей до рассвета брели по намокшей от росы пыли. И говорили-то вроде о ерунде всякой, а вот и сегодня помнится...

...Нюрка натянула на себя голубое платье и, гордясь тем, что на ней, чего ни наденет, все в обтяжечку, радостно засмеялась. Она долго не снимала платье, смотрелась в зеркало, словно сравнивала себя с кем-то.

### 8

Вечером Алевтина заявила к Нюрке. Пришла, будто и не было ничего на поляне, будто и не трясла подолом перед Задумкиным, пришла как подруга к подруге.

«Ни стыда, ни совести», — подумала Нюрка устало. Но обида, которая жгла ее целый день, перегорела.

— Уезжать мне пора, — сказала ей Алевтина. — Наверно, завтра уеду.

Она оделась по-непривычному просто, и Нюрка даже не сразу заметила: а ведь Алевтина-то в белых носочках, в тех, что дарила ей в день приезда. Видеть в них Альку было смешно.

— Ты чего как Окуля вырядилась?

Алевтина пропустила насмешку мимо ушей, призналась грустно:

— Да захотелось чего-то так походить...

Они посидели молча. В открытые настежь окна, гну-сая, втягивались комары. Они забивались под потолок, где было темнее, и угрожающе соединяли свои голоса в протяжную и нудную песню. Гремя флягами, по дороге проехал молоковоз.

— Может, поплясали бы мы с тобой на прощание?

Нюрка удивилась этому приглашению — никто не пляшет теперь, уж и стыдно бы вроде плясать, — но отказать не решилась.

Они вышли за огороды, в полукружье кустов, где трава была гладко выкошена. Алевтина отломила от березы зеленую ветку и зажала ее в руке:

— Ох, черемуха-то давно отцвела. — Она прошлась по скошенной луговине, намечая будущий круг, взмахнула веточкой и запела:

В поле белая березонька,  
Не ты ли мне сестра?  
Горя не было у девушки —  
Не ты ли принесла?

Алевтина отчаянно задрбила ногами, но жесткая косовица — не лужайка перед окном, туфли спотыкались о корневища трав, и дробь получалась неуверенной, вялой. Да и какая уж пляска, если не слышно ног. Но Алевтина не хотела этого замечать. Не соблюдая очереди, забыв, наверно, о ней, она выплеснула вторую частушку:

Вышью птичку на платочке —  
Полетай, бескрылая.  
Каково тебе без крыльев,  
Так и мне без милого.

«Да в чем она признается-то? — испугалась Нюрка. — Ведь никогда не сказывала, что не любит Илюшу». Ее неожиданно охватило жаром догадки: «Ой, да

как же так?» И частушка Алькина, и сегодняшний разговор на поляне, и стук Колиного топора — все перепуталось в сознании. Она, не чувствуя ног, продробила за Алевтиной и, когда остановились для песни, боясь, что Алевтина снова ее обгонит, торопливо выбросила большие слова:

Не оставит меня милый —  
Нечего заботиться.  
Если он меня оставит,  
Речка поворотится.

Алевтина удивленно вскинула брови, будто просыпаясь от навязчивых дум, и, поняв, о чем спела Нюрка, взмахнула веточкой, но дробить не пошла, осталась на месте. Нюрка двинулась было по кругу, но, заметив, что подруга вросла в траву, настороженно притихла, дожидаясь, чем она ей ответит.

Не найти такой березы,  
Чтобы дождь не проливал.  
Не найти такого дроли,  
Чтобы век не забывал.

Алевтина качнула бедрами и, как тогда, на поляне, когда уходила от Коли Задумкина, завышагивала по кругу спокойно и гордо, не собираясь приплясывать.

Нюрка неуверенно пропела вдогонку:

Задушевная подруга,  
Не ходи по выгону.  
Не люби ребят подряд,  
А люби по выбору.

Алевтина нетерпеливо рванулась вперед, приминая ногами зачерствевший обрез травы, и с вызовом ответила на Нюркину просьбу:

Пожила бы в его доме,  
Поносила бы воды.



Привела судьба несчастная —  
Ношу, да не туды.

«Ох ты зараза!» — ужаснулась Нюрка. И, наливаясь решимостью, вспомнив сразу и про Илюшу, и про вешние ратники, перед которыми Алевтина не выстояла, и про то, как на ферме Мария Попова изводила горожанку своим языком, по-бабьи мстительно выкрикнула:

Дайте паспорт, я уеду,  
Милые родители.  
Я не буду дома жить —  
Нашла дурня в Питере.

Алевтина выронила из рук ветку, нагнулась за ней, чтобы спрятать растерянность, долго шарила рукой по земле и приседала все ниже и ниже, пока не накрыла платьем уже успевшие зазелениться носки.

— Ой, мамушка! — вскрикнула Алевтина горько и, поджимая под себя ноги, повалилась в траву.

Нюрка стояла молча, давая подруге выреветься. Ей было стыдно за свою ненужную злость. Ведь прогнал же Коля ее, прогнал. Хоть и гордо уходила потом, а прогнал — так зачем было злиться-то? Она присела к согнувшейся Алевтине. У земли вились комары, Нюрка хлопала себя по голым ногам и не знала, что сказать.

Алевтина подняла от земли сухое, без слез, лицо, с полосками вмятин от жесткой травы:

— Ну и наплясалась теперь. Пойдем, — сказала она ледяным голосом, отряхнула платье и, не оглядываясь, идет ли следом за нею Нюрка, двинулась к огородам.

— Ой и дура я, ну и дура, — разговаривала Алевтина с собою вслух. — Подразнить захотела. А себя ведь дразнила-то.

Нюрка прислушивалась к этим бессвязным словам,

не разбираясь в них, но все же смутно догадываясь, что чего-то она понимает не так.

Алевтина неожиданно обернулась:

— Да успокойся ты, любит Коля тебя. Я проверила. У Нюрки защемило в груди, и она, не понимая, что говорит, спросила, сочувствуя:

— Худо, Аля, с Ильей-то живешь?

— А какое дело тебе? — в сердцах бросила та. — За Колю трясешься? Да не нужен он мне. Я таких Коля...

Она выкрикивала злые слова, готовая разреветься. И, только выговорившись, попросила тихо:

— Ты не думай худого. Я ведь вправду проверяла его... Ну, иди, иди. — Она подтолкнула Нюрку к крыльцу и пошла по дороге к дому.

Нюрка зябко поежилась от нависшего над деревней тумана. По ночам уже было холодно, и с неба падали звезды. А где-то на стлищах мокли в росе дорожки бурого льна.

## 9

До железнодорожной станции было километров семнадцать, и Петиха выпросила у бригадира лошадь. Положи у Алевтины немного — один чемодан, но ведь стыдно отпускать дочь с пустыми руками. С вечера Петиха накопила мешок раноспелки-картошки — месяца два хоть дочери по базарам не бегать, — нажарила мяса, наварила яиц.

— Ну, куда мне столько? — отмахивалась Алевтина.

— Бери! — прикрикнула мать.

И Нюрка подтвердила тоже:

— Бери. Не тяжела ноша.

— Да ноша мне не страшна, — засмеялась гостья. — Илюша все равно встретит.

Она бегала по избе легко, смеялась весело, и Нюрке

не верилось, уж та ли Алевтина, с которой плясала вчера, крутит теперь перед зеркалом бедрами, не подменили ли ее за ночь.

— А ты чего пригорюнилась? — хохотнула Алька. — Жалеешь, что не успела Колю отбить?

Она подмигнула Нюрке дурашливо и крикнула громче, чем надо:

— Мама! А чего свекровка не идет меня провожать?

— Да не ори, вертихвостка! Дуня под окошком сидит.

Алевтина враз присмирела.

— А чего она не зайдет?

— А ты-то к ней много захаживала?

Из избы вышли притихшие.

Илюшина мать сидела у ограды на скамеечке, изпод которой вытягивалась крапива.

— Уезжаешь, касаточка? — обиженно спросила Алевтину свекровь. Подбородок у нее, похожий на куриный зоб, тяжело затрясся. Старуха подтянула ноги под скамью, где курчавилась крапива, но не почувствовала ожогов. — По чужим людям ходишь, а к свекрови и заглянуть некогда. — Она блеснула мокрыми глазами и жалобно уставилась на невестку.

Алевтина кивком головы поздоровалась с ней, прошла к тарантасу, где Петиха привязывала к дрожкам мешок.

— Взяла бы хоть полмешочка моей, — сказала Дуня. — У меня картошка-то красная. Илюша больно любил такую.

Алевтина неуверенно возразила ей:

— Да, наверно, ведь и наша рассыпчатая.

Петиха, услышав в голосе дочери неуверенность, торопливо вмешалась:

— Теперь уж, сватьяшка, некогда. Поезд нас дожидаться не будет.

— Ну хоть гостинец увези от меня Илюше. — Дуня

подала завязанный на все четыре угла цветастый платок, в котором бугрился сверток.

Алевтина простилась со свекровкой за руку, чмокнула Нюрку в щеку и уселась в плетеной корзине. Петиha, взобравшись на облучок, взялась за вожжи:

— Ну, милая! — несмазанный тарантас закрипел.

Нюрка смотрела, как лошадь вынесла его за деревню, побежала полем к реке. Алевтина сидела, боясь оглядываться, потому что худая примета — оглядываться, когда уезжаешь: изнается сердце по родимым местам...

Тарантас прогрохотал по настилу моста и свернул от ратников в сторону. Очень скоро Алевтина слилась с мешком в одну серую массу. Зачем-то некстати Нюрка вспомнила, как подруга отказывалась от картошки. А картошка ведь что — в вагоне бросишь мешок в багажник и вези хоть на самый край света.

— Проводила подругу? — спросил Нюрку знакомый голос. Мария Попова держала под мышкой буханку хлеба. — А я вот бегала в магазин... Уехала, стало быть, Алевтина...

Она заметила сгорбившуюся над скамейкой старую Елсукову.

— А ты, Дуня, чего реवेशь?

— Да ведь как, Мариюшка, не реветь? Провожала-то не чужую.

— Ну, на будущий год снова встретишь.

— Да ведь встречать-то мне не дано. Ни одной ночи не погостила, — не вытерпела, пожаловалась старуха Марии. А и кому ей было пожаловаться, как не первому, кто посочувствовал. Родни в доме нет. Как перст, одна-одинешенька. — Чует сердце мое — неладно у них.

— Ну, чего там неладно? — возразила Мария.

— Да ведь не любилась они совсем. За день всего округились.

— В одной деревне росли. Не с завязанными глазами бегали.

Нюрка не стала слушать, как Мария успокаивала Дуню, пошла домой.

На крыльце она неожиданно наткнулась на забытые Алевтиной туфли. Покоробившиеся, с глубокими трещинами, с выбившимися из-под черной кожи металлическими основаниями каблуков, они теперь никуда не годились. И Нюрка, жалея их, подумала про подругу: «Да разве ж не знала она, что по здешним асфальтам много в таких не находишь...»



### ЗВЕЗДА УПАЛА

---

Звезда упала совсем рядом, в траву. Федосья Васильевна уловила даже запах каленого железа. Он, конечно же, растворился сразу, а может, невидимой струйкой поднялся обратно к небу, потому что кошка, нежившаяся у Федосьи Васильевны на коленях, его не почувяла, так и продолжала дремать, закрыв глаза. Федосья Васильевна столкнула ее с коленей и побежала огородцем к тому месту, где звезда упала на землю.

Вспотев, она отогнула руками траву и, ползая на коленях, обшарила примеченный ею круг луговины, но не увидела ни самой звезды, ни пригорелой проплешины, ни даже какого-нибудь остывшего камня. Звезда как провалилась сквозь землю.

И все-таки оттого, что Федосья Васильевна видела, как она падала, у нее не оставалось сомнений: звезда где-то тут. Раньше, в святки, девки загадывали: с

какой стороны звезда упадет, с той и жди жениха. Теперь не святки, лето, да и Федосья Васильевна не в той поре, когда ждут женихов. В мае она совсем было оконфузилась, заболела так, что думала: больше не встать. А поднялась, оказалась живучая.

В соседнем огороде ворошила скошенную отаву Зинка Баламутиха.

— Зин! Ты видела ли, звезда упала?

Зинка от нее отмахнулась, не до разговоров бабе: нервы снова из подчиненья вышли.

— Моя звезда опять вповалушку пьяная... — только и сказала в ответ.

«Ну вот, — вздохнула Федосья Васильевна, — изводи теперь себя злобой да еще мужика до белого каленья взвинти — хорошая будет жизнь, не нарадуешься...»

Зинка Федосье Васильевне не чужая, младшего брата Гриши дочка. Гриша у них сгинул на войне, Зинка выросла безотцовщиной, привыкла, видать, к тому, что мать в доме была большухой, выучилась у нее командовать и теперь чуть чего, так на мужика да на деток покрикивает, голоса не жалеет. А того в толк не возьмет: у хорошей бабы плохого мужика не бывает. Сама Зинка виновата, что Ваня у нее такой...

— Ой, Зинка, Зинка, учить тебя некому...

Теперь уж, конечно, какая учеба, ребенка учат и то до тех пор, пока он поперек лавки лежит.

Зинка зацепилась граблями за кочку, дернула их что было мочи — и три зуба остались в траве. Ей бы, дурочке, не горячиться, сдать назад, но где там, раздражение так и прет через край, как из квашонки тесто. Зинка бросила грабли, решительной походкой направилась в дом.

Федосья Васильевна осуждающе покачала головой, прислушалась, что творится в доме племянницы.

— Вставай! — кричала Зинка. — Вон Егор тоже пьяный был, во стану не стоял, на телеге домой увозили, а уж на работу пошел. Только ты не очухаешься никак.

Ваня у нее, конечно, не мед. Хорошего не прозвали бы Баламутом. У него же будто и фамилии нет — Ваня Баламут да Ваня Баламут. Даже на Зинку и то перекинулось — Баламутиха. Так оно и правда: если разобраться по-настоящему, она не меньше своего мужика баламутит. У другой бы, у ласковой-то, Федосья Васильевна уверена, и Ваня б иное обличье принял. Не зря же стариками замечено: жениться — переродиться. А Зинка рычит на него, как тигра. Какой поряточный мужик будет бабе уступать — любой огрызнется.

Ваня, похоже, запустил в Зинку сапогом: Федосья Васильевна услышала, как примазисто сгрохотало о стену, — не попал, промахнулся: то ли нарочно не в жену метил, то ли и взаправду рука оказалась нетвердая.

Зинка запричитала в сенях:

— В милицию на паразита заявлю... Отсидишь суток пятнадцать, так поумнеешь...

Ей ли об уме говорить... Федосья Васильевна век не поверит Зинке, что с мужиком плохо жить. Федосья Васильевна за двумя была замужем, знает: и худ мужичонка, а завалюсь за него — не боюсь никого. Надо только одно стародавнее правило усвоить: не петь курице петухом, не быть бабе мужиком. И вести себя как подобает бабе: лаской брать, лаской... Федосья Васильевна никогда с мужьями не ссорилась, а верх вроде бы всегда был за ней.

Ваня Баламут вышел на крыльцо, потянулся как ни в чем не бывало. Лицо с перепоя заплыло.



— Щеки-то скоро на плечи упадут, — подколола его Федосья Васильевна.

— А от хорошей еды, — заплывшим глазом подмигнула ей Ваня. — Зинка кормит как на убой.

— Слышала я ваш «убой», — не похвалила и племянника Федосья Васильевна. — Такой убой добром не кончается.

Ваня Баламут сел на ступеньку, взъерошил задубелой пятерней волосы:

— Федосья, да она ведь налетела на меня что коршун... Сама понимаешь, и не отбиваться нельзя.

— Вот-вот, затевайте свару: сегодня ты в нее сапогом запузыришь, завтра она на тебя с ухватом выйдет... Примерная семья, ничего не скажешь...

— Да не стоять же мне перед ней — и руки по швам! Неужели я капитулировать буду? Я и то первым на нее никогда не напаираю, каждый раз она войну объявляет.

— Да разве я Зинку твою оправдываю? Я ее, со-тону, и виню. Знамо, не пройдет без греха, у кого же на лиха...

Ваня Баламут рот раскрыл до ушей: до того доволен ее словами.

— Фе-е-досья-я, — умиленный, протянул он. А чего «Федосья», и сам не знает, только глаза закатывает. Наконец все же выдохнул: — Ну, Федосья, ты — челове-е-ек.

— Да ведь, конечно, не лошадь.

Ох, племянник, племянник, и теткой не назовет, уж двадцать годов, поди, на Зинке женат, но все, как и раньше, Федосьей шварит. Конечно, Федосья Васильевна его ни разу не оговаривала, но когда-то бы мог и сам догадаться.

Ваня Баламут, болезненно морщась, потирал лоб.

— Уж ладно бы, Федосья, с шаромыжниками какими накеросинился — ругай тогда сколько охота. А я

вчера с председателем колхоза пил. Не мог же я председателю отказать: нет, мол, Василий Ильич, не буду, ты пей один...

Зинка выплыла из-за спины, руки в бока уперла:

— Будет с таким забулдыгой председатель колхоза пить — уж молчал бы.

Ваня Баламут удрученно покрутил головой.

— Вот, Федосья, так и маюсь... Моя Зинка что глиняный горшок — вынь из печи, а он пуще шипит... Голова бы не трещала, дак еще поругался, а то ломит, и спасу нет. Пойду умываться. — Он, опершись рукой о ступеньку, поднялся, перешагнул порог, но, пошатнувшись, отступил назад. — Чего-то я, Федосья, вчера весь вечер тебе хотел сказать, а грохнулся в кровать и все заспал.

— Ну, вспомнишь, так скажешь. — Федосья Васильевна не ожидала услышать от него серьезных вестей. Испрокажен мужик — чего от такого дождешься.

Зинка, подбоченившаяся, проводила его ворчанием:

— С председателем он пил... Может, скажешь еще, с председательшей?

— Нет, с председательшей не скажу, а то волосья ей вытаскаешь...

— Ой, ой, — презрительно выпятила губы Зинка, — золото какое. Стану я из-за такого обормота настроение портить...

— Ох, Зинушка, — покачала головой Федосья Васильевна, — опять не туда поехала... Еще мама-покойница, твоя бабушка, наказывала: «Уважай мужа, аки главу церкви, — и кивала на золоченый крест. — Церковь без креста — это уже и не церковь, стены одни...» Век не поверю, что нельзя хорошо прожить, — подытожила она свои мысли.

Зинка не поняла ее, она была охвачена ожиданием,

что ответит ей муж. А чего он скажет хорошего на такие слова?

Видишь как, станет ли она из-за такого оборота настроение председательше портить... Ой, Зинка, дофуркаешься... Мужики не валяются на дороге...

— Зинка! — крикнул жене Ваня, плескавшийся под рукомойником. — А ты забыла, как мы с тобой на курорт ездили? Остановлюсь с кем поговорить, так только и стеклишь глазами, где я.

Зинка всплеснула руками:

— Думаешь, я из-за баб стеклила тебя? Да боялась, что и там, как дома, напьешься, а я за тебя отвечай.

— Ну, Зинка, по-о-го-ди... И меня приревнуешь. Какую-нибудь и я председательшу отхвачу.

Зинка всхотнула. А чего, дева, смеешься? Возьмет и отхватит. На это, смотри, много ума не надо.

Вот заговорили о председательше, а тоже ведь бабочка не святая. Забыли, как с Егором, бригадиром, схлестнулась? Магазин с утра до вечера на замке был, придешь за чем-нибудь: «Где продавщица?» Говорят, яйца на Николину гриву пошла закупать. А Егор с меркой — в луга, сенокосы обмеривать. Было, было... Закупали они и яйца, и луга обмеривали. А уж Егор ли не забулдыга?.. Нет, председательша ни на чего не посмотрела, от такого мужа, от Василия Ильича, побежала за ним. Вот и не стекли тут за мужиками... Ой, Зинка, еще как стекли-то!!!

Ваня Баламут после умывания выглядел посвежее, но глаза по-прежнему были заплывшими.

— Вспомнил, Федосья, чего тебе сказать-то хотел. — Он как-то осекся, отвел глаза в сторону, и Федосья Васильевна уже почувствовала беду, онемело прикусила язык. — У Кости Митрохина дочка умерла... При родах...

Костя Митрохин — второй муж Федосьи. Прожила

с ним Федосья Васильевна недолго, всего четыре года: он ушел к молодой жене. Но плохой памяти она на него не держала...

Так вот к чему упала перед нею сегодня звезда...  
Вон какое черное счастье-то обозначила...

Маня умерла, единственная Костина дочь...

В девках Федосья не помнила Кости. Да и откуда ей было помнить, если Федосью замуж выдавали за Тишу, а Костя в ту пору пешком под стол ходил. Семь годов и двадцать один — разница? Федосья на Николиной гриве родилась, а Костя — на Выселках... От Николиной гривы до Выселков — восемь верст. Конечно, знать бы, что на Выселках твой мужик растет, так не один раз сбегала бы на него посмотреть. Да ведь никто — ни сверху, ни снизу — не подскажет, как сложится твоя судьба, чего тебя впереди ожидает. А если бы и нагадала какая цыганка, что вот, мол, Федосья, карты твои ложатся так-то и так — ни за что не поверила бы. За Тишей ей было жить — не нарадоваться. Старики, Тишины родители, ее любили и берегли, спать давали вволю, сами по дому делали всю работу. Но Федосья пока не жила, она только готовилась к жизни. Все думала: вот впереди, вот за тем поворотом где-то стоит полная чаша с ее счастьем. Вот построят они с Тишей свой дом, останутся совсем одни — тогда и начнется то, чего она ждет, о чем думает. Старики и не хотели, а стесняли ее своим присутствием. Разыграются Федосья с Тишей, разбалуются — молодые же! — старики войдут в дом, и померкнет все. А не осудят, нет, слова плохого не скажут. И все-таки, что там ни говори, не хватало чего-то, все-таки не сама в доме большая. Кажись бы, заботами да делами с головы до ног вся увешалась бы, не охнула бы ни разу, что спина от надрыва трещит, — только бы одним пожить, без догляда со стороны...

Теперь-то, задним числом, Федосья Васильевна себя

укоряла: вот ведь до чего глупая была, старики ей мешали. А без стариков осталась, похоронила их — и будто от себя что-то оторвала. Может, оттого так казалось ей, что и Тиши не стало рядом — призвали его на финскую, а на Отечественной в первые дни убили.

Костя тоже через обе войны прошел, израненный, но вернулся домой.

Вот когда Федосья впервые-то бегала на него смотреть. Ой, да разве она одна? Все раменские бабы, все николинские, козловские, медвежанские — со всей округи сбежались поглазеть на живого солдата. В деревни-то мужики возвращались по одному да по два, а в иную и не единого не вернулось, остались лежать в чужедальной земле. Вот и бегали бабы на живых мужиков смотреть.

Но и тогда Федосья не поверила бы никаким гадалкам, что Костя Митрохин придет к ней свататься. Мало ли девок-горемык ждут не дождутся своего часу. А она — вдова, увядшая ягодка.

Правда, однажды Настя Сенькина, Костина сестра, ей сказала:

— Федосья, не 'я буду, если брата своего на тебе не женю!

Так когда это было-то? Еще в войну. Федосья ездила с бабами сдавать государству колхозный хлеб. Там, в «Заготзерне», и встретились они с Настей Сенькиной: высельчане тоже хлеб привезли. Вместе, натаскавшись мешков, сели под навесом у склада перекусить, не делясь на выселковских и раменских. Настя тогда и бухнула:

— С тобой, Федосья, ни одну девку нельзя сравнять, ты всех затмишь.

Чего она имела в виду (не обличье же Федосьино, не осанку же!), Федосья постыдилась переспросить и, опасаясь, что Настя начнет пояснять бабам свои слова, суетливо вмешалась:

— Верно, Настя! Ни на какой работе не удам девкам!

А работу ли имела в виду Настя, Федосья и сама не узнала. Конечно же, не о красоте речь шла, не о фигуристости. Какая фигуристость, когда приходилось костоломничать, не щадя себя, — фляги с молоком таскать на спине, с дровами валандаться, мешки грузить на телегу. Уж если с таким надрывом работаешь, так о девичьей осанке говорить нечего.

Настя промолчала. И только потом, когда засобирались домой, оттеснила Федосью в сторону и шепнула:

— Мне давно с тобой породниться охота.

Видя, что Федосья не понимает ее, добавила:

— Вот подожди, война кончится... — и прищурилась, выдохнула, как пригрозила: — Федосья, не я буду, если брата своего на тебе не женю.

Федосья сразу-то и не сообразила, что Настя намекает на Костю. Думала, о старшем брате толкует, о Васе. Так у Васи своя жена есть, никуда не девалась.

О Косте ей почему-то и на ум не взбрело.

Весь день валил снег. На дорогах накрутило такие косы, что без лопаты до колодца не пробраться, к соседям не забежать. Ждали трактора с треугольником. А трактор, оказалось, завяз где-то под Березовкой, вышел из деревни и утонул в снегу.

В такую погоду собаку из дому не выгоняют, и Федосья удивилась, когда вечером услышала, что на крыльце кто-то обивает веником-голиком снег с валенок.

Дверь отворилась, впустив в избу слоистое облако мороза, и через порог перевалилась закутанная в закуржавевший платок Настя Сенькина, Кости Митрохина

сестра, а за ней-то — батюшки! — сам Костя Митрохин в серенькой шинельке, в солдатской шапке со вмятинной от звезды, в новеньких, без прогибов, валенках. Он держал в руке незажженный фонарь.

— Куда это, полуношники? — удивилась Федосья, все еще не догадываясь, зачем в такой неурочный час к ней пожаловали высельчане. Мало ли по каким делам ходили в село да привернули на обратном пути погреться.

Настя Сенькина, тоже овдовевшая в войну, была старше Федосьи годов на десять, но выглядела уже далеко не на пятьдесят. Покрасневшие на морозе щеки были как помятые помидоры. Она, не раздеваясь, прошла на середину избы, зачем-то взглянула на потолок и уселась ровнехонько под матицей. Ну прямо как сваха...

Костя, поставив фонарь у рукомоЙника, неуверенно топтался в кути, поколачивал нога о ногу.

— Ты чего там толчешься-то? Проходи на́-избу, — поторопила его Настя и повернулась к Федосье. — Глико, какой несмелой, как и на войне не бывал...

— Да ноги отогреваю, — оправдался Костя.

— ДаК снимай валенки да полезай на печь, — скомандовала Настя и спустила с головы на плечи платок, расстегнула пальто. — Ай, стыдно? Ну, до чего за войну-то неловкой стал... А чего ран стыдиться? Раны, знамо, мерзнут. Никто не осудит.

Настя прошла к столу, вытащила из кармана поллитровку.

— Ну дак и разденемся, наверно, — сказала она. Опешившая Федосья заторопилась:

— Ой, конечно, раздевайтесь, — уж теперь-то было ясно, что раз с бутылкой, то к ней специально шли, а не просто так привернули.

Федосья ошалело села к столу, не зная, как приветчать ей таких гостей. Бежать на кухню разжигать са-

мовар? Доставать из залавка, тащить из чулана все, что припасено на праздничный день? Так скажут, сама не своя, до чего обрадовалась. А и сидеть истуканом нехорошо.

Настя, раздевшись, опять взглянула на потолок, опять села под матицу и, как тогда, в «Заготзерне», прищурилась, выдохнула, будто пригрозила:

— Ну вот, мы и пришли!

Костя же по-прежнему неловко мялся в кути, без приглашения не проходил к столу. Сестра посмотрела на него, расхохоталась:

— Федосья, ты помнишь ли, как ваш николинский Гавря свататься за Саню ходил?

Федосья мала была, запомнявала.

— Гавря, — смеялась Настя, — дошел со сватом до крыльца и испугался: «Ты иди, — говорит, — за невестой один, а я здесь постою».

Настя рассказала эту побасенку, Федосья сразу и вспомнила, что у Гавриной истории есть продолжение.

— Сват настырный был, — засмеялась она, — затащил жениха в дом невесты, а Гавря не знал, что сказать, молчал-молчал, а потом похлопал себя по голенищам сапог и похвастался: «Вот, говорили, Пронины сапоги велики, а в самый раз...»

Настя деланно захохотала.

— Ты смотри, а я этого не слыхала... — переглянулась с братом.

Костя уже не поколачивал валенками друг о друга, стоял, еще больше смутившись.

И Федосью пронзила догадка: «Господи, да он же не в своих валенках!» А она-то, дура, по нему резанула — как до сватовства отказала. Чужие валенки на тебе... Ну и чего такого? Человек недавно с фронта пришел — там ведь не валенки катал, а воевал. Дома же, известное дело, за войну все пришло в разор: старуха



мать одна оставалась. Теперь вот с Настей съехались, а Настя тоже не пимокат, не накопила богатства. Митрохины и раньше-то жили бедно. Про Костю Федосья и не слыхивала, как он в парнях гулял. Похоже, негуляного и в армию забрили, а там война... Может, валенок-то дома так и не нашивал.

Настя насупилась:

— Сапоги, Федосья, дело наживное. Был бы человек хорош...

Думала-то Настя сейчас, конечно, не о сапогах, а о валенках и говорила совсем не о Гавре... У Федосьи уже не было никаких сомнений, зачем они к ней пожаловали.

— А я разве спорю, — сказала она и кинулась собирать на стол. — Конечно, человек хороший, так все наживет.

Она не углядела, когда Костя примостился к столу. Пока бегала на кухню, он уже оказался напротив сестры.

— Ну, Федосья, канитель разводите нечего, — решительно потянулась Настя раскупоривать бутылку. — Я тебе давно обещалась, что свататься придем. Вот и пришли... Не скрываем, богатства за нами нету. И если сговоримся, так жить ему у тебя. У нас, сама знаешь, тесно в дому. Не пошевелиться...

Федосья посмотрела на жениха. Тот сидел, уткнувшись взглядом в столешницу, волосы у него на голове взвихрились, уши запунцовели. Мужик, видать, тихий, обижать не будет.

Она сложила руки на коленях.

— А помоложе-то или не нашли?

Настя отставила бутылку, не стала наливать в рюмки.

— Он, Федосья, израненный весь, — сказала она. — На девке женится, накопят полную избу деток, а если умрет? А от тебя одного-то — поднимете.

Костя взял бутылку, неверной рукой разлил водку.  
— Жених незавидный... — вздохнул он.

Федосья хотела сказать, что нынче и таким рады, но промолчала: зачем обижать хорошего человека?

— А ты знаешь ли мои-то годы? — спросила она у Кости.

Он кивнул головой.

— Смотри, я свои годы не скрываю...

Он опять кивнул головой, волнуясь оттого, что она так быстро дала согласие.

Настя бодро вскинулась:

— Ну, так по этому случаю...

Выпили. Федосье сразу ударило в голову: ой, не поропилась ли она? Не насмешит ли людей? Жениться ведь недолго, да бог накажет: долго жить прикажет. Хотя... долго ли? Костя вон, видно, опасается за себя. Да и ей сорок лет. Про нее Настя уже все высчитала: одного ребенка родишь, на ноги его поставишь, а на второго и не замахивайся — не успеть. Конечно, не успеть. От Тиши вон и то не успела. А ждала, ждала от Тиши ребеночка. И старики ее понукали, хотелось понянчиться с внуками. Да, видать, не судьба. Не гадала чего, то и случилось. Ходила Федосья на реку белье полоскать — а беременная была, — поскользнулась на льду — и все, выкидыш. Маменька-покойница места себе найти не могла: да как же так, да зачем ты, Федосья, пошла, я бы, говорит, у колодца в корыте выполоскала... А сама уж из дому не выходила, ведра-то из колодца не вытащить...

Настя вывела Федосью из оцепенения:

— Ты не горюй, девка, хуже, чем у людей, не будет.

— Будет, не будет... не угадаешь...

— Работа у него хорошая, налоговый агент, на зарплате заживете! У тебя трудодни, у него деньги... Пить не пьет. Курить фершала не велят...

Известное дело, сватать — так хвастать.

Федосья согласно кивала головой:

— Да, да, конечно... Только уж давайте тогда по всем правилам. У меня мама и тятя живы, схожу к ним, посоветуюсь.

Так и договорились: Федосья сходит на Николину гриву, поговорит со стариками, а потом даст знать о своем решении на Выселки. Провожая неожиданных гостей, она еще раз напомнила:

— Так смотрите, я своих годов не скрываю...

Они оделись, взяли фонарь и вышли.

Федосья прильнула лбом к оконному стеклу. На улице было темно, хоть глаза выколи. Федосья с трудом разглядела, как жених со сватьей вывернули по тропке на дорогу. «Чего же они фонарь-то не зажигают?» — удивилась она. И, будто послушавшись ее, Костя чиркнул спичкой — Федосья увидела пятно света на серой шинели. Ветер погасил спичку. Костя чиркнул еще раз, укрыв огонек полрой шинели, — и вот уже фонарь заколыхался над дорогой, высвечивая на снегу круг, — казалось, что брат и сестра были без ног, что шинель и полушубок плыли по сугробам самостоятельно.

«Что бы им фонарь-то в избе засветить, — посетовала Федосья и вдруг вспомнила, что они и в избу вошли без огня. — Да что же это такое — на улице гасят, на улице и зажигают? Неужели стыдятся, что люди могут увидеть, как приходили ко мне? Или боятся ославушки, если я откажу?»

Так какой отказ? Для себя-то Федосья уж все решила. Не мыкаться же одной всю жизнь. Какой бы ни израненный, а все мужик: и пилу наточит, и топор на топорнице насадит, и гвоздь где надо вобьет. Да ведь вдвоем и есть вдвоем. Пожаловаться хоть будет кому, так и то облегченье.

Родители, конечно, услышав о замужестве дочери, предостерегли:

— Смотри, Федосья, сама. Только не молод ли для тебя жених? Все-таки четырнадцать годов разница...

— А я и не зову, — сказала Федосья. — Сам хочет, так пусть идет.

И еще про Гаврю вспомнила: вон Гавря старше бабы на десять годов — а и ничего.

— Так то Гавря старше, а не Саня ведь, — усмехнулся отец.

— Ну-ко, лешой понеси, так не все ли равно? — выругалась Федосья, чтобы родителей переспорить, сама-то, конечно, понимала: не все равно, потому и добавила: — Я его не зову, сам идет.

Вот, говорят, баба с печи летит — семьдесят семь дум передумает. Век не поверю этому. Надумала — так ничем с пути не собьешь.

На работу Косте ходить было недалеко — до района около десяти километров, — но Костя редко когда оставался ночевать в Березовке: уж если только разыграется метель-заваруха, которая, выйди из села, на первой же версте собьет с дороги, утопит в снегу. Ну, такие дни выпадали нечасто. Правда, в Березовке-то, в конторе, Косте доводилось сидеть немного — в месяц и пяти дней не наберется. Такая уж ему досталась собачливая работа — неделями мотался по деревням, выколачивал налоги.

Бабы припугивали Федосью:

— Ой, Федосья, отогреется он у тебя, да и поминай, как звали.

— А я ведь силом и не держу, — отвечала Федосья со смехом. Она и сама понимала: мало ли что может случиться в этих командировках — угостят где само-

гоночкой, а у пьяного за собой контроля нет. Вон про баб и то говорят: баба пьяна — вся чужа. А уж мужик и трезвый того и гляди забыться может, не вспомнит, что у него своя жена есть.

Ну, обижаться на Костю пока не приходилось. Из самых дальних углов норовил прибежать домой. Бывало, среди ночи заявится, стучит в окошко:

— Пустите бедного сироту погреться.

И по повадкам было непохоже, что Костя пристраивался к ней невсерьез. Молока из кринки не выпьет, чтобы сметану не оснимать. Федосья его за это еще и оговаривала:

— Тебе получше питаться надо, а ты чего делаешь?

— Да все равно и осниманное жирное, — оправдывался он и поворачивался к ней, а она сидела у стола с иголкой, чего-нибудь шила да порола. — Я думаю, давай мы с тобой с получки швейную машину купим.

— Будет! Тратиться-то... Я и руками сошью.

И ведь купил все равно. Притащил из района на са-ночках.

Зарплата у него, конечно, была хорошая — шестьсот рублей, почти как учительская. И ведь до копеечки всю ей отдавал, ничего не затаивал. Бутылочку если только к празднику купит, так без нее уж не выпьет.

Федосья, бывало, после рюмочки-то ляжет в кровать и сама себе удивляется: «Подь ты к ляду, служащей стала», — и слушает, как Костя в ограде колет дрова. Наколет, наносит, она лежит посмеивается. Он за водой сбегает, еще и за веник схватится в избе подметать. Тут уж она не выдерживала:

— Ты чего это, в самом деле?

— А чего? — И видно, что это все в охотку ему, истосковался он по дому, по работе крестьянской. И рад пригреву, какой у нее нашел.

Летом наладился Костя красить в избе полы. И —

невиданное дело! — краску сначала на плите чуть не до кипения нагреет и горячей пускает ее в работу, а то, говорит, холодной-то будет как колесной мазью увожено. И уж верно, пол получился светлее стекла.

— Это, — признался, — чужая сторона меня выучила. Пока от Москвы до Берлина шел, успел кое к чему присмотреться.

Господи, на войне еще и к делам приценивался. Видно, верил, что уцелеет.

— А как иначе-то? — сказал он. — Видишь, что не по-нашему сделано, поинтересуешься как. А вдруг пригодится.

Выходило, что пригодилось. Но больше-то всего выходило, что он к Федосье не квартирантом пришел — хозяином.

Вздыхал даже, охал, расстраивался очень, если чего-то из того, что узнал на чужой стороне, нельзя было дома использовать. Вот, говорит в Прибалтике на хуторах курицы и зимой кладутся.

— Да ну-у, век не поверю, — удивлялась Федосья.

А Костя объяснял, что эстонцы куриц обманывают светом: включают во дворе электричество, а эти русские дурочки думают, солнце взошло, и начинают нестись.

— Да почему русские-то? У них, наверно, свои.

— А такие же рябые и пестрые, как и наши.

Ну, конечно, ему известнее, Федосья не спорила с ним и тоже жалела, что нельзя проверить на своих курицах обманчивую силу света. С лампой, с фонарем во двор она, конечно, никого не пустила бы, да Костя и сам понимал, что это может обойтись подороже куриных яиц: погорельцев и без того ходило по деревням немало.

И еще подсмотрел он где-то на псковских озерах, как бабы заготавливали телорез и ряску для своего скота.

Костя сам видел: коровы едят телорез хорошо, а на свиней так и не напасть — как на картошку бросаются. А раз на Раменье с сенокосами плохо, так пруды не под запретом, заготавливайте корма в них.

Федосья от этих нововведений отказывалась:

— Век не поверю... Старики-то или глупее нас были?

— А может, тогда и сена хватало.

Тогда, конечно, хватало, но ведь и Федосья где-нибудь на полянках, при свете луны, нормальной травы натяпает. Неужели одной-то коровы не прокормить? А от этого телореза, от ряски еще и молоко может болотиной пахнуть. Федосье такого и в рот не взять. Отговорила Костю, а может, и зря: он от ее отказа расстроился.

Нет, все-таки жили они с Костей неплохо. За четыре года друг дружке слова в задир не молвили.

На колхозную работу он и то прибегал ей помогать. Федосья тогда кормила овец. Так уж всякий раз приметит из района — и к ней. Под котлом огонь разведет, поило согреет, кинется сено в кормушки таскать. Только нога раненая приволакивается, бороздки на снегу оставляет. В избе это было меньше заметно, а тут здоровой-то ногой грузнет в снегу, а раненая сгибается плохо.

— Костя, иди домой, я сама управлюсь....

И слушать не хочет, ни за что одну не оставит. Еще потом и под ручку возьмет, с фермы поведет, как с гулянки. Вот какая настала жизнь!

Однажды прибежал из района под утро. Куда-то далеко — то ли в Носково, то ли в Калиновку — ездил с начальством по обложенью, а может, по займу — Федосья Васильевна уже забыла. Но главное-то помнила, и эту память в могилу с собой унесет — до того она ей приятна. Прилетел Костя домой, а изба на замке, стекла холодом леденеют — с улицы видать, что нетоплено. И ведь в дурачке ревность выиграла. А где бабу

искать, на кого подумать — не знает. Так начал ломиться к Филе Трошину; у того старуха осенью умерла. Вот ума-то. Да разве от молодых к старикам бегают? Так заотнекивался, я, говорит, ничего плохого не думал, постучался просто спросить.

— Чего же ты к Вере Таширевой не постучался? Она соседка...

И сказать нечего.

— Да так...

А уж всей деревне известно было, что с овцами на ферме неладно. И Филя знал, что Федосья пластается там, сообщил ему.

Ваня Баламут — будь он неладен! — делал овечкам прививки от глистов. Только что посадили его в ветеринары: ездил на какие-то трехмесячные курсы, считали, что выучили. А голова-то у парня дырявая оказалась, другой бы, может, и за три месяца ее всякой всячиной набил, а этот только по книжечке — если в книжке написано, сделает, а самому уж не сообразить. А в книжке-то, оказалось, не про наших овец написано, Ваня же прочитал как про наших. Нашим надо по полтора кубика уколы садить, а он по три закатил. Прививки делали днем, а Федосья вечером пришла на ферму — одна овца уж подохла и остальные катаются. Кинулась за Ваней:

— Ваня, беда!

А он перепугался больше ее, побледнел, ни живой ни мертвый стоит. Федосья уж сама сообразила, что надо овец чемерицей отпаивать. У них желудки застыли.

Вот повозилась-то с бедными. Не заметила, когда и Костя пришел, когда помогать ей начал. Утром понаехало начальство, врачи из ветлечебницы — и им хватило хлопот. Две недели с овечками пичкались, спасли стадо. Потом самый-то главный врач и говорит Федосье:



— Вот вас бы, Фомичева, на ветеринара-то выучить... Да уж, конечно, не хуже бы Вани Баламута управлялась.

— Если бы, — говорит врач, — вы не спохватились чемерицей поить, загубили бы стадо...

И от похвалы радостно, и от того, что Костя по деревне бегал ее искать. Ну-ка, надо же, взревновал...

Федосья после этого как на крыльях летала.

В майские к Косте заскочил Ваня Баламут. На Федосью посматривает, а обращается к Косте:

— Ну так как, Константин Егорович, праздник всех трудящихся отмечать будем?

Костя пожал плечами. А Федосья Ваню сразу укоротила:

— У нас бутылочка куплена.

Ваня облизнулся, снял кепку.

— Так бы сразу и сказала. А я уж развлекательную программу хотел предложить — в село сходить на концерт. Ну ваша программа содержательней, мою перешибет.

Он сел к столу, будто бутылка была уже выставлена. Федосья с Костей переглянулись — Костя показал взглядом, что ничего не поделаешь, мол, придется начинать. Ну, раз охота, так начинайте, достала из комода бутылку. Бутылка-то хороша, но собутыльник Федосье не очень нравился: молодой, не ровня Косте. Но других в деревне не сыщешь, если не брать в расчет стариков. А Ваня о себе-то, конечно, думал, чем, мол, он Константину Егоровичу не товарищ: и в интеллигенции побывал — не случай бы с овцами, так и ходил бы в ветеринарах. Теперь вот — подшучивал он над собой — повышение получил, даже личным транспортом обеспечили, как министра. А «министр» фуражиром в колхозе работал, корма подвозил к ферме.

Бутылку выпили — как опрокинули. Костя разругался весь, а у Вани ни в одном глазу. Ну так

ведь двадцать годов, здоровьем пышет. . . Такого бы бугая женить, пообломал бы рога: женатого забота горбатит.

Ваня пооглядывался на Федосью, понял, что ничего не обломится больше, и снова взялся за старую песню: — Константин Егорович, так махнем на концерт?

Костя взглянул на Федосью.

— Может, сходим?

Ну-ка, за четыре километра в село идти, не девка ведь... Дома вон надо и белье гладить, да и лук хотела перебрать.

— Уж если тебе, Костя, охота — сходи...

А Ваня Баламут напирал, скалился вставными зубами:

— У меня все зубы железные. Мы там их на металлолом сдадим, так еще бутылку купим.

Нашел чем хвастаться, чужими зубами во рту. Не срамился бы. Знаем, как заработал этот металлолом. Ездил в поле за соломой да увидел лису — и про дело забыл, на лошади надумал за зверем гоняться. В телеге-то все втулки расколотил, а самого в борозде вытряхнуло — да оглоблей-то по зубам. Приехал домой — полный рот крови.

— Ну так что, Константин Егорович, двинем? — не унимался Ваня. — Жена не возражает... Чего?

Костя поскреб за ухом.

— Постой, холостой, дай подумать женатому, — сказал тоскливо.

А Федосья же не слепая, видела: хочется Косте концерт посмотреть.

— Да сходи, Костя, сходи. Я здесь одна управлюсь.

Она уже сердцем-то чуяла, что он не отгулял свое: то нужда, то война, то теперь вот заботы по дому...

— А может, Федосья, вместе сходим?

— Да иди ты, иди...

Одного отпустила. А надо было бы и самой идти.

Да ведь все равно; никого на привязи не удержишь, не сегодня, так через день оторвется.

Весь день у Федосьи проныло сердце. Без Вани Баламута ушел бы, так ничего не случилось бы. А этот залысок известный; вырос-то в какие годы — молоко на губах не обсохло, а его уж по гулянкам таскали, девки из-за него чуть не дрались. Ой, так он с одной-то подолгу и не ходил, быстро менял их. Теперь вот, похоже, прибрала его к рукам Зинка, Федосьина племянница, прибрала крепко: Ваня за ней бегал, а не она за ним.

Вот у Федосьи и была вся надёжа на Зинку: не даст Ване разгуляться, а Ване не даст, и Костя домой придет.

Костя приплелся домой под утро. Не раздеваясь, грохнулся в кровать.

— Ой, Федосья, голова болит.

— После праздника, да и не болела бы, — посочувствовала она.

А Ваня Баламут и поспать не дал. Солнце только окна начало золотить, он уж в двери ломится:

— Егорович, на том свете выспишься, вставай, вставай... По календарю же два дня праздник.

И Костя нехотя поднялся.

Ваня Баламут прошелся по избе, показывая Федосье, будто к чему-то принюхивается. Федосья отвернулась от него. Тогда Ваня, похохатывая, спел:

— Все хожу да нюхаю, не пахнет ли Анюхою...

— Тс-с, — приставил Костя палец к губам.

Дурачок, да или Федосья не знает, чего затевается. Да она же понимает: раз голова гудит чугуном, мужику опохмелиться надо. Только она думала, что Косте сначала лучше поспать. Но уж раз такое дело...

Правда, Ваню Баламута ей не хотелось лечить.

— Ваня, у тебя дома-то что, и голову поправить нечем? — спросила его. — Али на опохмелку не оставляешь?

— Ну да, кошка мясо ухранит, — всхохотнул он и пожаловался Федосье на Костю: — А твой-то тяжело пьет, боязливо. Я уж ему ликбез преподавал, говорю: «Глаза закрой, рот открой — да вылей...»

— Ты научишь всему, — не поддержала шутки Федосья и спросила: — Как там концерт-то, хороший был?

Ваня Баламут подмигнул Косте.

— Ой, народу было — чуть клуб не разворотили. А Костя признался:

— Не дошли мы до села. Анька Веселова на дороге перехватила.

Ах, вон какой Анюхою пахнет-то... У Федосьи так и руки опустились.

Анна Веселова пристала к Косте как сера липучая. Узнает, что Костя приехал домой, так на дню по сто раз промелькнет перед окнами. Конечно, ее дело понятное: упусти свое — не воротишь. Анна из тех раменских девок, которые проводили на войну своих женихов, а с войны уже никого и не дождалась. Ей и сейчас, конечно, немного годов, но немного по Федосьиным меркам, а по жениховским-то и немало. Нынешние женихи уже на Зинку заглядываются — Зинке, смотри, восемнадцать лет, — а Анна для них перестарок: шутка ли, двадцать восьмой идет...

— Ох, опять подолом метет, — вздохнула Федосья. А и Костя как на оводах: не сидится, от окошка к окошку бегаёт.

— Ну, так что, Костя, делать будем? — спросила его. Он глаза отводит.

— Ты уж не канитель, — подсказала она. — Не ребенка оставляешь.

Он молчал.

Может, появишь у них ребенок, Костя и не маялся бы сейчас. Детки, они родителей друг к дружке привязывают. А Федосья уже совсем заяловилась: на первом

году от Кости не понесла, на четвертом ждать хорошего нечего: бабий век — сорок лет... Так уж и помирать теперь сухостоинной.

Она ушла на кухню, а вернулась — в избе нет никого.  
— Костя, Костя!

Выглянула в окошко — и на улице Кости нет. Сходила в ограду, заглянула на поветь, еще позвала:

— Костя! Костя!

И поняла, что не докричится.

Федосья не обижалась на Костю, и перед бабами, когда спрашивали о нем, как заклинание, твердила:

— А не ребят и оставил...

Бабы сочувственно вздыхали, говорили про Анну, что она в кладовщиках, так богатая. А Федосья-то знала, что не в богатстве дело. Это она, Федосья, покусилась на чужой пирог. Не послушала ни маму, ни тятю: сам, мол, идет, я не зову... А, конечно, все права-то на Костю у Анны. Где бы тогда быть справедливости. Это в чем же Анна провинилась перед судьбой, если не ей, а Федосье, уже изведавшей бабьего счастья, выпало б прожить с Костей жизнь.

Не могла Федосья Анну судить. И Костю ни за что не корила. Она ведь с первых дней своего замужества чувствовала, что была для Кости больше матерью, чем женой. А ему-то, конечно, не забота Федосьина нужна была, он уж, видно, устал от ее опеки. Четыре года терпел, на пятый терпезу не хватило.

А раменские бабы как подрядились, только охают:

— Ой, Федосья, он ведь к тебе от голода спасаться приходил. А кругом лучше зажили — и убежал.

— Ну-ка, откормила, поправила, а он и спасиба тебе не оставил.

Другие безжалостно сплевывали:

— Это разве мужик? Спасенья у бабы искал. И не жалея, Федосья, его. Скатертью дорога!

Федосья от вздыхальщиков, будто от назойливых мух, отмахивалась:

— Да ладно вам, бабы. С кем чего не бывает...

Не видела она за Костей вины, не чуяла за ним и корысти. Не на голодные годы он к ней приходил, на всю жизнь пристраивался, да судьба, как карта, видать, изменчива, ненадежна...

Одного Федосья не могла понять в Косте. Почему он ей ничего не сказал, почему он молчком ушел? Ведь Федосья — не камень, разобралась бы, что у него на душе. Жили, не ругивались, а убежал как от сварливой бабы-яги. Ведь Федосья у него на рукаве не повисла бы. Сердцу-то, давно сказано, не прикажешь... Потянуло к Анне — и Федосья у него на дороге не встала бы.

Конечно, Анна девка хорошая. И не война, так не за-сиделась бы до таких годов. А то, что бабы перемывают ей косточки — в кладовщиках, мол, она, богатством переманила Костю, — так это все ерунда.

Да, Анна была в кладовщиках, но — надо же так случиться! — именно в те дни, когда Костя перебирался к ней, из кладовщиков-то ее и выперли, видно, что-то заметили. Если бы из-за богатства к ней Костя льнул, так разве бы не убежал от позора? Нет, он Анюшкины платица в узел связал — все богатство! — посадил ее на телегу и увез в район.

Федосье потом рассказывали, что намыкался он по чужим квартирам, натерпелся лиха, но ведь Анну-то Веселову не бросил. Нет, не богатством она его притянула — молодостью. И Федосье было жалко их: еще бы, столько им пришлось испытать нужды.

Вечерами она сидела у окошка и, сама не зная зачем, дожидалась, когда проедет молоковоз. Пересчитает фля-

ги у него на телеге, полежит на кровати и снова сядет к окну. Радио погромче ввернет, а там как в дупло кто-то забрался — и нудит и нудит...

Мамка-покоенка посоветовала:

— Федосья, попей травы-забытешки.

Забытешка-трава от тоски. Ею коров поят, когда телят отнимают.

Позаваривала с чаем аленьких крестиков-лепесточков — пить с цветами запашисто, духмяно, а сердце все равно не на месте.

Встанет ни свет ни заря. Еще в потемках переделает всю работу по дому. Незнамо зачем выйдет в луга. Над рекой курится туман. Кулик-перевозчик снует с берега на берег. Завидит ее, снимется с места, отряхивая с крыльев брызги, и взмлет к зардевшимся облакам. Кажется, так бы и улетела с ним.

А сзади ощущение такое, будто кто-то за тобой наблюдает. Федосья обернется — пустые луга.

В Косте все же заговорила совесть, направил к Федосье посланника — сестру свою.

Настя заявила поздним вечером, незажженный фонарь поставила у дверей.

Федосья невесело усмехнулась:

— Чего-то вы, Митрохины, керосин экономите?

Настя молча села на лавку в кути. Расстегнула у пальто пуговицы, спустила на плечи шерстяной полусалок.

— Проходи на избу-то! Чего, как нищая, пристроилась?

Настя не сдвинулась с места.

— Федосья, ты не сердись на Костю-то, — вздохнула она, будто и не слышала приглашения. Голос ее показался Федосье виноватым, заискивающим. — Я вот из Березовки иду, от него, — сказала Настя. — Переживает он, что не по-человечески ушел от тебя.

— А теперь чего переживать? Назад не воротишь...

— Это-то так, — опять вздохнула Настя. — А уж я-то его ругала... Ой, как ругала... Говорю: «Не стыдно глазам-то?» Стыдно, говорит, потому и ушел воровски, не осмелился ничего сказать.

— Не осмелился... — вздохнула и Федосья. — Думал, собачиться буду... Ну да ладно, чего теперь-то толковать...

Она прошла на кухню и спросила из-за занавески:

— Самовар-то ставить?

А уж какой самовар: и говорить вроде не о чем. Настя, похоже, уже раскаивалась, что заскочила к ней. Ну-ка, принесла великую новость: Костя переживает, что не по-человечески с Федосьей простился. Федосье и без нее было ясно: должен переживать — он ведь не бревно бесчувственное. Уж она ли, Федосья, Костю не знает... Конечно, извелся весь, места, поди, не находит. У самого смелости объясниться не хватило, так и сестру в свое расстройство втравил.

— Ты чего не отвечаешь? Ставить ли самовар?

— Какое теперь чаепитие? — спохватилась Настя. — Мне ведь торопиться надо: домой-то недалеко бежать.

— Ну, как хочешь...

Настя начала собираться. И полушалок завязала на шее, и пуговицы у пальто застегнула, а медлила, не уходила.

— Порвалось наше родство, — удрученно покачала она головой. — А я раньше — Костя еще на войне был и знать ничего не знал, — когда к тебе ни зайду, всегда в голове промелькнет: вот бы брата своего к ней пристроить... Всегда-то во спокойе будет, ухоженный, неруганный...

— И Анна не много наругает.

— Не знаю, Федосья, не знаю...

Настя взяла фонарь и двинулась к дверям.

— Опять зажигать не будешь, — подколола ее Федосья.



Настя обернулась от порога:

— Ой, девка, зачем тебе лишние-то пересуды? Я уж на дорогу выйду, тогда зажгу. А то ведь по деревне-то как займется: Настя Сенькина, скажут, у Федосьи была... Неспроста, мол, к ней приходила.

Так и верно: разве спроста? Братца своего выгоразивала...

Нет, и Настин приход не снял с Федосьи тоски. И у окошка опять посидит, и фляги у молоковоза пересчитает. Теперь уж молоковоз не на телеге ездил, а на санях. От снега и в избе посветлело. Но на душе-то у Федосьи прежняя сутемень.

— Федосья, ты чего как потерянная? — спрашивали бабы.

Да не потерянная она — потерявшая. Привыкла, что жила в доме не одна. А теперь вот Ваня Баламут и то не заскочит, не оскалит вставные зубы:

— Все хожу да нюхаю...

Сам-то он вынюхал себе Зинку и, видно, взялся за ум. Вот уж действительно, женился — переродился... И зубами хвастаться сразу перестал, весь в заботах по дому.

Ой, права Федосья, права — любого замухрышку баба сделает человеком. Но беда в том, что не всякая баба сама-то человек. Через две на третью — ведьмы.

За Зинку Федосья тоже побаивалась — больно себя выставлять любит. А Зинка быстренько обломала Ване рога. Одного ребенка родила, второго — Ваня и обмяк совсем. Мужик хоть куда стал. Ну, так ведь и верно — в парнях перебесился, пора и самостоятельным быть.

Вот ведь как устроена жизнь: с Костей четыре года всего прожила, а воспоминаний про эти годы ворошить

не перевероршить, кажинный денечек перед глазами стоит как престольный праздник; без Кости же откуковала, считай, уж шестнадцать лет — и будто ночь темную проспала: если не приснилось ничего, так и рассказать не о чем.

Одно утешенье — Зинкины детки. Накатит на Федосью тоска, без них не вылечиться.

У Зинки младшую дочку звали Рая. Бывало, сядет Рая за стол рисовать и язык на щеку вывалит, до того увлечется.

Федосья заглянула к ней как-то из-за спины. Батюшки, каких теремов, каких зверей у Райки только и не нарисовано! А краски-то все на свете исперепутаны.

Федосья не удержалась, спросила:

— Рая, а почему ты коня-то зеленым рисуешь?

Рая вся в мать, Зинкина копия. Серdito передернула плечами: бестолковая, мол, так не суйся. Но все же ответила:

— Этот конь из цирка.

— Ну и что?

— А раз из цирка, надо, чтоб посмешнее был.

А сама и в цирке никогда не бывала. Надо же, какие детки пошли.

Ну, так ведь Ваня Баламут купил телевизор: посмотришь — Москва-то у нас в деревне. И ездить не надо никуда. Вот Райка и вычеверкивает.

Однажды разговорилась с Федосьей о космонавтах, какие они смелые да какие отважные.

Федосья возьми и скажи, что она бы тоже не побоялась слетать с космонавтами. Ее — молодая была — ни на каких качелях не укачивало, под крышу взлетала, а на землю сойдет и не спохатнется. Парни чумели как пьяные, а она хоть бы что. Так и в корабле космическом высидела бы.

— Ой, что ты, — возразила ей Райка насмешливо. — Космонавту и в космос выходить надо.

— Не обязательно 'выходить, — даже обиделась на нее Федосья. — Не все выходят, и я бы там посидела.

Райка косички забросила за спину и разговаривать с Федосьей больше не стала. Федосья к ней и так и этак — молчит. Вот мама-то родная. Тоже кому-то при-валит счастье.

Зинка так-то вот поужимала перед Ваней плечами, поужимала, Ваня и начал приходить в чувство.

Да что же это такое: чем лучше он сделает, тем баба больше на него напирает. Уж не захотелось ли и ей, как старухе из сказки, владычицей морскою стать? Нет, худо мужику тому, у которого жена большая в дому.

Уж Ваня ли перед Зинкой не выслуживался? Но Зинке бы только змей разводить, а не мужика приби-рать к рукам.

Ваня сначала смеялся:

— В стары годы, бывало, мужья жен бивали, а нынче обычай живет, что жена мужа бьет.

Да скоро не до смеха стало ему. И дочка была не на его стороне. Пожаловалась однажды Федосье:

— У нашей мамы нервы кончились, и она запла-кала.

А это нервы-то кончились у Вани: огрызнулся, на-верно.

— Нет, — говорит, — у папы нервов немного оста-лось.

Ну, конечно, не белугой же мужику реветь.

Вот чего-то и засосало у Федосьи под ложечкой: а как там Костя с Анной живут? Бабы сначала много о них говорили, и Федосья знала о Косте все. Слышала, что и дочка у Кости родилась, Маня.

Но ведь сколько уже годов пролетело. Бабы утра-тили интерес и к Косте и к Анне, будто они не

жили на Раменье, а Федосья-то помнила о них ежедневно.

Да, сколько годов пролетело... Сейчас уж Косте столько, сколь было ей, когда он ушел от нее к Анне. И дочка их, Маня, наверно, совсем большая. Райки-то она старше намного, через год, кажется, и родилась, как переехали Костя с Анной в район.

Ни встать ни взять стало Федосье — захотелось высмотреть Маню, узнать, как Костя живет.

С Ваней Баламутом в Березовку и отправилась. Тот поехал покупать пилу «Дружба», какой-то товарищ из леспромхоза пообещал достать. Запрягли Карька в тарантас — как свататься покатили.

Ваня Баламут у Кости не раз бывал. Как же, старый друг лучше новых двух. И сразу показал на дом, в котором Косте дали квартиру:

— Вон тут, от угла три окошка.

Дом еще не заветрел, белел свежим срубом. Недавно, видать, Костя отмыкался по чужим-то подворьям. Федосья из тарантаса повглядывалась в окна, завешенные тюлем, — ни в одном занавеска не шевельнулась — и поехала дальше, к универмагу. У нее предлог для поездки в Березовку был — купить шерстяной платок, черный, цветными бабушечками. Но предлог для отвода глаз. Она ни Зинке-племяннице, ни тем более Ване Баламуту не открылась, чего у нее на душе.

Договорились с Ваней, что он, обделав дела, будет дожидаться ее в столовой.

— Ты, Федосья, больно-то не задерживайся, — предупредил он. — А то я, ожидаючи тебя, переберу лишнего.

— Ничего, не за рулем, — сказала она. — А с вожжами-то я и без тебя управлюсь...

Федосья в универмаг и заходить не стала, огляну-

лась, выжидая, когда Ваня скроется за поворотом, и направилась к белевшему срубом дому.

Ноги сами вынесли ее на бугор, повернули к бревенчатому тротуару, проложенному вдоль стены до крыльца. Но вот на тротуаре-то она и закружилась, как муха, попавшая в тенета. В дом заходить Федосья не собиралась. С какой стати заходить? Не звана и была. А и под окошками торчать как? Еще примут ее за воровку. Ох, в праздник бы прийти, в праздник народу толчется много, она бы из-за баб повыглядывала.

Федосья соступила с деревянного настила на тропку и, кося на крыльцо, на окна, пошла к зданию фотографии. Занавески не колыхнулись.

Федосья постояла у витрины с фотографиями, любовалась напологрудых девок и повернула обратно.

Глянула, а у Кости и дверь на замке. Вот дура-то... Да ведь добрые люди сейчас на работе. А Маня в школе еще, если не отправили в колхоз картошку копать.

У нее отлегло от сердца. На крыльцо взошла, с крыльца посмотрела в окна. Сквозь тюль было видно плохо, но все-таки она рассмотрела трельяж, телевизор в углу, тумбочку и на тумбочке швейную машину. И этой купил. Значит, деньги есть...

— Тетенька! — окликнули ее сзади. — Вы кого ожидаете?

Возле крыльца стояла девочка в школьной форме и чего-то жевала. И нос не Костин, и глаза голубые, и волосы светлые, а что-то было в ней неуловимо Костино, и Федосья поняла, кто ее окликнул.

— А ты, девочка, чья будешь? — все же уточнила она.

— Я Митрохина.

— Маня?

— Маня. — Девочка удивленно уставилась на Федосью и перестала жевать. — А вы откуда меня знаете?

Вежливая девочка, Зинкина Райка давно бы незнакомого человека отшила от дому.

— Я давно тебя знаю, — вздохнула Федосья.

Девочка удивилась еще больше.

— А вы моя дальняя родственница? — спросила она.

— Родственница, и не такая уж дальняя, — сказала Федосья и, боясь, что девочка выпытает у нее то, чего ей знать не положено, перешла к расспросам сама: — Ты чего это, Маня, жуешь? Не серу ли?

На Раменье ребяташки серу тоже любили. Но, чтобы снять с нее горечь, серу сперва перетапливали, как масло, в печи: у горшка перевяжешь верх марлей, а на марлю и накладешь серы — прямо с еловой корой, с иголками, — а из печки достанешь, она чистенькая, будто слеза.

— Нет, не сера, — возразила Маня. — Это у нас одной девочке отец из Чехословакии жевательную резинку привез. Она угостила.

— Ой, Маня! — испугалась Федосья. — Выплюнь эту заразу. Я тебе лучше серы пришлю.

Голубые глазенки застыли в немом изумлении.

— Да вы что?

— Выплюнь, Маня, выплюнь, — настаивала Федосья. — Эта резина неизвестно еще, от какого колеса отрезана.

Маня засмеялась, даже в ладоши захлопала:

— Что вы, она не от колеса, она специально такая делается — жевать.

«Век не поверю», — подумала Федосья, но спорить не стала. Спорить было ей некогда: не хотелось бы все-таки, чтобы Костя и Анна застали ее в разговоре с дочкой. А выспросить-то у Мани надо было о многом, только Федосья не знала, с какого боку к этим расспросам подступиться.

Она осмотрела Маню: большая девочка, Федосье чуть ли не до плеча. А чего же это она без портфеля

пришла домой? Неужели ее в окошко увидела и прибежала — школа-то через дорогу наискосок?

— Ты чего же это, Маня, не в школе? — спросила ее.

Маня радостно сообщила:

— У нас свободный час. Немецкая группа сидит, а я из французской. Мы гуляем. Учительница наша болеет.

Федосья осуждающе покачала головой.

— Ну и с теми бы посидела. И немецкое бы слово узнала, так не худо бы было.

Маня снова захохотала.

— Да вы что? Мы рады, что ничего не учить...

Она стала рассказывать Федосье, какая им нынче попалась злая учительница. Вот в пятом классе по-французски их учила Олимпиада Васильевна — самая добрая из всех, но ее проводили на пенсию. А в шестом посадили злыдню, Клавдию Ипполитовну, и все рады, что она заболела. Федосья слушала ее, не перебивала, но узнать-то ей хотелось совсем о другом — как в этом доме живут?

— Мамка-то на работе? — исподволь повела она к главному.

— На работе. И папка на работе.

— А они живут-то как? Не ругаются?

Господи, что за дура? У ребенка спрашивает... И язык повернулся такое спросить.

— Да вы что? — изумилась Маня. — Конечно, нет.

Ну и слава богу. Больше Федосью ничего не интересовало. Ребенок не будет врать. Узнала правду.

— Ну, Манюшка, до свидания. Приду в другой раз, когда дома все будут.

— А маме что передать?

Догадливая. Чего Федосья больше всего боялась, то и спросила.

— Скажи привет от Груши выселковской, — вспо-

мнила, что на Выселках у Веселовых родня — Груша Зайчикова, вот и сказала Грушей.

Маня кивнула головой: обязательно передам.

Федосья весь день ходила по Березовке довольная, что не зря приезжала. Она нашла и платок, черный, с красными крупными цветами по полю. Накупила еще Зинкиным девчушкам шоколадных конфеток. Так и представила сразу Райку, как она загребает конфеты к себе.

— Я, — скажет, — еще таких не едала. Ты, мама, почему мне раньше не покупала? — Глаза-то у нее завидушие, а разве хватит на всякие конфетки денег, всех не напокупаешься, мало ли какие делают.

В хозяйственном магазине Федосья натолкнулась на Ваню Баламута. Он вертел в руках клин к рубанку. Увидел Федосью, нахмурился:

— Ну, никак не могу без свидетелей обойтись...

— Да чем тебе свидетели-то помешали?

Ваня махнул рукой.

— Ладно, знаю, что не проговоришься.

На клине было нацарапано карандашом 0-12.

Ваня подмигнул продавцу:

— Слушай, надо, чтобы не моей рукой... Переправь на 3-72... Тут просто... Я уж у ноля немного подтер,

Продавец его замысел разгадал, переправил.

Ваня весело подмигнул Федосье:

— Теперь можно в столовую.

После встречи с Маней Федосье стала глянуться и Райка. Шустренькая, находчивая — за словом в карман не полезет. Соображенья-то у нее на двоих хватит.

В школу еще не ходила, а до магазина сбегает — там на дверях афиша вывешивается, какая кинокартина в клубе идет, — вернется, уж знает все.

— Сегодня и днем не детское.



— Дак я тебе али двадцати-то копеек не дам, — всхлapyвала руками Федосья. — Не пожалею для тебя ничего.

Это ведь киномеханики опять придумали — детское, не детское. Объявят не детское — за пятак не пустят, а за двадцать копеек кто угодно иди, хоть годовалый ребенок. Шпана какая-то ездит на Раменье кино показывать, ни чести, ни совести — обиралы.

Вот интересно, что за киномеханики в Березовке? Ужели и там обиралы? Ну, Мане-то и Костя и Анна в двадцати копейках никогда не откажут — не скупые. Маня-то уж ходит в кино...

Федосья зазывала Райку к себе в гости. Райка придет, посидит на лавке, поболтает ногами. А у Федосьи и играть нечем. Вот ведь, старая карга, ни единой игрушечки в доме не завела... Федосья сделает из фуфайки куклу, повяжет платком:

— На, Рая, понянчись...

А Рае и с час не пробаюкать — надо по-своему перевязать платок. Развязать-то развяжет, а уж не завязать: фуфайка разъедется — и не свернуть, как было.

— Пойдем, Рая, я тебе курочку покажу, где несется.

Во дворе у Федосьи проведен электрический свет. На улице уже снег выпал. А во дворе и тепло и светло. Курицы ходят, горюют, хозяйке яичко обещают снести. А сами уж снесли с утра. Федосья подведет Райку к гнезду, а там, кроме деревянного, под яйцо выструганного подклада, и тепленькое яичко лежит. И в другом гнезде лежит, и в третьем.

Вернутся в избу:

— Вот, Рая, выпей сырым, в тебе сразу капелька крови прибавится. По капельке наберем — румяная будешь, красивая...

Райка в охотку пьет.

А вот как там у Мани? У них в районе электрического свету много, а куриц-то негде держать. Никаких

пристроек у дома Федосья не видела. В квартире под лавкой курятник устраивать Костя с Анной не будут. Ну ведь не бедные, у кого-нибудь купят. Да и Анна-то снова в кладовщиках работает, может, и у нее на складе бывают.

Райка два-три яйца выпьет.

— Пойду телевизор домой смотреть...

Уйдет — и за ней как меленку закроют. Слышно станет, как электрические провода гудят — накатами. Молчат, молчат — и вдруг накатит, даже стена у избы задрожит. Это, видать, электричество так тяжело в них накачивают. Тоже нелегко кому-то приходится...

Надумала Федосья покупать телевизор.

Племянница Зинка набросилась на нее с руганью:

— Будет из ума-то выживаться! Телевизор ей надо... Приходи да наш и смотри сколько влезет... У тебя ведь не семья...

— Вот то-то и оно, не семья. У тебя, голубушка, одному слово сказал да другому слово — и наговорился. А от меня Райка твоя убежит к телевизору, так хоть реви...

— Купчиха какая выискалась, — не отставала Зинка. — Капиталы ей спать не дают, надо растрясти до копейки... А не засмогаешь, на чего будешь жить?

— Ну, лешой понеси! Пенсии-то али мне не хватит? У меня и сейчас остается.

— Так ведь остается потому, что корову держишь, куриц, свинью. — Зинка не на шутку сердилась. — А свалишься, так ничего ведь не будет.

— В престарелый дом заберут.

Зинка плевалась:

— Там ма-а-лина... Там ра-а-ай...

Ну-ка, о чем заговорили, о престарелом доме. Да Федосье до него еще далеко.

— Вон Настя Сенькина, Костина сестра, на десять годов меня старше, а катается еще как катышек.

— Настя Сенькина, Настя Сенькина, — передразнила ее Зинка. — Ты по сторонам не оглядывайся, ты свои годы пересчитай.

— А чего их пересчитывать? Семидесяти пока нет.

— Ох, ох, совсем молодлица, — надсаживалась Зинка.

Ваня Баламут смотрел на жену, посмеивался:

— О, у меня комиссарша-то...

Федосья посочувствовала ему:

— Да уж люта...

А Ваня засмеялся:

— Не баба — скважина! Ее бы с ругани-то на нефть переключить — ох и польза бы государству была. За счет ее не один бы план выполнили по добыче... Вот посмотри на нее — качает и качает...

Зинка плюнула.

— А-а, ну вас! — и ушла, раздосадованная.

Ваня пропел ей вслед:

Запрягу я кошку в дрожки,  
А собаку в тарантас,  
Посажу свою Акулю  
Всему миру напоказ.

Федосья одернула его за рукав:

— Не растравливай давай, молчи.

Ну-ка, жить бы им да жить, а они, как козлы на узкой дороге, обязательно схватятся рога друг дружке ломать. Один миролюбиво идет, так второй все равно не пропустит, саданет под бок.

И ведь Зинка частушку услышала, приоткрыла дверь, высунулась:

— Дурак ты дурак! Когда только и поумнеешь...

Федосья уже и не рада была, что пришла к ним советоваться о телевизоре. Спросила бы и не у Вани,

у кого-нибудь у другого, какой покупать. И чужие люди не подсказали бы худого. А она-то, грешным делом, надеялась, что Ваня съездит с нею в Березовку, поможет в выборе. Теперь об этом и заикаться не след: смотрика, из-за нее разругались.

В Березовке Федосья долго стояла у фотографии, смотрела на Костин дом. Валил снег, как солью солил. Из Костина дома никто не выходил и никто не входил в него. Федосья замерзла вся и отправилась в универмаг за телевизором. Лошадь, привязанная у дороги к телеграфному столбу, покосилась на нее, всхрапнула. Снег попоной лежал на ней, не успевал таять. И Федосье стало жалко, что она, дура, заставила лошадь томиться неизвестно зачем.

Телевизор она включала, как правило, тогда, когда к ней прибегала Райка. Федосья усаживалась перед экраном на стул и звала к себе на колени Райку. Райка чем старше становилась, тем больше к Федосье привязывалась. Все-то, все выскажет: и что в школе делается, и что дома. Федосья мало-помалу ее и к делам приучала. То покажет, как на оладьи тесто творить, то уведет с собой корову доить, то за швейную машину усадит...

А однажды вдруг обнаружила, что Райка картошку и то не умеет чистить. Нож держит от себя, картошину, будто палку, обстругивать собралась.

— Ой, миленькая, чего же это из тебя неумешку-то рóстят? Ведь не маленькая уже...

Райка ходила в школу, во второй класс. Раньше второклассники-то уже пахали на лошадях, по дому за больших обряжались. И Зина, Райкина мать, не отставала ни от кого, а дочку-то него из рук выпустила. Ой, да ведь у нее руки-то в одну сторону направлены —

Ваню во стану удержать. Безголовая и есть безголовая. Языком бы не бухала чего попадет, так и Ваня бы Баламутом не стал.

Федосья смотрела, как Райка неумело ковыряла ножом картофелину, и думала: «А как там Маня, у нее-то выходит ли?»

Бабы сказывали, что в городах детки избалованы еще больше, чем в деревнях. Не только делать ничего не умеют, а даже есть не хотят. Говорят, в детском садике воспитательница красный флажок ставит на стол, на котором с едой раньше всех управятся.

Слава богу, Березовка не город. А уже и не деревня... Федосья покачала головой. Как там Маня растет?

Куда жизнь идет? В какую сторону клонится?

Федосья смотрела однажды по телевизору новый трактор. Говорят, вот видите, без тракториста идет...

Да как это без тракториста? Век не поверю!

Показали трактор сблизи — и вправду нет никого в кабине. Показали издали...

Федосья и всохотнула:

— Четыре мужика около трактора бегают... Без тракториста и верно...

А потом еще больше Федосью ошарашили.

Показывают другое поле, пшеницей засеяно, жатва уже в разгаре.

Говорят, по сто центнеров с гектара берут.

— Да век не поверю! — всплеснула руками Федосья. — Ну-ка, величек ли гектар, а двести мешков поставь, и места не хватит. Не мешками же растет...

На голову шаль не успела надернуть, простоволосой побежала к Ване Баламуту сомнениями делиться.

А у Вани Баламута война. Вот уж тут поверишь: не по телевизору идет, наяву. Зинка кулаками по столу стучит, космы по плечам распустила:

— Уходи туда, где пил! Не показывайся больше пьяным!

Федосья боком-боком — и выскользнула на улицу. Да домой. Сама с мужьями не ругивалась, а чужую ругань и подавно не вытерпеть: все кажется, что перед тобой напоказ схватку устроили — посмотри, мол, полюбуйся, кто горластей из нас.

— Зина, — остановила Федосья у калитки племянницу. — Ты бы завернула ко мне, чаю бы попили.

Зинка бежала из магазина, держала под мышкой буханку хлеба.

— Да некогда по гостям расхаживать, — отнекнулась, будто ее в тридешатое царство зазывали, а не в соседний дом.

Ну, некогда, так Федосья и на улице начнет разговор, не смолчит: не чужая все-таки, а кто, кроме тетки, родной племяннице правду выложит.

— Неладно вы, Зина, живете с Ваней.

У Зинки лицо вытянулось. Не понравились, конечно, теткинны слова. Прищурилась: ну, ну, говори, мол, слушаю.

Федосья сделала вид, что не обратила внимания на ее прищур.

— У вас ведь, Зина, детки большие. А вы перед ними как только друг дружку не костерите... Это ведь добром не окончится...

Зинка вдавила руку в буханку.

— А что, мне терпеть, если он такой? — спросила она резко. — Нет, я ему этого не спущу!

— Зина, жена верховодит, так муж по соседям ходит...

— Вот пусть и ходит, не заявляется в таком виде домой!

— Зина, он потому, может, в таком виде и заявляет-

ся, что по соседям ходит... Дом-то ему напостыл... Он в доме-то ничего, кроме ругани, не слышит...

— Так что мне прикажешь? Ноги у пьяного целовать?

Ну-у, Зинка как норовистая лошадь — не остановишь ее на скаку.

— По соседям хо-о-ди-и-ит, — передразнила она Федосью. — В прошлый раз не по соседям, у себя дома нажрался до остекленения. С Толей Устиным телевизор сошлись смотреть, хоккеей передавали. И ведь, паразиты, распределились: один за одну команду болеет, другой — за другую. А за победителя-то все равно оба пьют, не по одиночке... Я уж хотела бутылку отобрать да об их же головы и расколотить... Да где там... У них отберешь...

«Да... — подумала Федосья. — Уж не заладится в семье, так сызнова все не начнешь, не повторишь жизнь с того места, с какого хотелось бы». Ваня Баламут — гусь, конечно, известный. Но все-таки Федосья виноватила в первую голову баб, а не мужиков. Поговорка-то не сегодня сложена: жена мужа не бьет, а под свой нрав ведет. Вон у Клавки Мироновой Петя сам шофер, а в гараже с дружками никогда не задержится. Кончил работу — и домой. Дома еще и вторую смену отдежурит: то крышу на дворе перекрывает, то вóрот у колодца меняет, то палисадник обносит штакетником — минуты без дела не просидит. И ведь Клавка так все сумеет обставить, что в радость ему эта работа. А ведь Петя в парнях-то не ангелом был, никогда мимо рта рюмки не проносил. Но вот поди ж ты... Из гаража прямым ходом к своей Клавке летит. А Ваню Баламута домой и на аркане не притянешь. Он не тракторист, не шофер, никакого отношения к гаражу не имеет, но только там и околачивается. Водки не найдет ни у кого, так тормозной жидкости товарищи поднесут. И не слепнут ведь от такой заразы, невредимыми остаются.

А бабы, бабы, пожалуй, распустили мужиков до такой степени. Умная-то жена нашла бы, чем мужика занять. Федосья по себе судила: ни Тиша, ни Костя у нее не баловались вином. Конечно, тогда жили потруднее, чем нынче, каждая копейка была на учете, на водку ее пожалеешь тратить, она на костюм нужна. А теперь ведь по деньгам все ходят. Кого ни возьми — у всех сберкнижки заведены: было бы в магазинах чего покупать, а денег хватит. И все же разумная баба найдет, как у мужика интерес к дому поддерживать. Нет заботы, как копейку добыть, так придумает яблони разводить под окнами, избу украшать резными наличниками, к крыльцу веранду пристраивать. У такой жены скучать некогда, успевай поворачиваться.

— По бабе и брага, по боярыне и баранина, — сказала Федосья, заключая свои мысли.

У Зинки дрогнули ноздри.

— Молчала бы, — проговорила она с вызовом. — Учительница тоже нашлась... Уж если ты такая хорошая, так чего от тебя-то мужик убежал?

Ну вот, вздохнула Федосья, сама напросилась у племянницы на пощечину. Чего мужик убежал? Не оттого, Зинушка, убежал, что Федосья собачливо с ним жила, ой, не оттого.

— Мне, Зинушка, на мужиков не повезло, мне только на работу везло, — сказала Федосья усталым голосом.

— Ага, — злорадно подхватила Зинка. — Ей не повезло... Тебе бы мое сокровище хотя бы на один день, так узнала б мое везенье...

Нет, не понять племяннице тетки, на разных языках разговаривают. Разве Федосья мужей своих хаяла — да нет же! Не повезло ей, что мало и с тем и с другим пожила. Ой как мало... Она за мужьями-то жила и знай себе радовалась. Да не повезло, короткой радость ее оказалась.



Федосье Костю и посеичас жалко. А у Зинки Ваня уйди, так Зинка, чего доброго, и перекрестится, скажет: «Слава богу, развязал руки».

Что была семья, что не было... Это ж надо так, у нынешних все просто: чуть чего — расплевались и разошлись.

Мама-покоенка раньше наставляла своих дочерей: «Ну, девки, ни одну не неволю, сами решились замуж идти, так уж и не смешите людей. Ни одну слушать не стану, если на мужиков своих станете жаловаться. На себя поперву оглянитесь: сами-то каковы? Так и знайте: на всю жизнь сходитесь».

А теперь вот Федосья надумала наставить на путь истинный родную племянницу, так от нее же зуботычину и получила. Ну и живи как знаешь, если добрые советы немогут терпеть.

Федосья побрела по тропинке к своему дому.

Зинка же, оправдываясь, крикнула ей вдогонку:

— Сама вынудила... Я не собиралась тебя корить.

Ну, сама так сама... Ты ведь виноватая ни в чем не бываешь...

Телевизор у Федосьи оглох. Пришлось везти в Березовку на починку.

Федосья сдала его в мастерскую, а сама походила по магазинам, но ничего не купила, пришла к фотографии.

У Кости на окошке расцвела герань, так цветочками к стеклу и прильнула — тянулась к солнышку.

Федосья постояла, как полоротая, пока фотограф не окликнул ее:

— Заходи, бабушка, и тебя сниму!

Вот и он «бабушка»...

Вчера Ваня Баламут Веру Таширеву старухой назвал. Федосья вскинулась на него:

— Да какая Вера старуха? На два года только и старше меня.

— А ты-то кто? — засмеялись над ней Ваня с Зинкой.

— А я никто, — обиделась она и ушла домой. Хотела включить телевизор, да он вторую неделю стоял поломанным. Вот и надумала его отремонтировать.

— Заходи, заходи, бабушка, сниму как молодую.

Вот ведь прилипала какой, не даст постоять спокойно.

Федосья пошла к столовой, где у нее была привязана лошадь. Шла и все на окна Кости смотрела. Вот сейчас Маня выглянет, вот сейчас...

И тут ее будто кто под локоть толкнул — да Маня и не живет тут давно!

Пересчитала в уме: тогда Маня училась в шестом классе, а сейчас уж Райка в девятом. Э-э, улетела Маня, как ветер. Теперь ведь молодые к своей родине не привязаны — кого куда занесет...

Федосья отвязала лошадь. Завалилась в тарантас. Лошадь пошла мелкой рысью — почуяла дорогу домой.

Вот тебе и Маня, Федосья Васильевна. Не высмотрела, какой и стала она.

— Да когда это она умерла-то? — потерянным голосом переспросила Федосья Васильевна у Вани Баламута.

— На этой неделе, — сказал Ваня, потирая виски.

— А ребеночек-то живой ли?

— Да в том-то и дело, живой. У Кости не знают, чего теперь с ним и делать.

— Как это не знают чего? Жить человеку надо.

— Да ведь без материнского молока, — это уже Зинка пристала к разговору.

Федосья Васильевна с опавшим лицом, с ослабевшими вдруг ногами обессиленно навалилась на изгородь.

— И с мужиком неплохо жила? — ни к селу ни к городу спросила она.

— А нынче все неплохо, — съязвила Зинка.

Федосья Васильевна уже смотрела на мир ничего не видящими глазами, слушала его заложившимися ушами. Зинкины слова прошли мимо ее сознания.

— Да, да, да, — повторяла она, уходя в себя, мучаясь от того, что Мани не стало.

Федосья Васильевна оттолкнулась руками от изгороди и, пошатываясь, пошла к себе в избу. Весь день она была сама не своя. Не помнила, чего делала, как обряжала корову, поила ее или не поила, ела сама или не ела. Ночью она лежала в кровати с открытыми глазами и смотрела в окно на звезды. Звезды больше не падали, мерцали на темном небе мигающими цигарками.

Перед утром она забылась тревожным сном, и во сне к ней пришел тятя-покойник:

— Федосья, ты чего лежишь? Надо ехать, — сказал он.

— Да куда ехать? — не понимала она.

— Я тебе говорю, запрягай лошадь. — Тятя ходил по избе сердитьѣй, половицы под ним скрипели. И изба была незнакомая, не тятина и не Федосьина. Федосье сделалось страшно, что она спала на чужой кровати. Она не помнила, как на эту кровать попала.

— Да, да, сейчас, — сказала Федосья и не смогла подняться, сморенная сном. А тятя, как из тумана, звал:

— Федосья, надо ехать... надо ехать... надо ехать...

Она не помнила, как пересилила себя, а была уже на какой-то глубокой реке, от которой тянулись поля, поля-а — и все заставлены мешками с пшеницей. Ваня Баламут прятался за мешками от Зинки. Зинка видела его, но между мешками к Ване не было прохода, и Ваня, подмигивая Федосье, хохотал: «Подожди, по двести центнеров нарастет, я ей хлебом хайло-то заткну». Зинка показывала ему кукиш.

«Господи, — пугалась Федосья, — с таким-то хлебом жить бы и жить, а они готовы глаза друг дружке выцарапать».

Лошадь у Федосьи, зайдя по колени в реку, пила воду, а тятя стоял на берегу и твердил:

— Надо ехать, надо ехать...

Лошадь своим дыханием взрябила воду, и вода вдруг стала кипеть, бить ключами — горячий туман застлал и реку, и луга, и тятю, который, как тетерев, бормотал одну песню:

— Надо ехать, надо ехать...

Из тумана спустился к Федосье Тиша, ее первый муж, — молодой, такой, каким уходил на войну. Сколь годов прошло, а он и не постарел совсем.

Был бы такой, как она, так можно бы и снова сойтись. А с молодым Федосья сходиться уже не отважится.

— Ой, Тиша, Тиша, а как мы с тобой хорошо жили-то.

— Федосья, ты на меня не сердись, — сказал он, думая о своем.

— Тиша, да ты-то в чем виноватый?

— Виноватый, видно. — Он опустил глаза. — Вот ты говорила, что на мужиков тебе не везло...

— Тиша, дак ты ведь не понял, как и Зинка.

— Вот мне Зинка и пересказала твои жалобы.

— Тиша, дак я ведь ей не на мужиков жаловалась. Я плакалась, что мало с ними жила, что с работой только и неразлучна. Во сне-то и то руками шевелю — все чего-нибудь делаю, до самой смертушки, видать, не расстанусь с нею...

— Нет, ты не отпирайся. Не повезло тебе, Федосья, на мужиков. Не повезло...

— Это пошто не повезло-то?.. Оба не пьяницы были.

— Деток никто тебе не оставил... Я вот себя за это очень виню...

— Да что я виноватая, не ты...

А тятя в тумане все торопил ее:

— Надо ехать, надо ехать...

— Тятя, да куда ехать-то? — закричала она и проснулась.

Солнце било уже в глаза. Самое время доить корову. Федосья Васильевна вышла на улицу. Зинкина корова щипала траву на канаве. Ваня Баламут сидел на крыльце, ремонтировал грабли.

— Федосья, жениха проспишь, — засмеялся он.

Федосья Васильевна ничего не сказала ему. Ее томило от сна, и в ушах стоял голос тяти: «Надо ехать, надо ехать...» Куда это он ее посылал? Федосью Васильевну даже оторопь взяла: не к себе ли зовет?

Она подоила корову, выпустила ее из двора. Процедила, разлила по кринкам молоко.

— Надо ехать...

Вспомнила про Маню, и тятины слова приобрели для нее сразу иной смысл.

Ой, ой, ой! Что там будут делать с ребеночком Костя и Анна? Коровы у них нет, а без молока грудную внучку не вырастить. Как же они станут теперь? Анне на работу надо ходить, к пенсии скоро дело-то у нее, работу не бросишь. А из Кости какая нянька?

Нет, надо Федосье Васильевне за ребеночком ехать: не зря тятя подсказывал.

Зинка услышала о ее решении, глаза выпучила:

— Очумела, тетка! Ребенку же грудь надо...

— Жваком выкормлю.

Ваня Баламут тоже недоверчиво крутил головой:

— Федосья, нынешних кормить надо долго. Вон у нас Райка как отчубучила: что, говорит, за родители, если дочку до пенсии не докормят?

Ваня уж и тут-то не смог удержаться серьезным.

— А я и до пенсии докормлю! — рассердилась на него Федосья Васильевна.

Зинка ехидно прищурилась:

— Или еще семьдесят годов прожить собираешься?

— А сколь надо, столь и проживу.

— Век не поверю! — Федосьину же поговорку да против нее и оборотила.

— Я тебе не поверю, — погрозила ей Федосья Васильевна. Чего же еще рассуждать, надо запрягаться да ехать.

— А ты думаешь, тебе отдадут? — уже поняв, что Федосью Васильевну не переговорить, спросила Зинка.

Федосья Васильевна пожала плечами.

— А почему не отдадут-то? Я ведь им не чужая.

Ваня Баламут захохотал. Нашел, дурачок, где смеяться.

Федосья Васильевна даже не глянула на него. В небе трубили журавли. Они летели над Федосьиным домом. Вот оттуда откуда-то вчера сорвалась и упала звезда. Федосья Васильевна и сейчас не верила, что ее не найти. Ведь рядом, кажись бы, падала, совсем рядом... Не в траве, так у изгороди в крапиве лежит. Поискать по-настоящему — и найдется.



## СВАТОВСТВО

---

### 1

Митька ввалился в избу весь закуржавевший: ладно бы только брови и ресницы спаяло морозной паутиной, так и на шапке иглистая седина, и спина и плечи подернулись снежной пудрой.

— Ивановна! — закричал он от порога. — Свататься еду. Где невеста твоя?

Павла Ивановна заулыбалась. Она сидела за столом, обедала. Но уж какой обед, когда гость припожаловал. Надо его раздевать да бежать скорей в магазин. Племянник не бывал с прошлой зимы, а у нее, как назло, и в запасе нет ничего.

Она выскочила из-за стола, низенькая, худая, метнулась в горницу одеваться.

— Ивановна, не суетись. — Митька вытащил из-за пазухи две поллитровки, со стуком поставил на стол.

— Дак неужто и вправду надумал? — И, боясь, что племянник может ни с того ни с сего изменить намерение — а оно было, было, это намерение, Ивановна по глазам видела, что Митька все же решился, что приехал он неспроста, но ведь он такой шептун, у него на неделе семь пятниц — и, боясь этого, боясь, что он передумает, Павла Ивановна заторопилась: — Ой, Митя, лучше-то ведь нигде не найдешь.

— Знаю, ты показывала фотокарточку.

— Ми-и-тя, не в фотокарточке дело-то. — Ивановна обиженно качнула голову вперед, будто неподдающийся гвоздь в стену забила. — Человек-то, Митя, она какой. Мухи за свою жизнь не обидела. Да ведь ты с работы домой придешь, так она сапоги с тебя смет и ноги теплой водицей вымоет. А по хозяйству-то хлопотунья... Уж сколько у меня девок на квартире перебивало — эта из всех...

— Ивановна, не агитируй впустую: сам себя уже сагитировал. Буду свататься.

— А без матери-то пошто? — Павла Ивановна опять качнула головой. Была у нее такая привычка: кивками добавлять словам весу. — На такое дело надо и мать везти. Пошто не привез?

— Да ведь сам знаю, что надо, — ухмыльнулся Митька. — А так получилось. — И он руками развел: ничего, мол, тут не поделаешь, обстоятельства помешали. Митька разделся, ладонью обтер оттаявшие брови и сел на лавку, поближе к печке. — Квартирантка-то куда убежала?

Ивановна подошла к Митьке, и ноздри дрогнули у нее.

— Ой, собака-а! — осуждающе вздохнула она. — Где глаза-то налил?

— Да какое налил? Для смелости это, Ивановна. Жизнь такой поворот хочет сделать.



— Да она с тобой, с пьяным-то, и разговаривать не будет.

— Ладно, ладно, Ивановна, ты не шуми. Будет, не будет — моя забота. Со мной и не такие поговорить не отказывались. — Митька вытряхнул из нагрудного потайного кармана веер открыток. — Видала?

Фотографии были все одного размера — чуть поболее игральных карт. А девки на них сняты разные. И курносые, как квартирантка Вера, и с длинными прямыми носами, как на иконах, и крючконосые, будто филины. Ивановна подозрительно рассматривала каждую, словно приноравливаясь, какая из них могла бы составить племяннику подходящую пару. Ничего не скажешь, девки приглядные, только в глазах у них что-то настораживало Павлу:

— Не будут они тебя, Митя, долго любить. Попомни меня, не будут. — Она тревожно посмотрела на Митьку. — Последнее дело это, племянничек, когда по столь девок заводят. Так и провыбираешь до старости: одна хороша, а другая и того лучше. Не знаешь, на какой и остановиться. Весь до остаточка иссобачишься.

— Ивановна, да я уж выбрал, — запетушился Митька. — Раз свататься приехал — значит, решил. Значит, твоего совета послушался. Я тетку свою уважаю. Раз тетка советует — все. Как советует, так и будет.

Он отогрелся с мороза, и хмель в нем забродил веселее, подрумянил лицо, наполнил душу теплом и радостью.

— Ты, Ивановна, у меня как родная мать. Я матери, смотри, столь не слушаюсь, сколь тебя. Вот ты сказала: приезжай за невестой, я и приехал. А мать сколько девок подсовывала — ни одной не

взял. Потому что твое слово — закон. Твою Верку возьму.

Павла Ивановна забеспокоилась — вернется квартирантка из школы, посмотрит на пьяного жениха — и все пропало. Она ведь не скотница какая-нибудь — учительница.

Павла Ивановна выглянула в окошко. Школьники давно уж все сугробы облазили, всех собак разогнали, а Вера, наверно, все с послеурошниками сидит, не знает, что женишок припожаловал.

Ивановна принесла с кухни кринку свежего молока, пододвинула Митьке граненый стакан:

— Ты вот что, жених... Давай-ка пей молоко — хмель-то и вышибет из тебя. А то сидишь как Вася Коряга.

— Ивановна, да ради тебя хоть отравы напьюсь.

Павла Ивановна подливала ему молока, а он пил, отдуваясь, стакан за стаканом и осоловело смотрел на нее.

— Ты с Васей Корягой меня не равняй. Я своим ходом и до Березовки могу дойти.

— Да я ведь так, к слову вырвалось.

— А и к слову не надо. Мне Коряга совсем не товарищ. Я вот захочу, так и до Шарьи своим ходом дойду.

— Я тебе, собака, дойду. — Ивановна решительно сняла с вешалки Митькино пальто, шапку и унесла в горницу прятать. Она знала племянничка: взбредет на ум, так и среди ночи в Шарью отправится, за сто восемнадцать верст. А не выдует хмель, так и на поезд сядет, ищи потом ветра в поле.

Митька рос без отца, к самостоятельности привык рано. Что хотел, то и делал. Марфида, родная сестра Павлы Ивановны, Митькина мать, и не пыталась даже прибрать сына к рукам. Да и как его прибирать, если сызмалетства в доме за мужика. Двенадцать лет было,

помнится, крышу всю перекрыл. Пол красил сам, подоконники и косяки заменил. О дровах Марфида и заботы не знала — все хозяйство лежало на Митьке.

Посмотрел бы отец на родного сына — вот порадовался-то. Но из могилы не встанешь. И десяти лет не исполнилось Митьке, когда Тиша умер. С войны вернулся живым, ни одной царапины не принес, а тут в одночасье свернуло: попил в сенокос студеной воды из колодца — и скрутило жаром. Был человек — и нету.

Марфида убивалась по мужу долго. Да и оттаяла оттого только, что на сына ей повезло: Митька за хозяина в доме стал, а она вместо него за ребенка.

Павла Ивановна осуждала Марфиду и раньше, когда Тиша живой еще был. Кроме печи, ничего Марфида не видела. Корову и то Тиша управлял. Белье на реку — позор-то какой! — полоскать бегал. Огород вспашет и обсадит, а Марфида знала только обед готовить да деток рожать.

— Испроказишь ты, Тихон, бабу, — укоряла Павла Ивановна зятя.

— Успеет еще, наработается, — отмахивался он.

И как в воду смотрел: успела. Хорошо — Митька пошел в отца, а то быхватила горяшка по самые ноздри. С четырьмя-то ребятами.

Одно плохо было: своеволен Митька, никого в грош не ставит. Задумает что — не переубедишь. Упрется — и все, на своем стоит, хоть убей.

Тут уж верно, какой он Вася Коряга. Вася выпьет стакан и огрузнет, как корягу с места не сшевелить. А Митьку и трезвого-то не удержишь на месте. Уж о пьяном и речи нет.

Надумал в Березовку переезжать — всей деревней отговорить не могли.

— Митька, дом-то у тебя как картинка теперь, ну-ко все обладил. А в Березовке-то на пустое место совсем...

— Митька, ну-ко трактористы в колхозе по столь зарабатывают, от добра ведь не ищут добра...

И Павла Ивановна подпевала:

— Меня-то, старую каргу, на кого оставите?

— Тебя, Ивановна, смогать не будешь, так тоже в Березовку перевезем.

— Чего ты потерял в этой Березовке?

А ему толком и не объяснить: заладил одно — в район поеду, там веселее, кино каждый вечер...

— Да когда тебе по кинам-то ходить? Три младших сестры на шее как чирьи. Да и свою семью заведешь ведь скоро. Жена никуда не отпустит.

— Чего? — скривился Митька. — Уж со своей-то бабой как-нибудь совладаю и пикнуть не дам.

И все равно, скорей бы женился, думала Павла Ивановна: как ни хорохорься, а пообрежет крылышки-то, пореже в рюмку заглядывать будешь.

Павла Ивановна ногами перекрестилась бы, если б Митькиной женой стала Вера. Таких-то девок днем с огнем не найдешь. Будь в Раменье парни, так сто раз к ней посватались бы. Хорошо, что Вериних ровесников нет. Хорошо, что чужим ребятам на глаза не попалась, а то давно б увезли.

Павла Ивановна не раз бегала к племяннику в Березовку, и фотографию-то Верину показывала, и Марфиду-то привозила в гости, чтобы своими глазами посмотрела на будущую сноху, а Митька как стоеросовый пень. Смеется, и только.

Слава богу, собрался все-таки. Так опять как пьянчужка Пантюха, и язык на плече. Хоть укладывай спать.

Ивановна даже обрадовалась негаданной мысли:

— Спать, Митюшка, спать давай.

— Я свататься приехал, не спать, — заартачился Митька. — Мы с Колей Ванечкиным на Красавино тес привезли. Он меня дожидаться будет. Мы с ним об заклад на поллитровку сбились, что я твою квартирантку высватаю.

У Павлы Ивановны сила сразу из ног ушла. Уж вроде бы легче пушинки тело, а ноги не держат. Подкашиваются — и все. Ивановна уперлась руками о стол и — бочком, бочком — присела на лавку.

— Митя, да ведь такая девка, а ты шутить удумал...

— Ивановна! — обиженно сказал Митька. — Я не шутить, я всерьез буду свататься.

— А всерьез, так выбрось из головы Ваню Колечкина.

— Колю Ванечкина, — поправил Митька.

Но Ивановна его не хотела и слушать.

— Собака ты этакой! — ворчала она. — Возьму вот ухват, так узнаешь, как об заклад-то сватаются. Ишь, нашел дружка, Ваню Колечкина. Да я вместе с Ваней обоих вас...

— Ивановна! — предостерегающе поднял руку Митька. — Давай пока без ухвата. Не хочешь Колю Ванечкина — возьмем Манюню в свидетели.

— Ну и борона! — Павла Ивановна в сердцах чуть не сплюнула: какой из Манюни свидетель? Зачем над дурочкой потешаться, и без того богом обижена. Ивановна выговорила бы Митьке за это, да услышала: на крыльце кто-то сметает с валенок снег. На мосту скрипнули половицы. И, потому что скрипнули они легко и резво, Павла Ивановна поняла: возвращается Вера. — Ты вперед меня не суйся, — зашептала она. — Я начну.

Она оглянулась на Митьку: сидит лохматый, будто и расческа ни разу в голове не бывала.

— Волосья пригладь, — подсказала Ивановна Митьке и испугалась, заметив на столе веер открыток. Сгрести их в кучу — да на кровать под подушку.

## 2

Вера вошла в избу, увидела незнакомого парня, взглянула на стол — а там две поллитровки — и поняла сразу, что за гость у хозяйки.

Ивановна ей о своем племяннике столько напела, что Вера узнала б его, если б и фотографии Митькиной не видала. А Митькины фотографии у Павлы Ивановны в каждом простенке.

Вера поздоровалась, прошла в горницу, а Ивановна — следом за ней. Раздеться не дала, на ухо зашептала:

— Свататься приехал.

А сама стоит, низенькая, сухая, и — нет счастливей ее — улыбается.

— Ну, Вера, не дай промашки... Платье-то другое надень... Не это, не это, у тебя где-то в полоску есть, оно к лицу тебе... В шкафу, кажись, было. Нет, на стуле, на стуле оно.

Она суетилась, словно сваты прикатили за ней, словно ей самой надо было понравиться жениху.

— Ты переодевайся, а я на стол соберу. — И побежала из горницы, на каждом шагу оглядываясь и подмигивая Вере.

Ох уж эта Ивановна! И смешно и тревожно Вере. Какое тут сватовство — и жениха не видала. Как в прежние годы. Бабушку вот так выдавали, а мать уже сама жениха себе выбирала. Время другое.

И любопытство все же берет, а что за парень. Может, в самом деле неплох. Да как он надумал свататься, когда не знает ее, голоса ее не слышал, словом с ней не обмолвился. Вон у Манюни-дурочки и то как у нор-

мальных людей: письма хоть из армии шлет ей жених. Да и письма что? По ним не узнаешь человека. Третий год Манюня пишет солдату, а он и догадаться не может, что она не в себе.

Нет, нет и нет... Вот скажу Ивановне, чтоб и не думала.

А Ивановна уж тут как тут. В бок подталкивает Веру:

— А я чего говорила? Приедет, говорю, вот подожди, приедет... Ты чего же это платье не переодеваешь? Ты чего на кровать уселась? Человек-то ждет...

За руку стащила Веру с кровати, бросила платье ей на плечо.

— Давай у меня живее! — И побежала на кухню, загремела посудой, ухватами.

Вера нехотя стала переодеваться. Не обижать же Ивановну: старуха хочет для нее добра...

### 3

Добра хотели для родной дочери и родители. Уж как они отговаривали Веру: «Не ездь ты в эту глухомань. Ведь хуже Березовки ничего не придумаешь». А оказывается, можно придумать и хуже. Если б Веру оставили работать в райцентре, а то отправили в Раменье, за одиннадцать километров от Березовки. Верина предшественница, Алевтина Ивановна, больше года вытерпеть не смогла, уехала поступать в институт. Все же нашелся у человека выход. Но для Веры он уже был закрыт: институт у нее закончен. Вот как она раньше не сообразила, что не надо было поступать на педагогический факультет, как не подумала, что учителя начальных классов могут отправить в любую дыру, а предметник обязательно попадет уж если не в среднюю школу, так в восьмилетнюю. Все-таки в учительский кол-

лектив попадет; в молодой ли, в старый ли — в коллектив.

А она на всю школу одна. Три класса — три ряда парт перед ее столом. Три класса, а всего-навсего девятнадцать учеников. И она, Вера Петровна, для них и завхоз, и учительница, и директор школы.

Посоветоваться и то не с кем. Одна советчица у нее — Павла Ивановна. Так и та заладила с первых дней: замуж выдам, и все тут.

У меня, говорит, сколь девок на квартире стояло — только Алька (Алевтина Ивановна) в Кострому улизнула, а остальных всех пристроила. Ни одна не кается. Хорошо живут. Уж раз по мысли сошлись, то как собаки не будут лаяться.

А как по мысли? Когда и в мыслях не было, что неожиданно-негаданно подвалится женишок, незнакомый, невиданный?

Неужели и те, до нее, выходили замуж вот так же? Только б в девках не засидеться...

Конечно, годы у Веры уже давно «на выданье». Еще два-три года подзадержись — и никому, пожалуй, не будешь нужна. А кажется, давно ли школу закончила, давно ли стаж набирала для института, давно ли в студентках бегала, а уж вот они, двадцать пять. Как снег на голову.

Мать, собирая Веру в дорогу, вздыхала: «Замуж тебе пора, а ты к черту на кулички наладилась. Там ведь и людей-то нету давно. За медведя не выскочи хоть».

Мать знала, что говорила. Шутила вроде бы, а вздыхала всерьез.

Медведи в Раменье, конечно, не водятся. Но и молодежи нет. Все разъехались. Одна Манюня осталась. Придет вечером, краснеет, смущается: «Вера Петровна, проверь ошибки в письме». Сердце от боли сжималось: «Тебе-то, Манюня, это зачем? Какая жена



из тебя?» А нет — и она туда же. В Березовку сбегала, сфотографировалась: солдат фотографию просит. Получилась будто артистка: волосы по плечам сползают, глаза распахнуты, рады, что кому-то нужны.

— Ой, Манька, не делай глупости, — урезонивала ее Павла Ивановна. — Тебе ли парня с ума сводить?

Заревела Манюня навзрыд, убежала домой и фотографии у Веры забыла. А через день все же явилась с письмом: «Вера Петровна, проверь ошибки». И пока Вера выправляла письмо, пока красила фиолетовые строчки красным карандашом, Манюня все смотрела на свою фотографию и улыбалась. Чему улыбалась? О чем думала?

Манюня да Вера — две девки на всю деревню. А деревня не маленькая, сорок дворов.

#### 4

Вера вышла из горницы. Митька с Ивановной сидели уже за столом. Перед каждым стояла на тоненькой ножке рюмка. По рюмкам Вера и догадалась, куда Павла Ивановна хочет ее посадить: на той стороне стола, где устроился Митька, рядышком две рюмки поставлены.

«Жених и невеста — оба без места», — вспомнила Вера дразнилку далеких детских лет и усмехнулась. Боясь взглянуть жениху в лицо, она не стала его просить, чтобы он пропустил ее, а, согнувшись в три дуги — не обломать бы фикус в углу, — пробралась на место вокруг стола. Села и правым плечом сразу же ощутила жар, хотя Митьки и не касалась.

— Обратнo тоже тут выходи, — засмеялась Павла Ивановна, — а то полную избу накопишь деток — и не управиться.

Вера хотела вместе с ней рассмеяться — и не смогла.

— Это что, примета такая? — задеревенело спросила она, хотя знала, что да́, примета: мать частенько ее приговаривала, мол, вокруг стола не вылазь.

Мать у нее деревенская. Да и Вера тоже не в городе выросла — в большом приволжском селе. Конечно, Красное не такая дыра, как Раменье, — районный центр. Но присказки, приметы что в Раменье, что в Красном селе — одни и те же. И там вокруг стола вылезать не советуют.

— Ну, нынешние примет не боятся, — сказала Павла Ивановна. — С одного конца за стол сядут, с другого вылезут, а все равно только один ребенок.

Она налила в рюмки водки, понюхала, сморщилась.

— Ой, мне-то бы ведь совсем нельзя. Голова стала худая, как решето. И не встать будет завтра. А ради вас, для вашего счастья до донышка выпью.

Вера ужаснулась этим словам. Ведь никакого угорова еще и не было, а Ивановна ведет себя так, будто сватовство состоялось.

Ивановна выпила, зажала рот левой рукой, а правой стукнула рюмкой о стол — знай, мол, наших! — и не выдержала фасону, замахала руками, как крыльями.

— Ой, горесть какая, — а закусила, слезы обтерла и закомандовала: — Я старуха семидесяти годов и то выпила, а вы чего церемонитесь?

Вера пригубила рюмку, и Митька сделал глоток. Но Ивановна на этом не успокоилась, заставила выпить до дна.

— И рюмка-то: пальцем ткнешь — и нет ничего. Не стакан ведь.

Она налила еще по одной, но не торопила, словно обдумывала, с чего начать серьезное дело.

— Вот вы знаете, как я выходила замуж? —

И махнула рукой. — Супостатке своей такого не пожелаю.

Она не стала рассказывать. Вытащила из рукава носовой платок, обтерла глаза.

— Ивановна! Да что это ты? — ласково укорил ее Митька. За все застолье первые слова и сказал. — Ну, было, было, зачем расстраиваешь-то себя?

— Ой, Митя, да ведь как не расстраиваться? Всю жизнь как кукушечка куковала. Другие птички хором поют, а эта все одна. И я вот так же. Ни сына, ни дочери. И опереться не на кого. Вот дом завела, хозяйство справила, а зачем это мне? Помру — с собой ничего не надо.

Митька вышел из-за стола, обнял Ивановну, прижался щекой к ее лицу.

— Да будет тебе, Ивановна! Давай лучше мы за тебя тост поднимем. За твое здоровье. Давайте, Вера Петровна.

Он дотянулся своей рюмкой до Вериной, чокнулся с Павлой Ивановной и перешел на свое место.

Ивановна сквозь слезы смотрела то на Веру, а то на племянника.

— Ой, какие вы у меня хорошие! Я вот на вас как на деток своих гляжу.

— Да мы и так твои детки, — сказал Митька.

Вера посмотрела на него, но он сидел очень близко, и Вера не смогла его разглядеть. Сбоку был виден хорошо только нос — крючковатый, большой. Такие Вере не очень нравились.

«Господи, да о чем это я? — укорила она себя. — Как на базаре прицениваюсь». И дала себе слово: не коситься больше на Митьку.

Ивановна после двух рюмок подзахмелела, вышла на середину избы плясать. В валенках, конечно, какая пляска. Но что поделаешь, если и старая кровь по-молодому вдруг закипает...

Разрешите поплясать,  
Разрешите топнуть.  
Неужели подо мной  
Переводы лопнут?

Она ходила по кругу неслышно, как кошечка. Не ходила — летала пушинкой, почти не касаясь пола.

Эх, топни нога,  
Топни правенькая.  
Все равно ребята любят,  
Хоть и маленькая.

Любили, наверно, ее ребята.

Вера вдруг вздрогнула от неожиданно пришедшей мысли. Вот состарится и она, Вера, выйдет, как и Павла Ивановна, в круг, и кто-то из молодых подумает: «Любили, наверно, ее ребята». А какие ребята в Раменье? Кто любил ее? Ради чего жила здесь? Детей учила... Да, да, учила детей. Но ведь не приехала бы она, направили б в Раменье кого-то другого, старушку какую-нибудь, старичка. Им-то не все ли равно, где жить, они свое отжили.

«Господи, да я ведь опьянела совсем, чепуха какая-то в голову лезет». Вера тряхнула головой.

У подружки на девичнике  
Любила пировать.  
Пировала да и думала:  
Самой не миновать.

Ивановна подмигивала Митьке: дескать, не думай, я не забыла, зачем ты приехал. Смотрела на Веру и ей подмигивала: ничего, девка, сейчас все и устроим, как голубочки у меня заворкуете.

Задушевную подружку  
Скоро ладят отдавать.  
Без подруженьки невесело  
Ходить вечеровать.

Ох, Ивановна, а ведь одна останешься, так и в самом деле невесело будет тебе в этом доме вечеровать. Хотя школу не бросят на произвол судьбы, пришлют кого-то опять, и новая учительница снова поселится здесь, у Ивановны. Сколько лет школе — столько лет в квартирантах у Павлы Ивановны учителя. А она только и знает выдавать их замуж. Одну — в одно место пристроит, другую — в другое. Хоть бы кого-нибудь выдала замуж в Раменье, и не пришлось бы тогда Вере ехать сюда.

Сероглазому на память  
Ветку ивы подарю.  
Эта ветка означает —  
Очень дrolечку люблю.

Павла Ивановна взмыла руками вверх, взвизгнула и пошла дробить. Но что за дробь в валенках? Так, шуршание одно. Будто веником пол метут, а не пляшут. Лампа под потолком ни разу не колыхнулась. Стаканы на столе даже не дрогнули. А ведь когда настоящая пляска — и стаканы по столешнице пляшут, и лампа кругами под матицей плавает, и вода из кадки в прихожей выплескивается.

— Ой, какие вы у меня оба хорошие! — заволновалась Павла Ивановна. — Сидят будто два голубочка.

Ну конечно, не забыла о голубочках. Вера знала, что Ивановна вспомнит о них, каким-то десятым чутьем угадала. За полгода квартирования изучила свою хозяйку.

А теперь вот Ивановна наденет пальто и скажет: «Скотину пора кормить. Вы посидите, я скоро вернусь». Расчет до наивного прост: пока ходит во двор, молодые разговорятся.

Вера скосила глаза на Митьку. Он сидел какой-то понурый. Такого, наверно, непросто разговорить.

— Мите-эй! — закричала Ивановна, прекратив плясать. — Ты ведь у меня как сын родной. Я тебе худого не посоветую. Женись на Вере. Как мать говорю, женись.

У Веры кровь застучала в висках. Стыд-то какой. Ивановна будто топором оглушила. Вера не знала, куда спрятать руки. Раньше не замечала их, а теперь вот сразу сделались лишними. Вилку взять? Так разговор уж очень серьезен. На колени их положить? Так и без того как цепями связана. На лбу, кажется, выступил пот. Но и платок достать неудобно.

А Ивановна села на стул к столу и улыбалась:

— Вот бы хорошая-то пара была. Оба такие пригожие, некалахтерные, друг другу худого слова не скажете...

«Некалахтерные...» Ивановна, да откуда ты знаешь про наш характер? Это с тобой жила — квартиранткой себя считала, так была тише воды: перед хозяйкой права не будешь качать. А с мужем совсем по-другому, с мужем на равных станешь, а то и верх заберешь. Вот тогда-то как: «калахтерная» иль нет?

— Обоих-то знаю я вас, обои мне милые да хорошие, — ворковала Павла Ивановна. — Мите-эй! Посмотри-ко на Веру. Разалелась будто цветочек. Ну, чем тебе не жена?

— Да я бы не против, — сказал Митька. — Как Вера Петровна...

— А что Вера Петровна? — укорила его Ивановна. — Не слепой, так смотри. Девку не спрашивать надо, а понимать.

5

Павла Ивановна зря боялась за Митьку, что он начнет колобродить, дурачиться. Митька оказался смиренной овцы. Приехал вроде и под хмельком, но вот, поди

ж ты, до дела дошло — и трезвей его не стало. Весь вечер просидел — Вере и в подозрение не пало, что он навеселе. Вот только спать ложились, так спохватило его, но и то Вера не видела, уж ушла к себе в горницу.

Павла Ивановна улыбалась.

В избе было темно. Окна как стены: сколько ни вглядывайся, не различишь, где переплеты рам, а где простенок. И только когда по улице проходила машина, замерзшие стекла начинали гореть всеми цветами радуги, и в доме становилось светло.

На диване у заборки спал Митька. В горнице скрипела кроватью Вера. Маялась бедолага. Легко ли замуж решиться. Не сказала Митьке ни да, ни против. Я, говорит, не могу, не зная человека, в омут за ним бросаться. И мне, говорит, кажется, что замуж надо выходить по любви. А кто против этого? Поживется — и слюбится. Были бы оба хорошие, а любовь придет.

Но твердо Вера все-таки Митьке не отказала, дала повод надеяться: зачем, мол, так круто... Ну, круто нельзя, так сделаем поположе. На выходные пусть поедит парень, а там и скумекаются. И некруто скрутит ее. Вон сколько девки ему фотокарточек надарили, и эта от него не уйдет. Ее годы такие, что церемониться некогда. И Митька ей в самый раз. Ой, и пара была бы... Как два цветочка.

Вот другие со школьной скамьи ходят друг с дружкой, а женятся — как собака с кошкой живут. Так это что за любовь, кому она такая нужна? Чтобы нервы друг у дружки выматывать?

Сходились миром, а миру нет.

Мир в семье — самое дорогое. Ни денег, ничего-то не надо — было бы только согласие в доме. Тогда и жить легко. Тогда и в дождь солнце светит. Тогда и в мороз розы цветут.

Не научились бабы это согласие беречь. Без мужиков-то с Павлино пожили бы, поняли б, что таксе семья.

Да приведись Павле Ивановне мужа иметь, она бы его на руках носила б. Не смотрите, что ростом маленькая, не смотрите, что худовата, зато любви в неохват.

А выходит, той бабе, что бабой настоящей родилась, и не везет. Хоть замухрышку б ей какого-нибудь: настоящая-то баба и из замухрышки сделает хорошего мужика.

Сколько ей тогда было, Павле Ивановне? Восемнадцать годиков, когда она с Василием-то Петровичем сошлась. Он уж в возрасте был, у него дочка имелась, ровесница Павле. Не пара, конечно, они. Да любовь-то, вправду сказано, зла...

Павла была у Василия Петровича в казачках, нынешнему в работниках. Вот и подвалился он к ней. Ну и бес был.

Павла Ивановна вспомнила его и заулыбалась.

Ох и бес... Сколь годов с той поры прошло, не жалела Павла, что так случилось. Вспомнит — и будто моложе делается, будто снова в казачки придет к Петровичу наниматься. Вот ведь бес какой...

А вот рожала как — страшно вспомнить. На масленицу выпали холода, и как раз время пришло рожать. Господи, сказать никому нельзя: в доме-то у Петровича гости на праздник съехались, пива было наварено. И куда сунуться? Уползла к коровам во двор. Там и родила. Да ребеночка-то и заморозила. Боже ты мой... Человек жить наладился, а ему вон чего выпало. Да и сама-то оклемалась едва. А оклемалась — по судам затаскали. Говорят, специально парнишечку заморозила. Нагуляла, мол, так позор хотела прикрыть. Да чего там прикрыть, когда все видели, что брюхатая. Только от кого, и не знали. Слава богу, все обошлось.



Судьи тоже ведь люди. Увидели, как убивается девка, на нищету покручинились — да и выпустили.

Выпустили, а и домой ехать нельзя: расспросы да спросы начнутся. Отец, чего доброго, и за полено возьмется, тяжелый был человек.

И к Василию Петровичу не сунешься. И там станут пытаться, от кого да с кем. А уж это не их забота.

Пошла казачить на Николину гриву. Так Василий Петрович за четырнадцать верст прибежал. Все забыла: и судей и масленицу. Ну и бес...

Агриппина у него уже была худа, помирала. Да и умерла, так ненадолго руки мужику развязала: двенадцать лет прожили Павла с Василием, а на тринадцатый Агриппина его к себе позвала. Хоть бы детки остались, но не смогла Павла больше родить.

Конечно, не война бы проклятая, так Павла Ивановна, может, и второй раз успела выйти... А в войну женихи откуда? Да и после войны не лишка их было — и все нарасхват: помоложе Павлы остались бабы.

Так одна и кукует.

Чужого ребенка приласкаешь урывком, на чужого мужика глаз скосишь — да и сыта. Хватило времечка ей понять, как дорога семья. Хватило времечка разобрататься, ради чего землю ногами топчешь. Ой, как хватило...

На других-то смотришь — и сердце ноет: не знают ведь этого, не понимают и понять не хотят. «У меня мужик худ...» — «У меня еще хуже...» Да ведь вас, ведьмы, самих хуже нет: счастье у вас в руках, а вы от него отказываетесь. Мужика упустить легко, а каково одной жить...

Кажись бы, воротись к Павле молодость — за любым мужиком ужилась бы, любого счастливым сделала бы и сама бы счастливой была. Как только не поймут этого девки?

Вот и Вера: слава богу, не шестнадцать годков. Пора подумать и о семье. Ну да Вера ладно. Потихонечку, полегонечку, а телега с места пойдет. Вере с Митькой-то подфартило. У этого из рук ничего не выпадет. Дом как полная чаша будет. Да войдут в любовь, так и помирать не захочется ни тому, ни другому. Вот как с Митькой-то.

Павла Ивановна провозилась всю ночь. И пить вставала — пересыхало в горле; и на часы-то смотрела бегала, подсвечивая спичкой; и думы-то все передумала, а заснуть не могла. Голова стала совсем худая, две рюмки выпила — и беспокойство на целую ночь.

К утру вот еще заломило в висках: бессонница ли, похмелье ли дали о себе знать.

Утром надо бы печь топить, а Павла Ивановна совсем разохалась. Старость не радость. Не дай бог доживать до таких годов.

— Ты чего, Ивановна, стонешь? — спросил Митька.

— Ой, Митя, всю головушку разломил. Ведь сколько раз себе говорила: уж раз нельзя пить, так не пей. Не вино, а зараза какая-то.

— Ну, вот видишь, — сказал Митька. — А мы-то, думаешь, мед пьем? И мы заразу.

Павла Ивановна слабо улыбнулась и махнула рукой: балаболка, мол, ты, балаболка и есть.

Вера стала растоплять печь. Слышно было, как занималась огнем береста, как Вера складывала на лопату дрова и сбрасывала их на пламя.

Другой бы какое дело до хозяйской заботы, а эта взялась. Ой, хорошая будет баба.

Митька выскочил из-под одеяла, присел три раза — называется, сделал зарядку — и стал одеваться.

— Ивановна, куда пальто у меня запрятала?

— Да, погоди, позавтракаешь.

— Нет, Ивановна, на Красавино надо бежать. Там Коля Ванечкин меня дожидается.

— Да умойся хоть...

Митька подошел к изголовью Ивановны, нагнулся и шепнул на ухо:

— Девки-то или не оближут? — и сам засмеялся.

Он отказался от завтрака, ссылаясь на плохой аппетит, попрощался, смущаясь, с Верой и уже у порога сказал:

— Я, Ивановна, на выходные приеду к тебе. Дров помогу пилить.

— Дров так дров, — сказала Ивановна, усмехаясь. — С Верой попилите.

Митька выскочил из избы. А Ивановна лежала и все улыбалась: «Ишь ты, на выходные приедет. И без подсказки сообразил». А потом вспомнила, как он на ухо шептал ей про девок, которые будут его облизывать, — вслух-то при Вере все-таки застенялся — и тихонечко засмеялась. Это хорошо, когда парень стесняется.

## 6

Школа в Раменье была просторная. Когда ее строили, видно, не думали, что останется в ней всего-навсего девятнадцать учеников и что всех их собьют в один класс. Замах у строителей был на то, чтобы в любой день можно было открыть семилетку: четыре классные комнаты, пионерская, учительская да еще и директорский кабинет. Стоило выгородить в коридоре закуток, поставить парты в него, в директорский кабинет, в пионерскую комнату — и семилетка готова.

Теперь вот пустует все. На дверях лишь таблички остались: первый класс, второй, третий, четвертый. Приезжал недавно инспектор роно, походил по школе, поежился.

— Вы, — говорит, — хоть бы таблички сняли.

— А мы надеемся на лучшие времена, — ответила Вера.

— Ну, а «4-й класс» из каких соображений держите? Как памятник?

— Нет, в надежде, что министерство наше одумается.

Инспектор промолчал. Видно, и сам не очень-то был согласен с передачей четвертого класса в восьмилетнюю школу.

— Да-а, — сказал он, — будь еще класс — наверно бы, двадцать-то шесть учеников и набрали б. А это уже две учительские ставки. Теперь вот у нас в районе всего одна двухкомплектная школа — в Шуботе.

Вера подумала, что, может, для города передача четвертого класса из начальной школы в восьмилетнюю и хорошее дело, а для села — беда. Как ни крутись, на три класса двадцати шести человек не собрать на Раменье. А двадцати шести не собрать — значит, одной и учительствовать. Но скажите мне, какая учеба, когда три класса вместе сидят? Одним одно объясняешь, другим другое, а третьи свое не делают, слушают, что говорят соседям. Ведь взрослого человека в такой класс посади, он и то начнет головой крутить.

Из-за одного этого уезжают из Раменья люди, увозят детей.

Вслед за учениками и учителя едут — кому охота в такой школе работать. Правду Павла Ивановна говорит: «Как кукушка кукуешь». Словом не с кем обмолвиться. И впрямь одна дорога для Веры осталась — замуж.

Вера вспомнила о Митьке и засмеялась: чудно уж очень, приехал свататься, а о невесте, кроме имени-отчества, ничего не знает. Да разве так-то она пойдет? Она ведь в своем уме. Уж лучше положенные три года отработать в Раменье честь по чести, а потом уехать отсюда, глядишь, и встретишь где-то хорошего человека.

Мамочки, три года... Да через три года стукнет ей

двадцать восемь, да хорошие-то парни в этом возрасте все женаты.

Вера достала тетради третьеклассников с контрольной по математике. Делом хоть заняться, а то всякая чепуха лезет в голову. С этой Павлой Ивановной до того заневестилась, что дальше некуда.

А на Ивановну-то зачем сердиться? Она же от доброго сердца... Сама нажилась без мужа, так рада всех замуж выдать.

«Вот постой, Ивановна, скоро будут каникулы, уеду на юг да и окручу там какого-нибудь вдовца. Хотя вдовца-то зачем? Мне ведь не сорок лет — нет, холостого найду».

Тыфу!.. Опять двадцать пять. Вера открыла тетрадь, всмотрелась в колонки цифр, приткнулась красным карандашом к первому столбику да так и притихла.

Ведь суббота завтра. Митька на выходные придет. Господи, да как она забыла об этом? Снова свататься будет? Или ухаживать начнет? Да как ухаживать, когда она все равно знает о его намерениях, когда все время будет думать, что вот сейчас он и скажет то, ради чего и затеян этот приезд. И о чем с ним говорить? Он вон весь вечер тогда просидел молчком, невесте даже не улыбнулся. Ну а о чем им разговаривать? Что у них общего?

А все-таки интересно, как он себя поведет. По рассказам Ивановны, не такой уж он и тихоня. И работа-га большой, все может сделать.

Ой, да разве в том только счастье, что у него из рук ничего не выпадет, — счастье-то совсем ведь в другом, в любви оно.

Был у Веры в институте роман. Влюбилась по уши. В хорошего парня влюбилась. Да в педагогических, наверно, всегда так бывает: на одного парня сто претенденток. Не получилась у них любовь.

Ну, было еще что-то в школьные годы. Не поймешь

и что. Так, обмен взглядами. Но всякий раз, когда вспомнишь об этом, щемит почему-то сердце.

Перед институтом воспитательницей в детсаде работала — один за ней начинал ухаживать. Инженер из проектного института. Но он Вере не нравился, и она от него убегала.

Теперь вот Митька... Куда от него бежать?

Вера отложила тетради, облокотилась о стол: «Маме, что ли, обо всем написать? Нет, разволнуется, лучше не надо».

Вера встала, прошлась по учительской. На стене, на гвоздиках, развешаны наглядные пособия: где ударения ставить. А вот где ударение поставить в жизни? Никакого пособия нет.

Вера оделась, нащупала в кармане ключ от школы — замок там, в дверях, — и направилась к выходу.

## 7

Школа одиноко стояла за деревней на крутом взлобке. С какой стороны ни въезжаешь в Раменье, ее отовсюду видать. И на школьное крыльцо выскочишь — Раменье тоже как на ладони.

Синие тени от построек легли на дорогу. И снега поэтому казались белыми-белыми. Но уже пахло прелью. Наверное, оттого, что под крышей висели сосульки и вдоль стены на солнечной стороне капелью просверлило дыры в снегу до самой земли, прелый запах кружил Вере голову.

Ребята бегали по полю, совершенно не огружая. А по утрам наст держал уже лошадей, и колхозники ездили на луга за сеном, не проминая к стогам дороги.

Вера тоже свернула туда, где бегали школьники. Решила по полю пройти к дому Павлы Ивановны, срезать угол.

Снег слепил глаза, и Вера старалась не смотреть

под ноги. Из-под наста кое-где торчала щетина стерни. Снег в этих местах не слежался, и, чтобы не оступиться, стерню надо было обходить стороной. Но Вера, как маленькая, шла напрямик, и проваливалась до коленей, и смеялась, и нарочно не обходила стерню. Ребята кричали Вере Петровне, чтобы она огибала опасные места, а Вера будто не понимала их и дурачилась, упрямо шла на щетинившееся над снегом жнивье.

У бани она услышала запах каменки, и щемящее чувство остановило ее. Она всей грудью вдохнула этот древний запах, огляделась по сторонам и удивилась, будто только на свет родилась, будто впервые увидела и белый снег, и синее небо над головой, и покосившуюся изгородь, и неровный ряд деревянных домов, и седой дым из труб. Вера вдруг ощутила, что все в мире взаимосвязано. Вот убери отсюда эту старую баню, и уже чего-то не будет хватать. Или изгородь убери, или этот запах каменки, или дым из труб — не то, не то будет. Вот так, наверно, и люди, уезжая отсюда, меняют что-то в жизни других людей.

Вера не могла бы сейчас передать свою мысль словами, она просто чувствовала ее, жила ею.

В Раменье сорок домов, а из каждого кто-то уехал в чужие края... Вот о чем думала Вера.

Она обошла баню вокруг и остановилась у раскидистой вербы. Вербка уже выбросила почки, приготовилась зацвести. А вокруг нее из-под снега выбивался подрост. На нем не было почек, но он будто умылся зеленым молоком: нежная кора так и светилась. И Вера представила, что вот дерево отживет свою жизнь, а вместо него, на его же корню, поднимется новое. И так во веки веков.

— Вера Петровна! — услышала Вера Манюнин голос. Манюня стояла потупившись. Исподлобья взглядывала на Веру и торопливо опускала ресницы. Видно, не терпелось ей что-то сказать, а решимости не

хватало. — Ты, Вера Петровна, вербы наломать хочешь?

— Да нет, зачем же? Она не распустилась еще.

— Ну и что? В банке с водой распустится, зацветет.

Они вместе с Манюней наломали зеленеющих сочной кожурой прутьев.

— К тебе, Вера Петровна, Митька, говорят, сватался?

Вера сглотнула слюну, ничего не ответила.

— Митька хороший парень, — певуче проговорила Манюня. — Я бы за него пошла не задумываясь. Да меня Володя замуж зовет.

Она ковыряла носочком валенка снег и не смела поднять на Веру глаз.

— Это какой Володя? Солдат, что ли, который письма пишет тебе?

— Он, Вера Петровна, уже не солдат. Он прапорщик. Он солдатом был, когда с Митькой вместе служил.

— Так он с ним служил? — У Веры не повернулся язык назвать Митькино имя.

— Ну да, меня Митя и познакомил с ним. Он ему адрес мой дал, мы и стали друг другу письма писать. Теперь вот Володя обещает в отпуск ко мне приехать и меня с собой увезти. А чего я здесь потеряла? Я поеду. Там Заполярье, конечно, да я не боюсь.

Господи! И Манюня туда же. Природа свое берет.

Они вошли в дом. Павла Ивановна растопляла печку-лежанку.

— Ну, девки, весну с собой принесли. — Она сбегала на кухню, притащила пол-литровую стеклянную банку, плеснула в нее воды и поставила вербу. — Зацветет скоро, как и вы. Вон на Маньку смотрю, так как бутончик аленький.



Ивановна вымыла под умывальником руки и снова осмотрела Манюню:

— Да что с тобой, Манька, делается-то? Ты и вправду цветешь...

— Она, Павла Ивановна, замуж выходит, — сказала Вера.

Ивановна всплеснула руками.

— За солдата?

— Он теперь не солдат, а прапорщик. — Манюня и в избе скребла валенком, будто снег ковыряла. Глаз не смела поднять.

— Ой, Манька, мужику ведь баба нужна здоровая. А ты за нездоровье пенсию получаешь, — стала увещевать Манюню Павла Ивановна.

Манюня елозила валенком по половице:

— Я откажусь от пенсии. Я уж об этом думала.

— Откажешься, так здоровей-то оттого не сделаешься.

— Ну, Павла Ивановна, ты сама всю жизнь одна прожила и другим того же желаешь, — обиженно протянула Манюня.

— Манька, думай, что говоришь. — Павла Ивановна качнула вперед голову, будто подтолкнула свои слова к Манюне.

— Нет, я уж теперь не пойду на попятную, — заявила Манюня и перестала скрести валенком. — Я уж и письмо Володе отправила. Мне Варвара Петиха помогла составить. А Володя уж получил его и написал, что выезжает за мной.

Ивановна разохалась, заругала Петиху, руками зашплескивала, все руки о бедра избивала.

— Нет, Манька, пиши скорее отказ. Он обмануть тебя хочет. Ему Митька сказал, что ты простая девка, бесхитростная — вот солдат к тебе и подваливается. У этого солдата и в Мурмане знаешь сколь краль! Нам Митька рассказывал: пол-Мурмана, говорит, и

у каждой от него по ребенку. Мне не веришь — у Веры спроси.

У Манюни на глазах навернулись слезы. Она смотрела на Веру, ждала, что та скажет, а сама уже всему верила, чего наговорила ей сейчас Павла Ивановна.

— Вот спроси-ко у Веры, спроси. Нам Митька целый вечер рассказывал. Мы уж тебе не хотели и говорить, да ведь прохвост обманет тебя. Ты наша ведь девка-то, раменская, а не из Мурманна какого-нибудь. В обиду тебя неохота давать...

Манюня неотрывно смотрела на Веру, и Вера кивнула ей: да, рассказывал.

Манюня с ревом выскочила из дому. Вера хотела было бежать за ней, но Павла Ивановна удержала ее за рукав: пусть побудет одна — и тут же подтолкнула вперед:

— Нет, девка, иди. Как бы не натворила чего с собой.

Манюня жила в маленьком домике, оставшемся ей от матери. Вера часто заглядывала к ней и всякий раз поражалась: во весь простенок портрет солдата (с фотографии в Березовке увеличили).

Манюня лежала ничком на кровати, плечи у нее вздрагивали так, что скрипела кровать.

Вера села на лавку, не зная, слышала ли Манюня, что кто-то пришел.

— Я, Маня, здесь, — сказала Вера.

Манюня подняла грязное, в потеках лицо:

— Куда я теперь одна-то?

— Ну, успокойся, не надо. — Вера зачерпнула в ковшик воды из ведра, стоявшего на лавке. Манюня не стала пить.

— Куда я одна-то? — повторила Манюня.

— Маня, я ведь тоже одна, — заторопилась Вера. — Ничего, и одни как-нибудь. Справимся, ничего.

— Куда я одна? — опять спросила Манюня.

— И я одна, — утешала Вера, не находя других слов, как кивать на себя.

Манюня будто очнулась, вдумалась в смысл Вериных слов и сказала:

— Ты, Вера Петровна, за Митьку выйдешь, не станешь тут жить. А я-то теперь куда? — Она снова упала в подушку.

Вера села рядом и стала гладить Манюню по вздрагивающей спине.

— Ничего, Маня, ничего. — Она хотела уж было сказать, что Павла Ивановна говорила неправду, но сделать это не поворачивался у нее язык. Она хотела утешить, что Маня встретит еще хорошего человека, но и на обман не хватало силы. Тогда она стала говорить, что никуда не уедет из Раменья, что ни за какого Митьку не станет выходить замуж и что Митька вообще ей не нравится, что он обманщик и плут, что он Манюню даже не предупредил, какой плохой человек Володя, хотя знал его по совместной службе.

— Нет, Вера Петровна, ты выходи за Митьку, — сказала Манюня. — Счастливой будешь, — и сразу затихла. — А мне придется писать отказ.

Писать отказ они сели вместе.

## 8

Митька не приехал на выходные.

Павла Ивановна целую неделю гадала, почему бы это, и успокаивала себя тем, что его не отпустили с работы. Но Митька не приехал и на следующую субботу и вообще не дал о себе знать ни единым словом.

Павла спрашивала всех, кто за эти дни побывал в Березовке, не видали ль ее племянника.

— Видели.

— Он ничего не велел передать?

— Нет, ничего.

«Вот собака!» — ругала его про себя Павла Ивановна и вспоминала, что он с рождения такой непутевый.

Маленьким был, так ходил удить рыбу на Вочь. Натаскает сорожек, набьет им через рот полное брюхо каменьев, а потом несет продавать. Своих же раменских баб обвешивал. Они с него штаны грозились спустить и отходить крапивой, а он только смеялся:

— Проверяйте товар у прилавка.

Побольше вырос — и того чище стал: родную тетку обманывал. Ну, может, обманом это и не назовешь, а уж издевательством — точно.

С сахаром было в ту пору худо. И вот Митька принес из Березовки кулек сахарного песка.

— Ивановна! Это тебе.

Ивановна чай заварила, на стол собрала, по такому случаю по стопочке даже спроворила. Водку в чай себе вылила, положила две ложки песка, а Митька еще подкладывает.

— Не жалей, Ивановна, слаще делай... Поеду в Березовку, так еще привезу.

Чокнулись, Митька выпил из рюмки, губы обтер и Ивановну понукает:

— Пей, пей. Не томи, Ивановна, душу.

Ивановна глаза закрыла — все же с чаем-то водка, — воздух выдохнула, сделала первый глоток и заплевалась: в стакане-то соль одна. Только водку испортила. Схватила тряпку — да Митьку тряпкой по голове:

— Собака ты эдакой!

А у него только глаза сверкают.

Ой, да лучше не вспоминать: на каждом шагу номера выкидывал.

Но ведь сейчас-то серьезное дело — свататься приезжал. Вера вон сразу и стихла вся: смеху в избе не услышишь. Павла Ивановна видела, что квартирантку

гложет теперь беспокойство, да она признаться не хочет: гордость не позволяет. Говорит, и хорошо, что он не приехал: я, мол, в такой растерянности была, не знаю, о чем с ним и разговоры вести. Да разговоры сами придут, чего разговоров бояться.

Наверно, девки его попутали. Ой, ведь до девок-то Митька и сам не свой. Павла Ивановна вспомнила о фотографиях, забытых племянником в прошлый приезд. Достала их, подотошнее рассмотрела девок. Не простые колхозницы. Наверно, березовские учителя. И подумала, что Вера, пожалуй, знает их, и спрятала фотографии с глаз подальше.

— Ой, собака, я уж тебе жару задам...

Она решила завтра же сбежать в Березовку.

## 9

С утра пораньше Павла Ивановна истопила печь, наказала Вере, чем корову кормить, в каких чугунах приготовлено пойло, и отправилась к Митьке, заявив квартирантке, что пошла на базар.

В небе еще не растаял месяц. Он висел рожками вниз и предвещал приближение тепла. Судя по всем приметам, весна будет спорая. Вон и сосулек под крышами почти не видать, а чем короче сосульки, тем быстрее весна. И лошади у конюшни ложатся в снег — тепло обещают. И сороки летают парами. Через неделю, смотришь, падет дорога. Тогда уж Митьку в Раменье не затащить на аркане. Вот борона безмозглая. И чего надумал теперь? Наверно, какая-то из тех востроглазых, фотографиями которых хвастался Митька, не отпускает его от себя. Глаза-то у ведьм по тарелке: как заглянешь в них, так и утонешь. На такие глаза редкий мужик не качнется. А Вера — девушка неприметная. Вот из таких неприметных жены-то хорошими и бывают. Уж вернее их не найти.

Павла Ивановна первым делом думала заглянуть к сестре Марфиде. Хотела выпросить у нее про Митьку, узнать, чего он рассказывал про сватовство. Да как дошла до мастерских Сельхозтехники, где работал племянник, ноги сами свернули с тракта и повели к длинным кирпичным постройкам.

Митька сидел на лавочке у ворот, в подшитых валенках, положив ногу на ногу. Дратва на подошвах сносилась, потеряла вар и издали выделялась белыми строчками.

Митька увидел Павлу Ивановну и закричал:

— О, явление Христа народу! — Он подтянул под скамейку ноги, подвинулся на край, освобождая место для тетки.

— Я тебе сейчас покажу явление, — пригрозила Павла Ивановна и подняла у ворот веник-голик.

— Ивановна, — Митька повалился на скамью, прикрывая себя ногами — на случай, если тетка пустит в ход веник, — работы было невпроворот. Всю гулянку из-за этого запустил.

— Собака ты, собака, — срамила его Ивановна. — По всему Раменью как пожар горит: «Митька свататься приезжал» — а он и глаз не кажет. Каково девке с такой-то славой?

Павла Ивановна отбросила веник, Митька сел прямо и заявил:

— Я тебе, Ивановна, правду скажу: передумал.

— Это как же так — передумал? Ты как завертушка у меня не крутись.

— Она, Ивановна, образованная, а у меня семь классов всего.

— Вот и хорошо, что она образованная: и тебя, дурака, наставит на ум.

— Нет, Ивановна, я наставлений-то не терплю. Вот у Коли Ванечкина жена учительница, так он говорит, рта при ней не смею открыть. Нет, Ивановна, уж если

рубить, так по себе рубить надо. Нам образованные ни к чему. Мы и сами с усами.

— А за кого образованных-то тогда? — зло спросила Павла Ивановна. — Они что, не такие же бабы, как мы? Образование-то им что, в кару придумано? Да ты знаешь ли, какая девка-то Вера? Ты ведь мизинца ее не стоишь.

— Ее не стою, так стою другой, — отрезал Митька. И Павла Ивановна снова подумала, что это те глазастые сводят с ума племянника, и все, что он сейчас говорит, одни отговорки. Теперь сплошь да рядом деревенские женятся на учителях, на агрономах, на зоотехниках. И те, с фотокарточек, тоже ведь не колхозницы, пусть племянник тетке зубы не заговаривает — не на такую напал.

— Ой, Митька, ты этим девкам не верь, — предупредила Павла Ивановна и головой покачала, жалея племянника. — Они, по глазам по их вижу, прострелки.

— Каким этим девкам?

— Ну, фотокарточки-то показывал мне. Или пьяный был, так забыл?

— Да у меня и кроме этих не пересчитать, — отмахнулся Митька и решительно встал. — Я тебе, Ивановна, прямо скажу: квартирантка твоя не очень. — Он высокомерно поморщился. — У меня покрасившесть.

— Митька, — ужаснулась Ивановна. — Да с лица-то не воду пить.

И решила, уверилась твердо, что те прострелки встали у племянника на пути, не дают проходу.

— Я тебя последний раз спрашиваю, — строго сказала Павла Ивановна. — Чего надумал?

— А чего надумал, — замялся Митька. — Не могу я так, с бухты-баракты... Без любви какая женьитьба?

Он оправдывался перед Павлой Ивановной, что ес-

ли б с Колей Ванечкиным они не пили да не бились бы об заклад, так у него и на ум не пришло ехать свататься.

— Ты спьяну-то и на Окуле Вахрушиной женишься. Ивановна, не прощаясь, зашагала тропкой на проселочный тракт.

Митька крикнул ей что-то вдогонку. Не повернулась. Вышла на утоптанную дорогу и, не заходя в Березовку, повернула обратно в Раменье.

Парами летали сороки. Сулили тепло. И средь белого дня все еще висел над снегами месяц, нацелясь рожками вниз.

## 10

Манюня повадилась ходить к Вере каждый день. Придет, посидит у стола, посмотрит на Веру и, как ближайшей подруге, скажет:

— Ну, мы ведь сами отказались от них. Не они нас бросили, мы их, — и вымученно улыбнется.

Вере было жалко Манюню, и она старалась ей ни в чем не перечить.

— Ты, Маня, о своем прапорщике не горюй, с таким лучше не связываться.

— На письмо мое не ответил, — вздыхала Манюня, вся уходя в себя и не слушая, что говорит ей Вера. — Хоть бы написал три слова, что прости, мол, меня за обман. И строки единой не нацарапал... Как и не было ничего.

— Да брось ты убиваться о нем, — попросила Вера, не зная, как избавиться от этого непрерывного плача. — Давай-ка лучше пол вымоем, пока Павла Ивановна на базар ходит.

Вера приготовила таз с теплой водой, принесла из сеней веник-голик и тряпки. Начали с горницы. Вдвоем



они быстро намочили пол, посыпали дресвой. Манюня натирала веником половицы. Вера сводила грязь.

К возвращению Павлы Ивановны все было закончено, половицы, подсыхая, блестели яичным желтком. Вера протерла пыль с лавок. И затихла у комода, где в стеклянной банке стояла верба. Она уже отцвела, сережки осыпались с веток, окрошив ноготки бурых кожурок. И отчего-то сжалось у Веры сердце, судорожный комок возник в горле. Не хотелось выбрасывать отцветший в неволе букет. Она оставила голые прутья в банке, смела сережки в ладонь и, зажав их, присела к комоду. Болело сердце.

Манюня разостлала у порога тряпку и подсела к Вере:

— Хоть бы три слова всего написал, хоть бы попрощался в письме, а то ни словечка...

Она ушла домой вконец расстроенной, и мытье полов не отвлекло ее от тяжелых дум. Заладила о своем Володе — и удержижу нет. Хоть садись вместе с ней и реви. Вера и то уж подстраивалась под нее, поддакивала чуть не всему, что говорила Манюня, хотя не всегда и слышала, что та сказала. Думала о своем, о том, что быстрее бы начиналось лето. Хоть на два месяца уехала бы от стонов Манюни, от разговоров о женихах. А может, и насовсем.

Правда, жалко оставлять ребяташек, она к ним привыкла, они — к ней. Но ведь все забывается. Они забудут ее, она их забудет. Только разве бывает так? Люди всю жизнь держат в памяти своих первых учителей. А учителю и во сне снятся его первые школьники. Но ведь все равно не оставаться же в Раменье навсегда? Может, Вера потому и не стонет, как стонет Манюня, что у нее есть надежда уехать?

Вера оделась, взяла ведра и отправилась к колодезю. До возвращения Павлы Ивановны надо было управиться по хозяйству.

Павла Ивановна заявила с базара к вечеру. Щеки с морозу походили у нее на одрябшие красные яблоки. Она все время отворачивалась от Веры, не смотрела в глаза.

— Ну и базар нынче, три бабы горшками торгуют — ничегошеньки нет.

Она ушла на кухню и оттуда стала нахваливаться Веру, что вот какая хорошая у нее домовница: и корову уладила, и дров наготовила, и пол вымыла, и воды наносила. Но Вера не слышала в ее похвале обычной присказки о женихе. Раньше, бывало, Павла Ивановна все сводила на жениха: такой-то девушке да суженого-ряженого под стать бы. А сегодня молчала, и Вера поняла, что у Павлы Ивановны вышел какой-то нескладный разговор с племянником. Она покраснела, представив этот разговор: еще, чего доброго, подумает Митька, будто Вера подсылала к нему Ивановну. Этого только и не хватало.

Павла Ивановна не выходила из кухни. И Вера надумала сбежать к Манюне. Та только что ушла от нее, какой-нибудь час назад. Да больше-то идти в Раменье не к кому.

— Нет, давай пообедаем вместе, — удержала ее Ивановна.

Собрала на стол. Поставила недопитую со времен сватовства бутылку и подмигнула Вере невесело:

— Давай помалешечку.

— Да ведь голова у тебя заболит.

— Ничего, помалешечку. Мы ведь не напиваться. — Она суетилась, угодничала, подкладывала Вере в тарелку мясо, подвигала поближе к ней пироги. — Ну, давай. Василию Пегровичу сегодня у меня именины.

Вера видела, что про Василия Петровича Ивановна придумала на ходу.

Выпили за Василия Петровича. Павла Ивановна, как и на сватовстве, затрясла головой, замахала руками. И Вера, заткнув пробкой бутылку, отставила ее подалше.

Павла Ивановна поговорила о погоде, о том, что весна будет спорая, что летом в Раменье как в раю — все-то кругом зеленеет, птички щебечут. Отпускиников понаедет.

Вера сказала, что на лето отправится домой.

— Ну и поезжай, поживи у мамки. Она ведь старая у тебя, — согласилась Павла Ивановна и замолчала.

Пообедали, со стола убрали, посуду вымыли. Павла Ивановна порылась в комод, достала фотографии:

— Вер, ты этих девок не знаешь? Вот валяются у меня. Думаю, что за девки? Может, учительницы знакомые...

И по этой наигранной бесхитростности Вера догадалась, что и тут что-то связано с Митькой, и от этого сделалось ей смешно.

— Этих девок, Ивановна, вся страна знает. Артистки они, в кино снимаются.

Ивановна стусевалась.

— Ну а я думаю, что за девки. — Она ушла на кухню, оставив на комод открытки, и заворчала там на кота, что лежит, увалень, целый день, а мыши прямо под носом у него бегают. Сбросила, видно, кота с шестка. Он мякнул, запрыгнул на печь.

## 12

Снился Вере очень уж непонятный сон. Будто бы куда-то она опаздывает. И очень уж намного опаздывает. И это давит ее. Она вся в поту. Чемоданы у нее давно собраны — взять да уехать. А она ищет чего-то и не может никак найти. Не может вспомнить даже,

что она ищет. Торопится. Хватает все подряд — и все не то.

Так и уезжает ни с чем. И томит ее ощущение, что поехала она именно без того, без чего нельзя ехать, из-за чего придется вернуться. Спрашивает себя: так зачем же она в таком случае уезжает?

И ответить не может.

### 13

Перед каникулами Вера задерживалась в школе до вечера. Проводила дополнительные занятия с отстающими, проверяла у них тетради. А ребята, скучая, склонялись над партами, и, если вдруг по большаку проходил трактор, все, как по команде, поворачивали головы к окнам и, тоскуя, смотрели, как трактор уходит.

Снег давно сгорел, и только в затайках, упрятанных от солнечного луча, спаялся ноздреватым льдом, почернел. Вдоль канав легла протопь, и ребята бегали в школу уже босиком. Вот сейчас они ждали, когда Вера отпустит их и когда можно будет по прогретой солнышком тропке пуститься наперегонки.

Под печкой трещал сверчок, готовил к лету свой посвежевший голос. И Вера вся жила ожиданием лета, ощущением беспечной свободы. Она не знала еще, не прикидывала, как и где проведет каникулы. Она словно через туман шла к этим каникулам. Сначала съездит домой, а потом будет видно.

Дверь вдруг скрипнула, приоткрылась. Павла Ивановна пальцем подзывала Веру к себе. «Уж не Митька ли?» — испугалась Вера. О Митьке она боялась и думать. Ей иногда приходила в голову мысль, что, может, она недостойна племянника Павлы Ивановны, что, может, поэтому судьба и разводит их, что, может, Вере, как и хозяйке, суждено жить одной. Ведь сколько сре-

ди сельских учительниц одиночек. Их женихи не приехали к ним, и они, не дождавшись, тихо состарились в своих Раменьях. Ну и что, если мир пополнится еще одной старой девой?

Вера испуганно смотрела на Павлу Ивановну: хозяйка не прибежала бы просто так, от нечего делать, в школу. Видно, была причина.

Павла Ивановна вывела Веру в коридор, спросила шепотом:

— Знаешь ли новость-то? — И, не дожидаясь ответа, выпалила: — Инженер едет в колхоз работать. Молодой, неженатой.

Она стояла и улыбалась.



## ВЕЗДЕ ХОРОШО

---

### 1

Мотоцикл с ревом выскочил из-за поворота, и куры, гревшиеся в пыли, суматошно бросились через дорогу, едва не угодив под колеса.

«Куриц-то передавишь!» — хотела крикнуть Татьяна, но Петька, не останавливаясь у киоска, помахал ей рукой:

— Привет работникам связи!

За спиной у Петьки сидела Тамарка Братушева. Косынка у нее съехала на шею, платье вырывалось из руки и оголяло ноги. На ухабах Тамарка притворно взвизгивала, а Петька, не оглядываясь, прибавлял газу. Пыль желтым сеевом колыхалась за ними.

«Ну, заяц-хваста, — подумала Татьяна о Петьке и закрыла окошечко киоска, потому что на зубах у нее уже стал поскрипывать песок. — Ну, барахло. Надо же:

по Первомайской не поехал на мост, а крюку дал, чтобы промелькнуть с Тamarкой». Да ведь Татьяне от этого ни жарко ни холодно. Вози хоть кого.

Время было закрывать киоск, но Татьяна медлила. Набившиеся в темноту комары льнули к ногам. Татьяна махала внизу газетой, выгоняя их на свет, а они, гундося, жались к углам или взмывали под потолок, невидимые.

Татьяна издали услышала голос Бойправа. Секретарь райкома комсомола шел по дощатому тротуару вместе с командированным. Он размахивал руками и, как с трибуны, кричал на всю улицу:

— Да нет, Юра, ты не прав. Я ж тебе по каждой организации наперечет расскажу, где какая база роста у нас. Давай на спор. По фамилиям буду называть несоюзную молодежь, а ты потом проверяй. Если ошибусь где, снимайте меня с работы за плохое знание действительности.

Командированный насмешливо настаивал на своем, и Бойправ горячился еще больше:

— Ну что за Фома неверующий... Я же тебе не рожу молодежь... Нету ее, поэтому с минусом и идем по приему.

Они почти поравнялись с киоском. И Таня, боясь, что Бойправ и командированный пройдут, не заметив ее, выскочила за дверь навешивать на окна решетки.

— Тебе помочь, Макарова? — спросил Бойправ, придерживая шаг.

— Да нет, уже все, — сказала Татьяна. — Здравствуйте, Сергей Павлович, — кивнула она секретарю райкома и, украдкой глянув на командированного, нерешительно кивнула и ему. — Здравствуйте.

Командированный жил в гостинице шестой день. Он приехал в Березовку в четверг, и каждое утро Бойправ приходил за ним, а после работы провожал до крыльца, как девушку.

Командированный покупал в киоске газеты — сразу целую кипу, и Татьяна втайне дивилась, когда же он успеваеет их прочитать. Это же надо сутками слепнуть над ними, а у него ведь какая-то и другая работа есть.

— Макарова, — обратился Бойправ к Татьяне. — Ну, вот скажи ты Юрию Ивановичу, кто у вас на почте несоюзная молодежь?

— Все — союзная, Сергей Павлович, — упавшим голосом ответила она. Ей показалось, что командированный посмотрел на искусанные комарами ноги.

— Ну что, Юра, чья взяла? — воспрянул Бойправ. — Любого встречного спрашивай, с моими данными не разойдется. Ты знаешь, — он посмотрел на Татьяну, не решаясь, говорить ли при ней, но изнутри его распирает смех, и Бойправ, не сдержавшись, расхохотался на всю улицу, — тут про меня даже стихи сочинили по этому поводу. Ну-ка, Макарова, расскажи, я вместе с Юрием Ивановичем еще раз послушаю.

— Да я не знаю, Сергей Павлович, никаких стихов, — потупившись, сказала Татьяна и с ужасом увидела у себя на левой ноге кровавое пятно.

— Брось, брось, не хитри, — погрозил Бойправ пальцем. — Рассказывай, а то на бюро вызову да выговору влеплю.

Он все еще не мог смирить в себе смех и держался за живот, будто это помогало ему успокоиться.

— Ох, хитрецы, в глаза не смеют, а по-за глаза без перерыва трясут, даже бюро провожу — икается. Ну давай, я начну, а ты, Макарова, продолжай. — Он оглянулся, не идет ли кто сзади, и шепотом прочитал первые строчки. — «Бойправ был прав, что главные вопросы...» Ну, ну? А дальше? — вынуждал он Татьяну настраиваться на веселый лад.



Таня, скрестив ноги, закрыла комариный укус.

Бойправ нетерпеливо смотрел на нее:

— Ну, ну, Макарова, помогай... — Он повторил строчку, на которой оборвал чтение. — «Что главные вопросы...», — и, не дождавшись Татьяны, закончил сам, — «что главные вопросы — рост и взносы. Без роста мы малы, без взносов мы бедны». Ведь так, Макарова?

— Ну, Сергей Павлович, вы ж, наверное, на ходу сочинили.

— Макарова! — Бойправ опять погрозил ей пальцем. — Прикуси язык!

Командированный, видно, оттаял, смеялся вместе с Бойправом, и Бойправ, взяв его под руку, повел в гостиницу.

Таня закрыла на замок дверь и нерешительно замялась у киоска: идти домой не хотелось.

Бойправ и командированный стояли у окна в коридоре. Видно, дежурная не вернулась из магазина, и ключи от номеров были закрыты в столе.

Таня, спрятавшись за киоск, смыла слюной комариный укус и, сама не сознавая, зачем она это делает, пошла в гостиницу. В коридоре, у лестницы на второй этаж, приткнулась к стене телефонная будка.

— Извините, — покраснела Таня. — У вас нет двухкопеечной монеты? — и, будто оправдываясь за неловкую просьбу, показала кивком на телефон-автомат. — Мне бы в швейную мастерскую позвонить... Тамаре Братушевой... Неохота одной до дому идти...

— Братушевой? — спросил Бойправ. — Так ее же Петька-печатник на мотоцикле увез... Ох, где мои семнадцать лет? — Он огорченно покачал головой. — Я б тебя, Макарова, каждый вечер до четырех часов утра провожал.

— А почему не дольше, Сергей Павлович? — засмеялась Таня.

— Потому что дурак, — ответил Бойправ. — Был бы умный, так и после четырех такую девку не отпускал.

Он подмигнул командированному.

Юрий Иванович нахмурился. Но морщинки на его лбу были какие-то неустойчивые, подрагивающие, будто Юрий Иванович нагонял на себя показную строгость. Он, видимо, и сам почувствовал это и нахмурился еще сильнее.

— Ну так, Сергей Павлович, я пойду, — забеспокоилась Таня, а сама как незримыми гвоздями была приколочена к полу. Юрий Иванович, показалось ей, не хотел, чтобы она уходила — брови у него расправились, морщины на лбу истаяли. — Вы сегодня газеты забыли взять, — напомнила ему Таня.

Он растерянно улыбнулся:

— Да вот закрутился. По колхозам сегодня ездили.

— Если хотите, я вам принесу, — предложила Таня.

— Ну что вы, из-за меня киоск открывать...

— Откроем, рванулась к двери Татьяна. Какие газеты покупает командированный, она уже знала, и пачка заранее была отложена у нее под прилавком. Волнуясь, Татьяна сунула ее под мышку и снова закрыла киоск.

— Вот. — Таня, смущаясь, подала газеты.

— Сколько с меня? — спросил командированный, не встречаясь с нею глазами.

— Как всегда.

Он насупился, вспоминая, видно, сколько платил раньше, но не вспомнил.

Таня улыбнулась:

— Семнадцать копеек.

— Да, да, семнадцать, — заторопился он. — Пожа-луйста.

Таня опять замешкалась.

— Ну так, Сергей Павлович, я пойду...

Бойправ встрепенулся:

— Юрий Иванович! Да я б на твоём месте... — Командированный смущенно поправлял лацкан, и Бойправ повернулся к Татьяне. — Макарова, я тебе сейчас такого провожатого выхлопочу, что ты всю жизнь в Березовке проживешь, а такого больше не будет. Чего тебе Братушеву вызванивать.

— Ну, Сергей Павлович, вы и сочинитель какой, — зарделась Татьяна и побежала к выходу. У дверей она обернулась. Ей показалось, что командированный смотрел на нее пристально.

## 2

Татьяна жила в Красавине, в маленькой деревушке, разбросавшей свои дома по обрывистому берегу Шарженьги. От Березовки туда лугами была натоптана тропка. Она упиралась своим дальним концом под баню Тамарки Братушевой и вздымалась в угор вдоль покосившейся изгороди.

Луга были широкие, заливные, и веснами, когда река поднималась из берегов, красавинцам приходилось бегать домой через Осиново — крюк километра на полтора. Прямой-то ходьбы на сорок минут, а на окружку и за час не успеешь.

Татьяна шла не спеша. Луга зеленели второй отавой. Кое-где скосили и сложили осенчуг в копны. Татьяне хотелось, как маленькой, распластать руки и зарыться лицом в увядающую в копнах траву, но она боялась зазеленить платье. Это платье Татьяна сшила недавно, а зауживала только вчера, чтобы можно было в нем себя чувствовать всю. А то идешь в широком-то, как в балахоне, и бедра не стягивает.

Вот уж мать-старуха поохала:

— Если по шву разъедется, голая домой побежишь?

— Уж лучше голая, чем не по моде.

Мать плевалась:

— Вертихвостки вы, больше никто.

А перед кем им быть вертихвостками-то? На всю Березовку два неженатых парня осталось — Петька-печатник да комбайнер Толя Чигарев. Остальные-то все малолетки. «Недопарыши», как их зло окрестила Тамарка Братушева. Не перед ними же, недопарышами, выхваляться нарядами. Да перед ними и крутись — не поймут ничего: от горшка два вершка... Ровесники-то Татьяны поужезжали из Березовки кто куда: рыба ищет где глубже... И недопарыши — закончат десятилетку — махнут в институты да на ударные стройки. А Татьяне, может, придется проторчать в этом проклятом киоске всю молодость: выглядывай, знай, из окошечка, смотри, кто пропылил по дороге, кто приехал в гостиницу. Да-а, одна отрада в том, что киоск рядом с гостиницей. Все-таки, когда командированные бросали на тебя восхищенные — а они именно восхищенные — взгляды, у нее радостью перехватывало дыхание, и она невольно начинала прихорашиваться: поправлять волосы, одергивать платье...

Приезд Юрия Ивановича совсем вывел ее из себя. И ведь парень полунамека даже не сделал, что она ему нравится, — поздоровается смущенно, купит газеты и уйдет, ни разу не оглянувшись, — а вот подсказывало сердце, что он, как выразилась бы Тамарка Братушева, положил на Татьяну глаз.

Татьяна покрутилась перед зеркалом и осталась очень довольна собой, своей фигурой. С Тамаркой Братушевой они одногодки, Татьяна с ней и равняться не станет. Тамарку разнесло, как сорокалетнюю женщину, а у Татьяны талия, как у киноактрисы, — глаз не оторвешь, если начнешь смотреть в зеркало.

Татьяна обула лакированные туфли, и мать опять ее укорила:

— Ты куда это вырядилась?

— На работу.

— Смотри, с твоей зарплатой быстро профукаешься... На работу она в новых туфлях пойдет...

— Да у нас сегодня собрание, — соврала Татьяна.

— У вас каждый день собрания да заседания, — проворчала мать, но больше оговаривать ее не стала. Только внимательно посмотрела на дочь и добавила: — Ты сегодня, Танька, как пьяная.

— Ну если у тебя в кадке вино припасено, так пьяная, два ковша воды выпила, — смеясь, осадила ее Татьяна, и мать замолчала.

А Татьяна и вправду была как пьяная, ее тянуло попрыгать на одной ноге, но она опасалась, что платье расползется по шву, смиряла прыть, ходила по избе плавно и вслушивалась в свою походку. От волос струился запах болгарских духов, которыми Татьяна незаметно от матери sprыснула голову.

Татьяна духами раньше почти не пользовалась, стояли в шкафу на всякий случай, а тут переложила флакончик в сумочку и унесла с собой.

«Ну, не дура ли... — корила она себя. — Вырядилась как идиотка, а ради чего».

Весь день ее томило смутное беспокойство. И даже сейчас, когда она шла лугами, когда ждать было нечего, шемящее чувство наступающей перемены в судьбе не оставляло ее. Ей чудились сзади шаги, Татьяна невольно оглядывалась. Но луга были по-осеннему безлюдны, тихи. И только выцветшие за лето пепельно-серые скворцы носились шумными стаями, то опускаясь на выбритые косцами прогалы, то взмывая суматошными косяками к небу, где верховой ветер опрокидывал их и прижимал снова к земле. Скворцы готовились к дальнему перелету.

«Ну, не дура ли, — повторила она укор в свой ад-

рес. — Просидела весь день как на иголках, да и теперь оглядываюсь. Ох, дура».

Татьяна ускорила шаг и неожиданно для себя подумала, что оставшиеся в гостинице Юрий Иванович и Бойправ сейчас, наверное, говорят о ней. Лицо у нее полыхало жаром: «Ой, Бойправ ведь такой приметливый, от его взгляда не ускользнет ничего».

Бойправ сразу, конечно, обратил внимание, что Татьяна как на свидание пришла: и платье-то на ней новое, в обтяжечку сшито, и туфли модные, на толстом, высоком каблуке.

У Татьяны от испуга, что Бойправ разгадал ее, сжалось сердце, и она вообразила, как он тычет Юрия Ивановича в бок: «Ну, чего растерялся? Девка-то, видишь, навстречу тебе рванулась».

Татьяна не могла представить, что отвечал ему Юрий Иванович, но голос Бойправа слышала как наяву: «Да ты чего мнешься? Беги догоняй! Она же ради тебя полфлакончика духов на себя выплеснула. Вон в гостинице-то после нее и то как в женской парикмахерской пахнет».

Вчера командированный, покупая газеты, задержался у киоска дольше обычного, облокотился о столик и задумчиво протянул:

— Хорошо здесь у вас...

— А чего хорошего-то? — поинтересовалась Татьяна.

Он смутился. Видно, говорил эти слова для себя, а не для нее. И напрасно Татьяна подумала, что он пытается завязать знакомство. Просто задумался человек...

— Чего хорошего? — переспросил он. — Да как-то уж очень размеренно жизнь идет... Будто и забот у людей нет никаких, никто никуда не торопится...

— Как это не торопится? — не поверила Татьяна. —

Тут с зарей встают и с зарей ложатся — и не успевают всех дел переделать.

Командированный задумался.

— Да, конечно... Я знаю, — согласился он, а сам тут же и возразил: — Но как-то размеренно все идет. Люди знают, что делают... Так бы и переехал к вам.

— Милости просим, — засмеялась Татьяна.

Он печально покачал головой, свернул газеты в рулончик и торопливо попрощался.

Татьяна весь вечер и весь сегодняшний день продумала над его словами и поняла только одно, что чего-то командированному не нравится дома. А чего? Неужели и в самом деле здесь лучше? Вот уж Татьяна этого никогда б не сказала. Да она б с закрытыми глазами куда хочешь уехала, только бы не оставаться в этой дыре.

Тропка изгибом спустилась к лаве — двум широким протесанным горбылям, переброшенным через реку. Внизу под лавой вода отглаживала камешник, бурлила у зазеленившихся валунов. Татьяна, опершись о перила, взгляделась в дно. Казалось, оно было рядом и реку можно перейти бродом, не замочив коленей, но Татьяна знала, что светлая вода скрадывает глубину. На быстрине боролась с течением серебристая стая мальков. Татьяна махнула рукой, и стая, рассыпавшись, отступила вниз к омуту. На его тихой глади иногда всплескивала крупная рыба, и круги после нее долго не утихали, плавно разрастаясь и бесшумно истаявая в прибрежной осоке.

— Тань! — услышала Татьяна голос с обрыва. Вверху стоял Петька-печатник. — Ты не купаться надумала?.. Смотри, вода очень холодная.

— Нет, — засмеялась она. — Рыбу ловлю... Тебе Тамарка разве не сказывала, что я здесь каждый вечер рыбачу?

— Ты Тamarкой-то меня зря попрекаешь, — уловил иронию Петька. — У нее Толя Чигарев есть.

— Наверно, на свиданье к Толе ее и возил? — съязвила Таня.

— А мне что, если и на свидание дак...

Татьяна поднялась по ступенькам, вделанным в берег, на обрыв. Петькин мотоцикл лежал на боку. Над баком, струясь, испарялся бензин, просочившийся из-под крышки.

— Садись, довезу. — Петька поставил мотоцикл.

— Я пешком дойду, — сказала Татьяна и пошла по тропке вдоль огородов.

Петька завел мотоцикл и на малых оборотах догнал Татьяну:

— Садись!

— Боюсь, Тамарка увидит.

Петька оперся ногами о землю, чтобы не опрокинулся мотоцикл, и все еще ждал Татьяну.

Лицо у него было веснушчатое, румяное, и даже когда Петька смущался, не заметишь, что он краснеет.

— Ну, чего привязался? — прикрикнула на него Татьяна. — Или вперед проезжай, или назад поворачивай. Не могу же я под твое урчанье идти, наедешь еще.

— Таня, да если не нравится, я мотор выключу. Я могу мотоцикл и за руль вести.

— Еще чего не хватало! Проезжай живее!

Петька вывернул на себя малый газ. Мотоцикл, отстреливаясь черным дымом, нехотя стронулся с места, медленно пополз по тропе. Петька, не давая ему извалиться, предостерегающе вытянул ноги и бороздил ботинками землю.

«На тебя, жениха, обутики не напасешься», — хотела съязвить Татьяна, да прикусила язык: с Петькой только начни заигрывать, так он репьем прильнет, не скоро и отдерешь.



Татьяна вышла на тропку. Дым из выхлопной трубы ударил ее по ногам, и она невольно отпрянула в сторону.

— Ты что, не соображаешь ничего? — прикрикнула она сердито.

Петька, будто не слышал ее, сидел на мотоцикле и и перебирал ногами по земле, как шел.

Татьяна выбралась из травы на тропку и, проскочив мимо него, торопливо побежала к деревне.

— Тань! — крикнул Петька вдогонку. — Сегодня танцы будут, приходи.

### 3

В избе было сумеречно, пахло кислыми щами, и этот запах, никогда не выветривавшийся и почти не замечаемый Татьяной раньше, вдруг подействовал на нее раздражающе.

— Мама, неужели нельзя было окна открыть? — спросила она. — Не зима, не замерзла бы...

— А чего такое? — не поняла старуха.

— Да ведь хорошего человека и пригласить стыдно. Мать скорбно поджала губы:

— Смотри ты, какая барыня стала. А ко мне хорошие люди и ходят, худых не бывает. А ей, вишь ли, в родном доме не нравится. Переходи во дворцы тогда. У тебя дворцов много.

Она ушла на кухню, загремела посудой, и сквозь этот звон до Татьяны долетали обрывочные слова:

— Раньше полный дом ребятишек... Маме слова поперек не говаривали... Вот замуж выйдешь...

Татьяна распахнула створки рамы, и занавеска, прогнувшись парусом, захлопала под напором рванувшегося в избу воздуха.

— Ну, теперь твоя душенька довольна? — спросила

мать. — Веди своего хорошего-то человека. И я хоть на него посмотрю, что за король такой.

— Мама! — прикрикнула на нее Татьяна.

— Не мамкай, я ведь не маленькая, разбираюсь к чему чего. — Она вприщур посмотрела на дочь и, покачив головой, подытожила свои подозрения: — А ведь и время уже... Раньше-то замуж выходили в семнадцать лет.

Татьяну захлестнуло жарким ознобом: «Да о чем она говорит? О каком замужестве?»

Она суетливо закрыла окно и, задернув шторы, включила свет. В освещенной избе ей показалось еще непригляднее.

Старомодный, черного дерева, комод, доставшийся матери от бабушки, усугублял и без того несовременную обстановку. Его давно пора было испилить на дрова, а он красовался на самом видном месте, отгораживая закуток, где спрятана от досужих глаз Татьяна панцирная, со светлыми набалдашниками кровать, каких не только в городе, а и у них в Березовке уже ни у кого не встретишь.

Татьяна в какой раз подумала, что надо бы все это менять, тем более деньги у матери были. Но разве мать можно переубедить? Скажет: сколько годов спала на железной кровати и еще поспишь, ничего с тобой не случится, да и кровать-то почти как новая.

Татьяна могла бы настоять на своем, но не ввязывалась в ссору, потому что не собиралась дома жить.

Мать принесла из кухни истомно попискивающий, излучающий жар самовар. В прорезанных в поддоне отверстиях красными углями желтела раскаленная изнутри труба.

— Садись, попьем чаю, — примиряюще предложила мать. Она по старой привычке всегда сперва пила чай и только потом ужинала.

Татьяна ушла помыть руки, а когда вернулась, мать

уже сидела за самоваром и тонким, просвечивающим слоем старательно намазывала на кусок масло.

— Мама, не ослепни смотри, — насмешливо предостерегла Татьяна.

— Чего не ослепни?

— Зрение, говорю, не испорти. Над куском колдуешь, как блоху ловишь.

Мать оскорбительно потупилась:

— Платье лучше бы переменила. А то в чем на праздник, в том и за стол.

— А я сейчас на танцы пойду. Вот Тамарка за мной заскочит — и побежим.

— Тамарка научит, таскайся за ней. — Мать испытующе посмотрела на нее.

— И чего ты ее невзлюбила? Девка как девка, не хуже других, — заступилась за Тамарку Татьяна. — Чего она такого и сделала? Толю-то Чигарева поменяла на Петьку-печатника... Эка невидаль...

— Давай молчи! — обозлилась мать. — А то вот кипятком и плесну в лицо!

Татьяна захохотала:

— А что, не правду разве сказала? Одного теленка на другого сменяла?

— Ты смотри, как заговаривали, — взмахнула руками мать. — Царевны выискались. Да вы обе с Тамаркой у Толи-то и мизинца не стоите.

— Так уж и не стоим, — подзадоривая, возразила Татьяна.

— Да ведь Толя за месяц больше зарабатывает, чем вы с Тамаркой за год.

— Не это главное.

— Вот-вот, не это... Петьку-печатника разорвать готовы! Что за дуры девки пошли?! Я вот старуха, а меня озолоти — и то его не возьму.

— Так, конечно, — захохотала Татьяна. — Еще бы ты взяла. Не много ли хочешь?

— Немного. С золотом впридачу и то не надо... Ну-ко, весь дом на мотоцикле профукал бы... Ой, не надо!

К Тамарке Братушевой раньше мать относилась не так. Бывали времена, когда Татьяне даже в пример ее ставила:

— Эта не затеряется, не пропадет. А ты-то в кого уродилась такая тихоня?

— Я тоже не пропаду, — отговаривалась Таня.

— Как же... Слово сказать боишься. Парень к тебе подойдет, а у тебя и языка нету.

— Мама! У тебя только и разговоров об этом! С рук меня хочешь сбить?

Мать будто не слышала, продолжала:

— Тамарка, видишь, какого хорошего ухватила парня! Так она ведь все с шуточкой. А ребята веселых любят.

— Это Толя-то Чигарев хороший парень? Молчун-то такой?

— А ну вас, не понимаете ничего. Парень и надо, чтобы не колоколец был, а серьезный.

Уж верно: серьезнее Толи трудно кого-то сыскать: не спросишь его ни о чем, так ничего и не скажет. Ну ладно бы, с девками только так, но и с ребятами немного наговорит: прикурить попросит и в сторону отойдет.

И как Тамарка его разговорила? Наверно, ей то помогло, что они вместе с Толей Чигаревым в Шарью уехали: он на комбайнера учиться, она — на портниху. В чужом-то месте землякам ведь не умолчать. Вот там она к нему и подъехала, а когда вернулись в Березовку, Толя уже, как мокрый теленок, за ее подолом таскался, каждый вечер прибегал на свидание.

Два года не отставал.

Татьяна вспомнила Тамаркин приезд из Шарьи.

Ох уж, какая она заявила гордая — и не узнать.

Бабы сначала посмеивались: «Из-за Толи. Рада — не рада, что ухватила его».

А нет, и не из-за Толи совсем. Тамарка на седьмом небе была оттого, что на швею выучилась. Свидетельство об окончании курсов Татьяне показывала, хвасталась: «Хоть какое платье сошью, любого фасону». И не врала, без выкроек обходилась даже. Увидит в журнале рисунок — и сразу сообразит, что к чему. Размеры снимет с тебя — и — раз, раз! — мелом набросает на материале чертеж и уже пошла орудовать ножницами. Татьяна платье шила себе, так обмирала от страха: испортит кримплен, где другой достанешь? А платье голучилось лучше не надо — в обтяжечку. Теперь и надевать его жалко — только б смотрела издали, как в музее.

А Петька, додумался тоже, на мотоцикле ее в этом платье хотел катать. Нет уж, вози Тамарку.

Татьяна представила, как Петька подвернул бы на своей тарактелке прямо под окна. Да у матери б глаза на лоб выскочили. Она с Тамаркой-то встретит его, так и то плюется. А увидела бы родную дочь с ним рядом — сердце не вытерпело бы. С Петьки и изменилось отношение матери к Тамарке Братушевой. Пока провожалась та с Толей Чигаревым, все примером была:

— Ой, разборчивая девка растет... А ты-то у меня в кого такая полоротая выдалась? Все одна да одна...

Татьяна сначала над ней смеялась, не брала ее слов близко к сердцу. А потом терпежу не стало от материна нытья.

— Мама, чтобы больше ни одного слова на эту тему! — строго-настрого предупреждала Татьяна.

— Вот уж дожили до чего, — обижалась мать. — Кто тебе правду-то скажет, кроме меня? Нет, ты уж от матери выслушай все.

— Уеду по комсомольской путевке на БАМ, вот и выговаривай тогда свою правду сама себе, — не в шутку пугала Татьяна.

— У тебя совести хватит. — Мать, проглотив невысказанные укоры, стихала до следующего раза, когда, по ее расчетам, дочь будет покладистой.

У Татьяны и в самом деле возникала мысль уехать куда глаза глядят. Да ведь мать-старуху не бросишь. Она и так всего натерпелась в жизни: проводила на войну жениха да так и не дождалась его, готовилась уж в старых девах век коротать, да слава богу подвернулся вдовец, за него тридцати восьми лет вышла замуж, но и не пожилы ничего, через четыре года умер Татьянин отец от вновь открывшихся ран. На кого теперь мать оставишь? Нет уж, поугатать еще можно, а оставлять не позволит совесть.

Мать, наверно, потому не всерьез и относилась к пристраживаниям дочери, что умела читать ее мысли, и время от времени возобновляла свои укоры.

Хорошо, Тамарка Братушева и не хотела — выручила. Она так резко отшатнулась от Толи Чигарева, что на Красавине другой темы для пересудов не стало — все Тамарка, Тамарка... И ведь на кого поменяла Толю — на Петьку-печатника.

Мать у Татьяны, узнав о новости, безостановочно воплескивала руками и охала:

— Ой, ой, ой... Чего делается-то...

Татьяна возликовала:

— Ну что, мама?

А матери и крыть нечем.

Петьку-печатника она ни в грош не ставила. Ну-ка, работает парень в типографии через день, сколько переделать можно другой работы. А он как угорелый носится по Березовке на мотоцикле, только бензин изводит. И ведь ладно бы — нечего было делать. А то в доме крыша как решето, дождь пойдет, так Варвара,

Петькина мать, под протеки чугуны по всей избе расставляет. У Петьки же и душа не болит, никакой заботушки. Мать дрова и то без него готовит. В сенокос ни за вилы, ни за косу не брался, Варвара как хочешь сено запасай для коровы на зиму.

Да как Тамарка-то осмелилась переметнуться к нему, лоботрясу?

4

Голос радиолы долетал до Красавина наплывами: то, казалось Татьяне, репродуктор включали на ближайшем телеграфном столбе, прямо у нее в огороде, то вдруг выключали его, и веселая танцевальная мелодия отодвигалась далеко за Березовку, откуда, приглушенная расстоянием, звучала еще зазывчивей.

— Ну, готова ай нет? — торопила Тамарка. — Пробираемся и потанцевать не успеем.

Она стояла под окнами, не заходила в избу, и Татьяна нервничала от этого: если б Тамарка зашла, можно было бы причесаться спокойнее, а тут как обрезана временем, как на пожар зовут.

Было уже промозгло, предстоящая ночь обещала росу. Над рекой рваными лоскутами вздымался молочный туман.

Татьяна поежилась от сырости и втянула руки в рукава кофты.

— А ты что, и кофты с собой не взяла? — спросила она у Тамарки.

— На танцы иду, так или уж некому будет погреть? — засмеялась Тамарка.

— А если Петька не явится? — поняла ее намек Таня.

— Другого грельщика подыщу.

Тамарка вышагивала пружинисто, задорно и, когда музыка, наплывавшая из лугов, становилась явствен-

ной, вскидывала руки и, подыгрывая губами мелодии, начинала, кружась, пританцовывать.

— Да ты хоть до площадки-то пыл сохрани.

— Ты за меня не беспокойся, — беспричинно хохотала Тамарка. — Я кого хочешь перепляшу. А когда в Шарье на курсах училась, — начинала она вспоминать, — так вот уж на танцы-то побегала, ни одного дня не пропустила.

— Толя-то Чигарев как выдерживал такую нагрузку?

— Да ведь ему что? Танцевал-то не он, а я. Он как в охранниках у меня служил. Где-нибудь прижмется к стене, а сам, чувствую, и глаз не отводит, так всю насквозь и просверливает.

— Ревновал, наверно? — любопытствовала Татьяна.

— Ой, да, конечно, — самодовольно протянула Тамарка. — Ну-ка, мне ведь и передохнуть не давали парни: то один приглашает, то другой. До того устану, в общежитие иду — и язык на плече. Толя меня чуть на руках не несет. — В голосе у нее появилась незнакомая для Татьяны дрожь. — Да-а, были времена...

Тамарка сбавила шаг и перестала размахивать руками.

— Д-а, бы-ы-ли-и, — опять протянула она и, задумавшись, долго молчала.

Потом уже, когда спустились к реке и перебрались по лаве на другой берег Шарженьги, ни с того ни с сего Тамарка сказала:

— А ни разу не укорил... Ну так ведь, конечно, сам не танцует, приходилось молчать...

Татьяну подмывало спросить, отчего же Тамарка сделала Толе от ворот поворот. Но уж очень нехорошее говорили про нее и про Петьку бабы, и Татьяна прикусила язык: она не следователь, чего в чужие дела вступать...



Тропка виляла среди намокшей травы, роса обжигала девкам ноги, и они, опасаясь за платья, поднимали подолы и вышагивали как журавлихи.

— Надо было в окружку идти, — вздохнула Татьяна, — а то все туфли испортим.

Тамарка неожиданно оживилась:

— А ведь Петька предлагал на мотоцикле за мной приехать. Я, дура, не согласилась. Сейчас бы и тебя уфыкнул до парка.

— Да нет, — возразила Татьяна, — я на мотоцикле ездить боюсь, а с Петькой тем более ни за что не сяду.

— Это почему же? — насторожилась Тамарка.

— Гоняет — и дороги не видит, — слукавила Татьяна. — Ну-ка в канаву влетит, и маму не успеешь позвать.

Тамарка захохотала.

— А и верно, — подтвердила она сквозь смех, — как на крыльях летает. Ничего не боится.

Она уже стряхнула с себя задумчивость, козой подпрыгивала по тропе, и Татьяна дивилась быстрой перемене в ее настроении. Давно ли чуть слезы на кулак не наматывала, а уже готова песни запеть. У Татьяны — и хотела бы — так не выходит. Поговорила вот сегодня с матерью наперекосяк, и что-то неотступно грызет сердце. Может, оно разболелось и не от ругани, кто его знает.

Тропинка спустилась в заросшее осокой староречье, выскочила на взлобок и теперь уже пошла все в гору и в гору. Из парка стало слышно не только музыку, но и взвизгивание девок.

«Школьники, наверно, одни», — догадалась Татьяна и укорила себя, что зря побежала на танцы. Летом, когда в Березовку наезжало полно отпускников и студентов, и то редко ходила в парк, а тут как бес под ребро подтолкнул, собралась да и покатила с Тамаркой.

Где-то рядом неожиданно резко и беспокояще за-

кричал коростель. Его скрипучий, намокший в тумане голос ржavo вклинивался в доносимую ветром музыку.

Татьяна остановилась, взглядываясь в осоку, в которой коростель прятался. Ее почему-то тревожили его оглушающие сварливые вскрики. Она воспринимала их сегодня так, будто коростель хотел предупредить ее о надвигающейся беде.

Чтобы Тамарка, вырвавшаяся вперед, не стала спрашивать, почему Татьяна отстала, она сняла туфли и ойкнула от пронзившего ноги холода.

— Ты чего? — обернулась Тамарка и, увидев Татьяну босой, снова захохотала. — Нет, я обратно ни за что пешком не пойду. Пусть везет...

Она подождала Татьяну и доверительно сообщила:

— Замуж зовет.

— Да ну? — не поверила Татьяна, ведь всего два часа назад Петька подкарауливал у обрыва ее, Татьяну, и предлагал довести до дому. — Ой, Тамарка, смотри не доверяйся ему.

— А чего не доверяйся? Это он пусть не довернется мне. Я и не таких в бараний рог скручивала. А уж на него-то найду управу. Еще какой покладистый будет муж.

— Да ты никак уж решилась? — изумилась Татьяна. — Ой, тогда уж лучше было за Толю Чигарева идти.

— За Толю Чигарева, — передразнила Тамарка и враз осеклась, отвернулась от Татьяны и крупно завывала в гору.

Перед Березовкой тропка раздваивалась, Тамарка свернула вправо. Музыка была уже совсем рядом, за деревьями. Становилось слышным и шарканье ног на танцевальной площадке, и тихие разговоры, и взвизгивающий смех.

«Школьники, школьники, видно, одни, — укрепились

в своей догадке Татьяна. — А мы-то куда поперлись?» Она остановилась у развилки и крикнула:

— Тамар! Давай через киоск пройдем.

— Ну-у, зачем такой крюк делать? — удивилась Тамарка. — Мы и так на сколь опоздали...

— Да ведь успеем натанцеваться...

Тамарка, пожав плечами, вернулась к развилке.

— А чего ты в своем киоске оставила?

Татьяна не нашлась, что ответить, покрутила туфли в руках, попереминалась, а Тамарка сама же и подсказала ей:

— Что, ноги обтереть нечем?

— Ну да, — обрадовала Татьяна. — У меня там тряпка лежит... А то ведь, не обтерев-то, набью мозолей...

Они повернули влево. Тропка вывела их на дощатый тротуар. Доски еще сохраняли в себе солнечное тепло и ласкали подошвы ног. Татьяна оглянулась: на половичках оставались темные отпечатки ступней.

«Следы снежного человека», — усмехнулась она и стыдливо поозиралась. Встретятся знакомые люди, скажут: «Что это Макарова-то с ума сошла, босиком бегаёт по Березовке».

Но в поселке было по-вечернему тихо. Только из парка через крыши домов долетала музыка. И с берез, вытянувшихся вдоль улицы, шурша, опадал лист.

Перед райкомовским зданием Татьяна замедлила шаг. Но окно Бойправа не светилось, и вообще на первом этаже, где находились комсомольские комнаты, было темно. Татьяна, успокаиваясь, догнала Тамарку:

— Давно босиком не ходила... Хорошо-то как...

Перед гостиницей Татьяна снова забеспокоилась, но Тамарка не давала ей времени на раздумья, летела вперед, и Татьяна, боясь отстать, ухватила ее под руку, завышагивала рядом.

На повороте Татьяна различила мигающий огонек

сигареты и сразу насторожилась, а когда разглядела рядом и второй огонек, у нее уже не оставалось сомнений, что это курят они.

— Ой, Бойправ, — испуганно шепнула она Тamarке и отпрянула с тротуара в сторону.

— Чего ты как ненормальная? — укорила ее Тamarка.

— Так ведь я босая...

Татьяна торопливо схватилась натягивать на мокрые ноги туфли, а они не слушались, опрокидывались.

— Давай руку, держись. — Тamarка помогла Татьяне сохранить равновесие, и Татьяна с трудом втиснула разопревшие ноги в узкие лодочки.

Они дружно завывали каблучками по тротуару. Тamarка раньше бежала по дощатому настилу почти не слышно, а тут, как козочка, застучала: «Вот она я, смотрите, любуйтесь!»

Бойправ и командированный, облокотившись о штакетник, о чем-то тихо беседовали.

— Вы что это, как голубь и голубка воркуете? — игриво спросила Тamarка, когда они поравнялись с ними.

Татьяна было проскочила по тротуару вперед, но Тamarка замешкалась, и ее пришлось поджидать.

— Макарова, а ты чего, не боишься ли нас? — поддержал Тamarкину игру Бойправ.

— Да что вы, Сергей Павлович, — скованно отозвалась Татьяна и неуверенно приблизилась к ним.

— Иди, иди, мы ребята примерные, — не отступал от игривого тона Бойправ.

Командированный молча затянулся сигаретой, огненный блик высветил его задумчивое лицо.

Тamarка попросила у Юрия Ивановича закурить.

«Господи, ополоумела совсем», — осуждающе подумала про нее Татьяна.

Юрий Иванович протянул Тamarке пачку, предва-

рительно выщелкнув из нее сигарету, потом, повторив щелчок, предложил закурить Татьяне.

— Спасибо. Я не умею, — отказалась она.

А Тамарка, обезьянничая, закурила от бойправовской зажигалки и неожиданно предложила:

— Чего скучаете, мальчишки? Пойдемте на танцы! А то кавалеров не хватает.

Даже Бойправ опешил от приглашения:

— Мы сейчас из промкомбината с комсомольского собрания, подбиваем итоги, — сказал он серьезно.

Но Тамарку не остановила перемена тона.

— Дня не будет для этого? — спросила она.

И тогда Бойправ снова повернул разговор в шутовое русло:

— Вы, говорят, танцуете теперь по-новому: ногами взлягиваете до головы. Мне уж так танцевать и живот не позволит.

Тамарка захохотала:

— Хорошая партнерша всему научит.

Бойправ не нашелся, что ей ответить, беспомощно оглянулся на Юрия Ивановича, и Татьяну ожгло стыдом: «Юрий-то Иванович что может подумать?»

— Мы танцуем, как нас райкомовцы учат: два прихлопа, три притопа, — торопливо вмешалась Татьяна, будто Тамарка и не говорила ничего. Сказала так, а сама, пугаясь, подумала, что ее вмешательство можно истолковать по-разному: вот, решат, и она зазывает их на танцы.

Тамарка, видно, так и восприняла ее слова:

— А и правда, будем танцевать, как райкомовцы учат.

— Ну, Братушева, даешь, — не осуждая и не одобряя ее, покрутил головой Бойправ. — С тобой много не наскучаешь.

— А с вами? — уже теряла всякую меру Тамарка.

— Не знаю, не знаю... Может, и не соскучилась

бы, — притворно вздохнул Бойправ. — А если Лиза моя прибежит да оттаскает тебя за волосы, что станем делать?

— Меня-то пошто? Может, Таню? — вокинула на него насмешливый взгляд Тамарка. — Я с вами, Сергей Павлович, танцевать и не собиралась. Я вот с ними, — кивнула она на Юрия Ивановича.

«Ну, не зараза ли?» — ужаснулась Татьяна и сказала:

— Нет, я с женатыми тоже не буду.

— А что такое? — игриво удивился Бойправ.

— Выговоряку влепят и вам и мне.

— Ма-ка-ро-ва, — укоряюще протянул Бойправ. — Ничего ты, оказывается, не понимаешь. Выговоряку влепят... Да ведь выговора дают и снимают, а впечатление остается.

Тамарка присела от хохота. Юрий Иванович натянуто заулыбался. По всему было видно, что ему не нравился такой разговор.

Татьяна потянула Тамарку за рукав:

— Пошутили и хватит. Пошли.

Тамарка заупрямилась:

— Да подожди ты, дай с хорошими людьми посмеяться. Еще натанцуемся за свою жизнь.

Татьяна отпустила Тамаркин рукав и пошла в темноту одна. Тамарка не обратила на ее жест никакого внимания.

— До свидания, — уже от киоска попрощалась Татьяна с Бойправом и Юрием Ивановичем.

— До свидания, Макарова, — ответил Бойправ. — Ты правильно делаешь. С нами кашу не сварить. У нас на уме взносы да база роста.

— Наговариваете на себя, Сергей Павлович, — возразила Тамарка. — Лиза сумела как-то с вами кашу сварить.

— Ох, Братушева! Так мы же с ней вместе доклады

писали. Тут, когда обалдеешь, полдела голову потерять.

Татьяна медленно шла по тротуару, надеясь, что Тамарка вот-вот догонит ее.

У гостиницы опять рассыпался неудержимый, бесстыдный смех.

— Много потеряете, — напирала Тамарка. — Молодость-то у человека одна.

Татьяна поймала себя на мысли, что согласилась с Тамаркиными словами — молодость-то у человека одна, — и услышала сзади дробный перестук каблуков.

— Тань, подожди! — сквозь одышку попросила Тамарка.

Бойправ повеселевшим голосом крикнул вдогонку ей:

— Братушева! Мы вот сейчас дебаты закончим, так я Юрия Ивановича командирую к вам. Ему можно потанцевать, он холостой.

Тамарка с хохотом ответила ему:

— Да ведь мы Юрия Ивановича и звали, не вас.

Татьяна никогда не видела Тамарку такой: «Да что она, совсем стыд потеряла?» — и в какой раз укорила себя, что согласилась с нею пойти на танцы.

## 5

Парк уже по-осеннему сквозил, продувался ветрами. А на танцевальной площадке, устроенной над овражным обрывом, и совсем было холодно. От реки напал туман. Лампочка, вкрученная в жестяной отражатель, была прикреплена к столбу ненадежно и качалась как маятник, бросая свет то в дальний угол выгороженного герилами и дощатыми скамейками танцевального настила, то на запутавшиеся среди деревьев тропинки, укрытые пожухлыми тополиными листьями.

Петькин мотоцикл был прислонен к столбу под лампочкой, и Петька, указывая на него, спрашивал:

— Ну, кого прокатить, сказывайте? — и умоляюще смотрел на Татьяну.

— Завезешь куда — и дороги назад не найти, — смеялась Татьяна.

— Да никуда не завезу, — на полном серьезе уговаривал Петька. — Прокачу по Березовке и обратно.

— Ой, обманешь, — подзадоривала Татьяна. — На тебя надеяться-то, как на весенний лед.

Тамарка стояла рядом, сердито покусывала губку.

— Ну? Поехали? — Петька заглядывал Татьяне в глаза. — Раз! Два!

— Мы танцевать пришли, — отказалась Татьяна. — Вот приглашай Тамару, а я осмотрюсь немного.

— Да чего танцевать? Чего танцевать? Одна мелюзга танцует...

На площадке, как и предчувствовала Татьяна, порядочных-то людей и не было, кружились одни школьники. У них на сентябрь отменили занятия, рассовали всех по ближним колхозам убирать картошку. Вот и веселятся теперь по вечерам, заботы нет, что уроки не выучены. Хорошее время для них настало, бесись сколь охота.

Пары намеренно налетали одна на другую, сшибались, как молодые петушки, девчонки визжали, ребята неистово хохотали, подставляли соседям подножки. Баловство одно, а не танцы.

Грянула новая музыка.

— Танцуйте, танцуйте. — Татьяна прошла в левый, почти не высвечиваемый лампочкой угол и села на скамейку. От реки наносило холодом, и она, как в муфту, спрятала руки в рукава кофты.

Тамарка с Петькой замешались в суетливой толпе, которая, поглотив их, двинула по беспокойному кругу и вывела наконец к Татьяне. Татьяна увидела, как Тамарка отчаянно вытаптывала на досках непонятную дробь и чего-то сердито выговаривала своему партнеру.



Петька, улыбаясь, слушал ее и все крутил головой, кого-то высматривая в темноте. Татьяна поняла, что он ищет ее, и задвинулась еще дальше в угол.

Но, когда музыка кончилась, он уверенно повел Тamarку к Татьяниной неосвященной скамейке.

— Как посиделось? — галантно расшаркавшись, спросил он, не переставая улыбаться.

— Тут долго не просидишь, — поеживаясь от холода, пожаловалась Татьяна.

— Хочешь, согрею? — простодушно предложил Петька. — По очереди будем танцевать.

Тамарка насупленно промолчала. Кожа у нее была подернута пупырышками. Обхватив себя скрещенными руками за плечи, Тамарка сжалась и мелко подрагивала.

— Что за кавалер такой, — укорила Татьяна Петьку. — У барышни зуб на зуб не может попасть, а он даже пиджака не предложит.

— Да я что, мне не жалко, — сказал Петька и набросил пиджак Тамарке на плечи.

Тамарка зло прищурилась.

— Они все, кавалеры, такие, — только о себе думают. — Она было сделала движение сбросить пиджак, но Петька заговоривал ее:

— Та-а-мар! Я ведь не догадался просто. Пойдем еще раз станцуем. — Он беспомощно оглянулся на Таню.

— Идите, идите, — поторопила Татьяна, — проторгуетесь, и музыка кончится.

Они, отступив на полшага, оказались в пестром водвороте.

«Трясучка какая-то, а не танцы», — ужаснулась Татьяна, радуясь, что ее оставили в одиночестве и что, слава богу, некому раскланиваться перед ней и приглашать на круг. «Не будут же эти недомерки обращать на меня внимания», — подумала она о школьниках и

ознобно представила, как какой-нибудь незадачливый петушок, не разглядев в темноте ее лица, вдруг осмелится вызвать Татьяну на танец и как потом, уже в этом бурливом водовороте, поняв промашку, потупит глаза, опасаясь насмешек товарищей — «Со старухой связался» — и промается, бедный, потея, пока радиола не прокрутит пластинку до конца, а затем, насупившись, конфузливо препроводит свою великовозрастную партнершу туда, где она сидела, и даже не скажет спасибо.

Татьяна, пугаясь, что ее опасения сбудутся, выдвинулась на свет.

«Нет, уеду куда глаза глядят», — неожиданно для себя заключила она и попыталась отыскать взглядом затерявшихся в молодом муравейнике Тамарку и Петьку.

Музыка резко оборвалась, но пары еще не успели расцепиться, как повторилась заново: кто-то, не меняя пластинки, переставил звукосниматель.

«Этак я околею совсем», — отрешенно подумала Татьяна и встала, пробираясь к выходу и еще окончательно не решив, уйдет она с танцев или останется. Молодые петушки насмешливо провожали ее глазами: «Ну что, тетя, несолоно хлебавши двинешь домой?»

Она еще не дошла до лесенки, как увидела в глубине парка два тлеющих огонька папирос.

«Идут!» — и обрадовалась и похолодела Татьяна. Она сейчас не призналась бы и себе, что ждала их.

Татьяна села на скамейку у выхода.

Один огонек повернул назад. «К Лизавете своей направился», — догадалась Татьяна и, напрягшись, закаменела: второе розовеющее в темноте пятно приближалось к танцевальной площадке. Татьяна не представляла, как себя дальше вести: окликнуть ли Юрия Ивановича или сделать вид, что не заметила его прихода, и дожидаться, когда он сам подойдет к ней. Так ведь

Петька пригласит ее танцевать — Татьянина очередь, — и тогда Юрий Иванович останется один на один с Тamarкой.

Татьяна вытянулась, вглядываясь в темноту, а огонек, не выступая на свет, прижался к дереву.

«Не решается в незнакомом месте...»

Какая-то сила заставила Татьяну спуститься по лесенке и медленно, прогулочным шагом, пройти мимо дерева.

Вот сейчас он ее остановит...

— Таня! — услышала она шепот и вздрогнула. — Это я... Чигарев... Подожди минуту.

Татьяна онемело сдержала шаг.

— Ой, да на тебе лица нет, — опешил Толя. — Ты уж извини меня. Я не подумал, что могу испугать.

С дерева свалился мокрый листок, неприятно скользнул по Татьяниной руке. Татьяна нервно отдернула руку и взглянула на Толю.

Он стоял пришибленный, виноватый.

— Скажи Тамаре, чтоб спустилась сюда.

Татьяна уже пришла в себя.

— А ты откуда знаешь, что она тут? — спросила она насмешливо.

— Знаю. Был сегодня у вас в Красавине. — Он при-тушил о кору тополя папиросу, втоптал окурочек в землю и, кивнув на Петькин мотоцикл, попросил: — Только чтобы он ничего не знал.

— Боишься, что ли? — подколола Татьяна.

— За нее боюсь.

Татьяна изумленно вскинула брови: «Ты смотри, какой рыцарь», — но вслух ничего не сказала, повернулась и пошла к танцевальной площадке.

Радиола уже замолчала. Петька, придерживая Тamarку за руку, обеспокоенно озирался. Он, наверно, давно заметил, что Татьяны нет на привычном месте, и, недоумевая, шарил глазами по головам неуспока-

ивающейся толпы. Наконец его взгляд наткнулся на присевшую у входа Татьяну, вспыхнул радостью, и Петька, раздвигая людей плечом, потянул Тamarку за собой.

— Я уж думал, ты убежала, — отдышавшись, простодушно признался он. — Ну, теперь с тобой пойдем танцевать.

Он снова был в пиджаке. Разрумянившаяся Тamarка не ощущала холода и со смехом подзадоривала Петьку:

— Давай, давай, погрей и ее, а то я устала, передохну хоть немного.

— Петя, ты посиди здесь, — попросила Татьяна. — А мы с Тamarой на пять минут отлучимся.

— Посижу, — понятиливо закивал он головой.

Тamarка неохотно спустилась за Татьяной по лесенке и все не могла еще остынуть от танцев, дышала жаром.

— Тamar! Тебя Толя Чигарев ждет...

Тamarка чуть не споткнулась.

— Еще чего? — сказала она испуганным голосом и сама увлекла Татьяну подалее от танцплощадки, в глубину парка.

— Вон за тем деревом, — указала Татьяна. — Просил, чтобы ты пришла.

— Еще чего?! — повторила Тamarка, но теперь в ее голосе не было испуга, он напрягся от нетерпеливого возмущения и сердито дрожал.

— Тamar, он какой-то потерянный весь... Очень просил, — пожалела Толю Татьяна.

— Видеть я его не хочу, паразита.

На тропке хрустнула ветка.

— Наверно, он? — предположила Татьяна.

— Пусть только сунется! — пригрозила Тamarка.

Она не сдерживала голоса, и Татьяна, пугаясь, что Толя услышит, потащила Тamarку в противоположную сторону парка.

— Ты что это так на него?

— А чего и тянуть без толку! — Тамарка блеснула в темноте злыми глазами. — Два года за нос водил! Татьяна, кажется, стала соображать, что к чему. Про замужество говорит Тамарка. Да как же у нее язык повернулся признаться в этом?

— А чего? — будто догадавшись о Татьянинных укорах, стала она оправдываться. — Лидку Еремееву вспомни. Дружили, дружили с Толей Мершиным, а он на учебу съездил — и на другой женился. Ну-ка, она ведь его, пока в армии служил, ждала, пока на учебу ездил, ждала — дождалась на свою голову. Всю жизнь испортила себе ожиданием. В двадцать-то восемь замуж уже не выйдешь...

— Ну, тебе-то не двадцать восемь, — холодея от накатившей на нее тоски, возразила Татьяна.

— Так до двадцати семи хочет ждать.

— Как это до двадцати семи? — не поняла Татьяна. — Что он, зарок, что ли, дал кому до такого возраста не жениться?

— А хуже зарока! — зло призналась Тамарка. — Если женится сейчас, так сразу в армию заберут. А холостому из-за престарелой матери отсрочку дают. Вот дотянет до двадцати семи — выдадут военный билет без службы. А женится раньше — сноха будет кормильцем считаться у его матери. Понятно?

— Ну и покормила бы, — удивилась Татьяна.

— А я разве отказываюсь? — обиделась на нее Тамарка. — Я ему так и сказала, а он, видите ли, боится меня одну оставлять. Говорит, загуляешь... Ну, не паразит ли! А теперь таскается за мной по пятам, не дает проходу. Ох, гад ползучий! Да я его и близко не подпущу. Уж лучше с Петькой, чем с ним!

Она надломилась с куста ветку, сошвырнула ладонью листья и зло бросила их себе под ноги:

— Пойдем назад, а то Петька отправится в розыск.

Она снова дрожала, и было непонятно, колотило ли ее от распиравшего зла или от промозглого холода, расползшегося по земле из оврага.

На свету Татьяна разглядела гусиную кожу на Тamarкиных руках и предложила поджидавшему Петьке:

— Давай, грей теперь снова.

— А ты? — растерялся он.

— Давай грей, кому говорят! — прикрикнула на него Тaмарка, и Петька положил ей руки на плечи:

— Я что? Вы сами решайте...

Татьяна чуть не расхохоталась над ним. «Ты смотри-ка, а он и в самом деле послушный, — удивилась она. — Не зря Тaмарка на свой характер надеялась».

Она снова спустилась по лестнице. Толя Чигарев стоял в темноте под тем же тополем. Под ногами у него валялась груда окурков.

Татьяна не успела еще открыть рта, а он, опередив ее, попросил:

— Ты передай, что я все равно буду ждать.

Татьяна вспомнила, что Толя бегал сегодня в Красавино. «Уж не свататься ли хотел?» — Она пыливо заглянула ему в глаза. Толя растерянно разминал в пальцах новую папиросу.

— Ты сам-то поднимись на площадку, — предложила она.

— Нет, мне нельзя, — измученно возразил он. — Если она сама со мной говорить не захочет, мне нельзя.

Он щелкнул зажигалкой, и Татьяна заметила, что волосы у него сплошь усыпаны половой. «Тоже мне женишок нашелся, в каком виде ходит».

— Ты с кем это в парк-то шел? — спросила Татьяна.

— С помощником своим, с Ваней Плотниковым.

— Прямо с комбайна, что ли?

— Ну...

Татьяна подумала, спросить ли его, с кем он ходил

в Красавино, и, хоть понимала, что это ее совсем не касается, все же не удержалась, спросила:

— С Ваней, что ли, и в Красавино бегал?

— С Ваней. Мне одному нельзя.

— Да что это ты заладил: «Нельзя, нельзя»?

— Она мне сказала, что я при свидетелях буду прощения просить, вот я и взял Ваню Плотникова.

«А теперь, значит, Ваня не нужен, — догадалась Татьяна. — Теперь я у него в свидетелях...»

Она решительно поднялась на площадку и, отыскав глазами Тamarку, напористо стала пробиваться к ней.

Петька, заметив ее, обеспокоенно встрепенулся:

— Ты что это, Таня?

— Замерзла. Сил больше нет терпеть, — соврала она.

Петька обрадованно заулыбался:

— А давай и с тобой потанцуем... Согреешься.

Татьяна нагнулась к Тamarкиному уху, шепнула, чтобы не слышал Петька:

— Иди, измучился совсем. Прощения хочет просить.

— Тебе надо, ты и иди, — громко сказала Тamarка и зло прищурилась.

Петька испуганно насторожился:

— Девочки, девочки, да вы что? Я с обеими... потанцуем...

Тamarка отодвинула его локтем:

— Да отвали ты, грельщик! — и бросилась пробиваться из многолюдного круга.

Петька вытаращил глаза:

— Таня, чего ж тут такого? — недоумевал он. — Домостроевщину устраивает: только с ней и с ней. Мы же с ней и так сколько раз станцевали...

Татьяна, не слушая его, ринулась за Тamarкой.

— Девочки, девочки! — пытался остановить их Петька.

Они выбрались из втягивающего в себя потока раньше Петьки, пересчитали каблучками ступеньки лестницы.

— Где он стоит, паразит? — спросила Тамарка.

— Тамара, — подал Толя свой голос, — поговорить надо.

— А-а, катись ты от меня со своими разговорами! — Она ухватила Татьяну за руку, потянула за собой. — На глаза мне больше не попадайся! — крикнула она, не оборачиваясь.

Сзади затарахтел мотоцикл.

— Тamar, давай я вас доведу.

— Отцепись! — вскинулась Тамарка. — Надоел за вечер до тошноты! Дай подышать чистым воздухом!..

Петька изумленно замолк.

Они спустились с горы и пошли в Красавино на окружку.

## 6

Стояло бабье лето, и дни выпадали один лучше другого — солнечные, ядреные. По утрам серебрилась инеем подсыхающая стерня. Кричали в рябиннике свиристели. В лугах, истаивая, поднимался ввысь и сразу же на глазах у Татьяны растворялся в глубоком, бездонном небе, совершенно не замутняя его синевы, туман. Просыхали от росы тропы, отряхивали влагу кусты, и над деревьями, над полями взлетали тенетники. Даль просматривалась ясно, и, казалось, не будь земля круглой, можно было бы увидеть с пригорка даже заморские страны. Татьяну взбодрила эта неоглядная свежесть утра, и она шла на работу, полная смутного ожидания радости.

Тропка местами, где трава оставалась невыкошенной, была осклизлой, и Татьяна, боясь увязнуть каблучками в земле, вздымалась на цыпочки и, балансируя



руками, осторожно выбиралась на неразмоченный грунт. Торопиться ей было некуда: до открытия киоска оставалось около часа, и не зря мать снова напутствовала ее ворчанием:

— Куда это в такую рань побежала? И вырядилась снова как на свиданье...

— У нас сегодня производственная летучка, — сказала Татьяна.

— Господи, то летучка, то танцы, и дома не ведется совсем. — Всплеснула руками мать, хотела чего-то добавить, но Татьяна ее не стала слушать.

Спускаясь с обрыва к реке, она испугнула с плеса двух куропаток. Они тяжело поднялись на крыло и медленно потянулись к лесу. Каждую осень куропатки прилетают сюда искупаться в песке, наглотаться гальки, и для Татьяны всегда было загадкой, как же это они переваривают в желудочках камни. И уж только потом в одной книжке случайно вычитала, что галька служит им жерновами, перетирает пищу. Это еще больше удивило ее, и она, приглядываясь к разным птицам, думала, что каждая из них живет по своим законам, непонятным и необязательным для других. Ну а люди-то разве не по своим живут тоже? У них еще, в этих своих общечеловеческих, есть и другие, свои, очень мелкие, личные, в которых порою они и сами-то разобраться не могут! Вот вчера Тамарка закатила истерику, а что-то Татьяне подсказывало, что Толя Чигарев ей по-прежнему дорог. Против сердца пошла, против того закона, который предопределен для людей. А может, и у птиц так бывает. Не одному же инстинкту они подчиняются, что-то, наверно, и чувствуют...

Татьяна вышла на середину лавы, облокотилась на березовые жердочки-перила и заглянула вниз, в крутящуюся бурунами воду. Стаи мелких рыбешек по-прежнему боролись с течением, будто и не уплывали никуда со вчерашнего дня. Татьяна опять махнула рукой, и

они снова, отдавшись напору струистой воды, отступили к омуту. На мокром, врезающемся в омут мыске жертвенно (зарядят дожди, и они окажутся смытыми) голубели нежные незабудки. Ну, до осенних дождей еще далеко. Солнце припекало не хуже июльского, и сверкающая рябь от него протянула беспокойную дорожку от одного берега до другого.

Татьяна, не замочив ног, выбралась на мысок — и обомлела от обрадовавших глаза цветов. За незабудками, отступив к кустам, прятались белоснежные крупные белозоры, а за ними пригорок усыпали васильково за лазурившиеся побеги цикория, за которыми расступалась уже целая поляна нескошенных ромашек-нивянок.

Да лето же, самое настоящее лето!

Татьяна наклонилась, чтобы сорвать звездочку белозора, и впервые разглядела, что этот цветок совсем не ветвится, что от земли одиноко тянется голый стебель, завершающийся одиночной снежинкой. И даже лист у цветочка всего один. Она отдернула руку и, задумавшись, поднялась на взгорок.

Ромашки колыхались у ног.

Татьяна повернула к тропе и услышала, что кто-то шумно раздвигает кусты.

Она чуть не ойкнула, потому что, пригибаясь, из ольховника вынырнул с охапкой цветов Юрий Иванович. Он еще не видел Татьяну, стоял к ней вполоборота, обирая с лица налипшую паутину.

Татьяна не могла сдвинуться с места, хотя понимала, что глупо стоять и смотреть с разинутым ртом на Юрия Ивановича.

Она медленно, не сводя с него глаз, отступила в кусты и под их прикрытием, подхватив полы, ринулась по завывающей гальке к лаве. Она пролетела через кочковатые заросли конского щавеля, не запнувшись. Перепрыгнула мочажистые оконца обманчиво изумрудившейся травы и выскочила на тропку, не в силах пе-

ревести дыхание. Сердце было готово выскочить из груди. Татьяна облокотилась о березовые перила, ветерок закручивал на них тонкие просвечивающие лоскутки отторгнувшейся от дерева бересты. В детстве ребята делали из нее, как из травы, свистульки, зажав бересту двумя большими пальцами и сложив руки рожком. У Татьяны мелькнула озорная мысль испугать Юрия Ивановича свистом, но она тут же стыдливо отогнала ее. Вот еще: скажет, что за мальчишество.

Задерживаться на лаве долго было нельзя, потому что Юрий Иванович мог уйти. А Татьяне не хотелось, чтобы он ушел, не поговорив с нею. Она подсознательно рассчитала, когда Юрий Иванович от излучины, где он выбрался из кустов и снимал с лица паутину, может выйти к тропке и, боясь опоздать, заторопилась наперехват ему.

Она увидела его уже в двух метрах от поворота и, сердясь на себя, пожалела, что слишком долго прообнималась на лаве с березовой перекладной. Надо было, не задерживаясь, сразу же бежать вперед. Теперь не будешь кричать ему в спину: «Юрий Иванович, подожди!» — и не будешь бежать вдогонку: он посмотрит на тебя, раскрасневшуюся, запыхавшуюся, и сразу поймет, что ты задумала.

Но Юрий Иванович, не выходя на тропинку, оглянулся, будто мольба Татьяны остановила его, и сразу же заметил ее:

— Таня, — подождав, когда Татьяна приблизится, сказал он приветливо, — здравствуйте.

Татьяна обрадованно кивнула ему и зарделась.

— Вы разве поблизости отсюда живете? — спросил он.

Татьяна указала ему на Красавино:

— А вот тут, на пригорке.

— А-а-а. — Он понимающе ответил ей ненужным кивком и замолчал, видимо, не зная, о чем бы сказать

еще. Он держал в руках букет из ромашек, льнянки, гу-  
синых лапок, белозора, гвоздики и каких-то незнако-  
мых Татьяне цветов.

Юрий Иванович перехватил ее взгляд.

— Нравится?

Она кивнула ему. Юрий Иванович заулыбался.

Татьяна не сводила с него глаз и шагала по-за тропе, чтобы быть с ним рядом, не отставать. Он заметил это и, конфузясь, уступил ей дорогу.

— Ноги изрежете осокой, — предостерег он. — Идите по тропке.

— А вы нацепляете на брюки колючек. — Она уже давно заметила на его штанинах клещами впившиеся двузубые семечки череды.

— Это не страшно.

— И ноги изрежу — тоже не страшно.

Они так оба и шли, держа тропу, как ручей, между собой. Татьяна вслушивалась, как у нее под подошвами ломались пожухлые корни трав, и совсем не опасалась, что исцарапает туфли.

Молчание у них затянулось, и Татьяна видела: Юрий Иванович из-за этого переживал.

«Ну и чего ж тут такого?» — успокаивала она его в мыслях и почему-то вспомнила мать: вот кто любит не балаболки.

— А меня Бойправ потерял, наверно, — опять улыбнулся Юрий Иванович. — Ни за что не подумает, что я в луга ушел.

— Бойправ-то? — насмешливо переспросила Татьяна. — Да вы еще только подумали о лугах, а он уже знал о вашем намерении.

Юрий Иванович засмеялся:

— Не может быть.

— А вон не его машина стоит? — останавливаясь, спросила Татьяна.

До Березовки было уже рукой подать, и улица Лу-

говая, протянувшая вдоль дороги всего один порядок домов, просматривалась совсем хорошо. У леспромхозовского магазина стоял зеленоватый райкомовский «газик».

— Похоже, его машина, — обеспокоенно согласился Юрий Иванович. — Ой, я ж ему вчера говорил, что в дорогу хочу нарвать цветов.

Татьяна подняла на него вопрошающие глаза.

— Улетаю сегодня домой, — объяснил он свое появление в лугах. — Без букета нельзя.

Татьяну кольнули его слова: «Без букета нельзя...» Так, выходит, не для гостиничной комнаты эти цветы.

Юрий Иванович то и дело наклонялся к букету и, зарывшись носом в цветы, вдыхал в себя медовые запахи.

— Хорошо тут у вас, — блаженно признался он.

— Везде хорошо, где нас нет, — тоскливо сказала она.

Он недоверчиво посмотрел на нее, сморщил лоб, пытаясь, видно, уразуметь, почему она так сказала.

Татьяна отвернулась, почувствовав, что у нее першит в горле, и, не оборачиваясь, предложила:

— Юрий Иванович, давайте я пойду сзади.

— Да что вы, что вы, — заторопился он. — Мне...

Татьяна перебила его:

— Изомнем отаву.

Он, видимо, почувствовал в ее голосе жесткость и растерялся:

— Да что вы... Я не о том... Конечно, пойдем по тропке. Только вы уж как положено — впереди...

Татьяна молча согласилась с ним и, не оглядываясь, завышагивала по узкой ленте истоптанной ногами земли. Юрий Иванович застучал ботинками сзади. Татьяна слышала за спиной его размеренное дыхание.

— Жалко, что вы уезжаете, — призналась она.

Юрий Иванович сбился с шага. Татьяна отметила это с удовлетворением.

— Очень жалко, — повторила она.

— Это почему же? — с радостным придыхом спросил Юрий Иванович, и Татьяне не понравилось это, она зло прищурилась и, чтоб Юрий Иванович не задавался, резко обернулась к нему:

— Очень уж вы покупатель хороший...

Он не понял ее, и она разозлилась еще больше:

— Много у меня газет покупаете... План по выручке перевыполнила.

Она оставила Юрия Ивановича, добежала до развилки и повернула направо, потому что по левой тропке уже семенил навстречу Бойправ.

— Макарова! — кричал он и размахивал руками, но Татьяна делала вид, что не слышит его.

— Макарова! Все равно вас засек, — хохотал Бойправ. — На бюро вызову, чтобы головы моим командированным не крутила.

Поднимавшийся ветерок относил его голос в луга. Татьяна, поостынув, уже корила себя за несдержанность. Юрий-то Иванович в чем виноват перед ней? В том, что с букетом к кому-то поехал, что к ней на шею не бросился? Ей было стыдно, и она боялась, что Бойправ привезет его на машине к киоску и, ничего не зная о том, что произошло, скажет: «А ну, прощайтесь по-человечески!» Как она будет смотреть Юрию Ивановичу в глаза?

Татьяна, чтобы затянуть время, пошла сначала на почту, ожидающе вслушиваясь, когда в небе загудит самолет.

Она миновала парк, в котором вчера так ни разу и не станцевала, свернула на Первомайскую улицу, проскочила свой заброшенный с вечера киоск, обогнула во-

енкомат и оказалась во дворе районного дома связи. Контора была еще на замке. Татьяна уселась на промытую с дресвой лесенку и едва удержалась, чтобы не развалиться.

Солнце пригревало по-летнему. Под крышей звенели мухи. Пахло медовым клевером. Но на улице, выхвываясь друг перед другом, уже проверяли свои голоса молодые петухи — верная примета, что лето кончилось.



## СУМАСШЕДШИЙ АВГУСТ

---

Говорят, умные люди сходят с ума весной, а их-то, дурачков, угораздило потерять рассудок на исходе августа, когда уж о школе бы надо думать, а не о девчонках. И ведь целые каникулы позади — ни в июле, ни в июне (тем более!) никому и в голову не взбрело влюбиться, а тут как эпидемия гриппа подкосила лежаевских школьников.

Уж на что Митька Микулин занятый человек — с утра до вечера нянчится с годовалым братом, — так и в того проник вирус любви. Дождется Митька, когда мать придет с фермы, бочком, бочком, и на улицу. Поминай как звали! Не чуя ног полетит к сверкающему окнами клубу.

— Митька! — распахнув окно, закричала на него и на этот раз мать. — Куда это лыжи опять наострил? Я еще корову не подоила, а ты уж в бега отправился...



Митька, переминаясь с ноги на ногу, заканючил жалобным голоском:

— Мама, да опаздываю же...

— Ничего, один раз и не сходишь, не велика потеря. Всех-то кино не пересмотреть. А у меня сейчас Никола пробудится. Давай иди домой!

— Ма-а-ма, да я же его только что укачал... Кричать не будешь, так он еще часа два проспит.

— Кому сказано, домой!

— Ага, домой... А ты или забыла, как Ефросинья-то Карповна тебе говорила: для общего развития надо в кино ходить.

Козырь оказался надежный.

— Ну ладно, иди, — вздохнула мать. — Уж если и пробудится Никола, так до смерти не заревется. — Она закрыла створки окна и тут же спохватилась: — А у тебя деньги-то на кино есть?

У Митьки был пяточок, но он запасливо выпустил его из кулака в карман и обездоленно вытянул перед матерью пустые ладони.

— Нету.

— Ты что это? Опять нищенком хочешь лазить по окнам? — разохалась, уже не раз слышавшая о том, что полежаевская пацанва пробирается в клуб через окно в гримировочной комнате. — Сейчас же вернись домой и возьми деньги.

Ну что ж, запас еще никому не протер дыры в пиджаке. Митьке деньги не помешают: а вдруг не сегодня-завтра билеты на двоих покупать придется?

— Ну вот, теперь иди развивайся, — ласковым подзатыльником проводила его мать. — Да смотри, если учиться неважно будешь, всю зиму просидишь взаперти.

Митька раньше не очень-то беспокоился о своем общем развитии. Если и не посмотрит какую картину, не велико расстройство: все равно в голове всего не удержишь. Вон возьми Вовку Воронина, который ни одного сеанса не пропустил, а «Точку, точку, запятую» в прошлом году смотрел даже восемь раз... Он же от этого не стал умнее других. Наоборот, у него такая мешанина в мозгах произошла, что все на свете исперепутал: начнет рассказывать какой-нибудь случай из фильма «Точка, точка, запятая», а имена героям дает по картине «Сто дней после детства». Да и случай-то испереврет, насобирает с бору по сосенке — разбирайтесь, откуда какая.

Нет, не желание повысить свой общий уровень тянуло Митьку Микулина в клуб.

В Полежаево приехали из Шарьи на уборку льна студентки медицинского училища. Да и не студентки покуда, а такие же, считай, школьники, как и Митька Микулин. Нынешней весной закончили по восемь классов, сдали экзамены в медучилище и часу еще не прозанимались по своей специальности, белого халата не успели примерить, как отправили их в Полежаево.

— Можно сказать, что абитуриенты, — шегольнул иностранным словечком Алик Макаров. Ну, Алик Макаров — го-ло-ва-а, не смотри, что вместе с Митькой в седьмой класс пойдет, все на свете знает.

Вот Алик-то Макаров и свел всех с ума. Может, если б не он, никто бы и не обратил на шарьинок внимания. Ну, приехали и приехали... Эка невидаль! Каждый год кого-нибудь присылают в Полежаево на уборочную. Правда, не таких молодых. Председатель колхоза, так тот, говорят, узнав, что привозят девчонок, даже расстроился, звонил по телефону в район: зачем же, мол, вы к нам этих пигалиц направляете — за ними еще за самими нянька нужна. А из района его осадили: не нуж-

даешься в помощи, студенток перебросим в другой колхоз...

Во-первых, не студенток все-таки, а учащихся, как правильно подметил всезнающий Алик Макаров. Студенты в институтах и университетах, а в техникумах учащиеся. А во-вторых, и не учащиеся даже — абитуриенты... Ну да ладно, в школе тоже были учащимися, пускай в учащихся еще немного ходят. То, что девчонок следовало называть по-прежнему, как и в школе, в какой-то мере сравнивало их с полежаевскими ребятами. Подумаешь, в медучилище поступили... Как были учащимися, так ими же и остались. На каких-то год-два только и постарше Митьки и Алика.

Если же по внешнему виду судить, то еще неизвестно, кого можно принять за студентов, кого за школьников. У Митьки косая сажень в плечах: сколько он картошки на спине перетаскал из огорода в подполье, сколько дров испилил-исколочил, сколько воды переносил в ведрах — и не хочешь, атлетом станешь. А девчужки-то почти все замореныши, одна другой тоньше.

Не Алик бы Макаров, так Митька и не разглядел в них никакой красоты. Алик всех с толку сбил.

Шарьинок привезли в Полежаево к вечеру. Пыль за машиной уже не вздымалась к небу, а, отяжелев от росной прохлады, шуршала, как снежная поземка, почти не отрываясь от дороги.

Митька как раз сидел у распахнутого окна и качал ногой зыбку. Вереvoчная петля то и дело соскальзывала со ступни, и Митька сердился, наклоняясь, чтобы поправить ее. Поэтому он и прозевал тот момент, когда шофер Колька Попов развернул грузовик у колхозной конторы (а разворачивался Колька лихо, заставляя людей испуганно вскрикивать). Митька услышал лишь этот обморочный вскрик и увидел, как Колька открыл кабину и, выставив левую ногу на подножку, шутливо скомандовал:

— На первый-второй рассчитайсь!

Девчонки подняли в кузове гвалт, захохотали.

Колька ущипнул сидевшую у борта толстушку. Она взвизгнула, а он, скаля белые зубы, уже потянулся к ее соседке. Та заметила извивающуюся змеей Колькину руку, вскочила, держась за борт кузова, замахала кулачками, как мотовилами.

В это время перед конторой и объявился Алик Марков.

— Ну что, Николай, — поздоровался он с Колькой за руку, — помощников нам привез?

— Да, вам, вам, — съехидничал Колька, нагоняя на лицо озабоченную хмурость. — А то ведь ты тут весь изработался, — намекнул он на то, что Алик в эту горячую пору бездельничал.

Алик не обратил внимания на его издевку, зашел с другой стороны кабины и поднялся на подножку. Рыжая голова его наклонилась над кузовом как подсолнух.

Шарьинки сидели на соломе и, видимо, не очень-то торопились вылезать из машины.

— Девочки, приходите вечером в клуб, — пригласил их Алик.

Шарьинка, увернувшаяся от Колькиного щипка, насмешливо удивилась:

— А у вас разве и клуб есть?

Белые, как льняное волокно, косички у нее были уложены на затылке бубликом. Наверно, совсем недавно из них выплели бантики, потому что косички без них выглядели очень уж жидкими.

— А вы думали, что к питекантропам приехали? — довольный своим остроумием, засмеялся Алик.

— Ой, какой знающий мальчик, — потрясенно покачала головой белокурая. — Не зря, видно, солнцем меченный...

— Рыжий да рябой — самый дорогой, — отпарировал Алик.

Шутливому разговору не суждено было продлиться. Из конторы вышел расстроенный председатель колхоза.

— Николай, — распорядился он, — шесть человек оставь в Полежаеве, пять отвези на Большую Медведицу, а остальных — на Высокую.

И вот эти-то шестеро, что остались в Полежаеве, и оказались обреченными на то, чтобы отвергать или принимать ухаживания Алика. Они еще не знали об этом, но Митька-то это предвидел.

Светловолосая девчужка, увернувшись от Колькиного шипка, подала Алику свой рюкзак, будто считала, что он только для этого и пришел сюда, протянула ему руку и, опираясь о нее, ловко соскочила на землю.

Следом за ней выпрыгнули из кузова и остальные, смущенно гася парашюты платьев.

— Алик, ты их троих к Павле Ивановне сведи, — подсказал Колька Попов, — а троих — к Тишixe, — и захлопнул дверцу кабины. Стартер дал обороты мотору. Машина, обдав девчат гарью, покатилась под уклон вдоль деревни.

Алик, как услужливый квартирьер, развел шарьинок по домам и, еще не успев успокоить сердце от тяжести чемоданов и рюкзаков, прибежал к Митьке:

— А ты знаешь, в Полежаеве лучших оставили! — заявил он.

Ну и что? Полежаево от этого не расцветет и не разбогатеет. Вот если бы работников привезли лучших, тогда другое дело. А Митька в окно их видел: прав председатель колхоза: на таких надежда плохая. Ведь эта, тоненькая, с белыми волосами, в поле работать начнет, так в спине переломится. И остальные не лучше ее...

— Вечером в кино прийти обещались, — ликовал Алик. — Высмотришь...

— Да я уж насмотрелся на них.

— В окно-то?.. Ну-у, — укоризненно протянул Алик. — В окно не считается. Я вот им устраиваться по-

могал и познакомился с каждой, знаю, какую как и зовут.

Ну-ка, счастье-то привалило какое — знает, как и зовут. Смех и грех: так и есть, в кавалеры к приедем подкатывается. Да они же тебе не ровня...

Алик будто и не замечал Митькиной ухмылки, соловьем перед товарищем заливался:

— Беленькую — задиристая такая — Светой зовут. Эта, пожалуй, из все-е-ех. Общительная, веселая. Я таких в жизни не встречал. Ну и другие, конечно, хорошие. Та, что поменьше, Вера. А в серой кофточке Катя. Да трое еще у Тишихи... Так что, Дмитрий, живем!

— А чему радоваться? Они студентки, а ты всего-навсего в седьмой класс перешел...

— Понимал бы чего! — осадил его Алик. — Разве возраст имеет значение? Если хочешь знать, так женщине столько лет, сколько она себе даст. Ты у нее никогда про годы не спрашивай.

— Да ведь спрашивай, не спрашивай...

— Ну чудило, — выпятил губы Алик. — Главное-то что? Главное — взаимопонимание. Когда взаимопонимание есть, любви все возрасты покорны. Да и — подумаешь! — разница невелика, два года всего!.. Я в Улумбеке, когда в пятом классе учился, восьмиклассницу любил, и то ничего... А в вашем Полежаеве целое лето живу — и ни одна девчонка еще не понравилась. Климат у вас, что ли, другой?

Ох уж, дался Алику этот Улумбек. Вот и жил бы там при хорошем-то климате, нечего было к нам в Полежаево переезжать. А то третий месяц только и разговоров — Улумбек, Улумбек... Уже в ушах звенит.

Алик, не найдя у Митьки взаимопонимания, понес свою радость дальше. Наверняка к Вовке Воронину побежал: Вовка — человек сговорчивый. Только скажи ему: без тебя, мол, Вовка, дело — табак, — за товарища жизнь положит. Ну, Алик Вовкиной услужливо-

стью воспользуется. Вон как на крыльях летит. Хоть бы для солидности на шаг перешел.

Интересно, как у него дальше будут развиваться события. И чего уж он в этих пигалицах разглядел такого? Вроде бы девчонки девчонками, не лучше и не хуже полежаевских — самые обыкновенные.

Но не может же быть, чтобы обыкновенные. Алик не такой человек, за обыкновенными сломя голову не полетит. Вон сам же и жаловался, что третий месяц живет в Полежаеве, а ни одна девчонка не поглянулась. Значит, эти не полежаевским чета, уж Алик-то понимает, что к чему.

Митька нацепил веревочную петлю на ногу и опять стал укачивать брата, хотя Николка не шевелился, посапывал себе в обе ноздри.

Какой-то зуд зацепил Митьку, не сиделось никак одному. Зря Алика отпустил! Нет бы порасспросить, а то сразу во-о-зраст. И в самом деле, какой там возраст? Вон и мать у Митьки на два года старше отца — живут, не разводятся, она еще моложе отца и выглядит. Ну-ка, дурачина, возраста испугался...

Да почему испугался? Он-то, Митька, при чем? Не он женихается — Алик. Пусть у него и болит голова.

Митька распахнул створки окна. Было по-вечернему прохладно и сыро. Но заря еще не догорела, играла румянцем вполнеба.

На реке полоскали белье — четыре бабы сразу сошлись на помосте. Согнутся — так одна другую чуть в воду ненароком не сталкивают.

Батюшки-светы, да это Павла Ивановна со своими квартирантками! Ну да, ее выводок. Вон как хорошо приурочила стирку — как раз к приезду помощников.

Митька выпутал ногу из петли, схватил ведра — и на реку.

В двадцати шагах от помоста, приспособленного для полоскания белья, переброшена с одного берега на

другой половица — ее в Полежаеве лавой зовут — идешь по ней, так она прогибается, будто живая, вода хлюпает, как в пожарной помпе.

Митька вылетел с ведрами на середину лавы. Она огрузла в воду, и по ней ручейком заструилась рябь.

Митька присел на корточки, стал делать вид, что разгоняет пустым ведром тину, а какая к осени тина, вода уже давно отцвела, прозрачнее родниковой.

Павлу Ивановну девки совсем отстранили от дела. Она стояла на бережку и только поглядывала, как они полошут ее белье.

Павла Ивановна по-старушечьи прищурилась и узнала Митьку.

— Митрий, — крикнула она, — вы не баню ли ладитеесь топить?

Всунулась, без нее уж не обойтись. Митька промычал ей в ответ что-то нечленораздельное, и самому не понять что.

— А-а, — удовлетворилась ответом Павла Иванова. — А у меня местодочерницы-то, — она кивнула на квартиранток, — и работать мне не дают. На старости лет хоть понежусь...

Девчонки усердствовали, будто и не слышали похвалы. Одна только беленькая — ее, наверно, Светой-то и зовут — выпрямилась, держа на весу красные, как гусиные лапки, руки.

Ну и невесту выбрал себе Алик. Ничего не скажешь, два лаптя — пара: ни он, ни она на работе не надорвутся. Ручки, видите ли, уже отморозила. В летней-то воде...

Светлана тыльной — сухой — стороной ладони поправила волосы — воды боится, работница, — проследила, как Митька прошел мимо них с полными ведрами, и только тогда наклонилась к оцинкованному баку, доверху набитому бельем. Дома-то, похоже, и не поласки-



вала: Митька сразу отметил, что движения у нее не такие сноровистые, как у подруг. Того и гляди, утопит то, что полощет.

Митька принес воду в дом. А куда ее? Не баню же в самом деле топить! И не капусту поливать в огороде! Для питья наношено из колодца с утра — до краев в кадку залито. Даже на поило корове в печи полнощипые чугуны стоят. Митька заглянул в умывальник, хоть он пустой. Но ведь он не резиновый, два ведра в него не войдут. Четыре кружки отчерпнул — и все. Остальную воду пришлось выплескивать на улицу.

Митька наклонился над зыбкой — на какой щеке брат лежал, на той и лежит. Для надежности Митька качнул его пару раз — и опять к окну.

А на реке уж веселье. Девчонки хохочут. Светка даже на берег выскочила, приплясывает по траве босыми ногами. Ах, вон оно что, подол вымочила, платье так к голяшкам и льнет.

Павла Ивановна сквозь смех выговаривала квартирантке:

— Примета такая, Светочка, есть: белье полощешь да с речки с мокрым подолом домой придешь — в мужья пьяница достанется.

— А я примет не боюсь, — не унывала Светка и знай себе выплясывала на лужку.

Митька схватил ведра и снова было кинулся на реку за водой. Что за бес потянул его? Как от ума отстал... Ведь Павла Ивановна опять спросит, не баню ли затеяли Микулины топить. Да еще, чего доброго, припрется к матери, скажет, нельзя ли и ей после всех помыться.

Нет, надо пластинку менять... Самовар, что ли, вычистить на реке? А то стоит на комодке, весь в белых подтеках накипи.

Митька вернулся в избу.

Вот только бы Никола не проснулся. Да вроде не

пора: недавно уснул... Вон как сладко причмокивает. Ничего, не на полгода Митька его и оставляет...

Самовар в охапку — и под гору.

Павла Ивановна, конечно же, не пропустила Митьку мимо себя, окликнула:

— Не гостей ли, Митя, ждете — самовар-то чистить несешь?

Митька, запыхав красной рябиной, отвернулся от нее: ну, что за старуха такая — и до всего-то ей дело. Несу и несу... Значит, надо.

— Не грязному же ему стоять, — ответил Павле Ивановне, придя в себя от смущения.

— Вот молодец-то какой, — похвалила его Павла Ивановна.

А Светка, не успокоившаяся от баловства, подбоченилась и спросила у Митьки с вызовом:

— А вы, мальчик, пьяницей не вырастаете?

Митька стушевался, не зная, как отбрить эту трещотку. Но в мыслях отметил: все-таки на «вы» назвала, значит, не такой уж и «мальчик».

Павла Ивановна замахала на Светку руками:

— Митрий-то пьяницей? Ой, дева, поберегись, а то за такое карканье чирей на языке вскочит.

Светкины подружки тоже бросили работу: еще бы, на берегу бесплатный концерт.

Митька покосился в их сторону: ничего девчонки, приглядистые. Они тоже посматривали на него с любопытством. Митька, чувствуя на себе их взгляды, зарделся еще сильнее, шагнул с луговины на песчаную отмель. Он хотел было закатать штанины, но при девчонках сделать это постеснялся, и отхлынувшая от противоположного берега им же поднятая волна выплеснулась ему на колени.

— Мальчик, и вы подол замочили! — крикнула Светка. — У вас жена тоже пьяницей будет... А у меня — муж... Может, на этом мы с вами и сойдемся? А?

— Ну артистка, — восхитилась Павла Ивановна, — с тобой не соскучишься, — и тут же, спохватившись, припугнула Митьку: — Ой, Митрий, попадешься такой, так из-под каблука не вылезешь. И не хочешь, пьяницей сделаешься... У нее любой запьет...

— Что же это вы, Павла Ивановна, так плохо обо мне думаете? — разыграла из себя обиженную Светка.

— Да неплохо, а удалая ты больно... А Митрий-то у нас тихий. Ты к нему не подкатывайся...

И кто ее тянет за язык? На посмешище прямо выставила перед девчонками. И Светка хохочет, и подружки ее за животы держатся.

Митька зачерпнул со дна горсть мокрого песку и зло растер его по самоварному боку. Ничего, парень, терпи. Сам нарвался — приезжих, видите ли, посмотреть захотелось. А с приезжими и слова не вымолвит — только отпыскивается, как еж.

Светка, видно, забыла, зачем на реку пришла, в сторону белья и не оглядывалась.

— Павла Ивановна, — подскочила она к старухе, — я бы из него бойкого сделала.

— Зна-а-мо, ты испроказишь. Я и говорю, что у тебя всякий запьет... Нет, Митя, ты от нее подальше держись. Вон у меня Вера с Катей — эти не изобидят. Вот подрастай быстрее, за тебя любую из них отдам.

Она и руки вздернула вверх: ух, ничего для тебя не жалко! Смотри ты, как разошлась — никогда не думал, что Павла Ивановна в розыгрыше так подъялдычивать умеет.

— А что, девки? — вошла она в раж. — Не прогадаете. Жених куда с добром. Такого вам и не видывать в другом-то месте. Все у него в руках горит: и с топором, и с пилой, и с молотком — во все дыры Митрий затычка. За такого бы вышли, так и не охнули б. С ребенком и то сам выводится — и спеленает, и кашу сва-

рит — круглыми ночами спали б и огонька не добывали б... Вот за Митей-то как...

— И варить умеет? — невинно переспросила Светка.

— Умеет, — подтвердила Павла Ивановна.

— Вот такого-то бы неплохо мне. Я на кухне возиться не люблю.

«А где любишь-то?» — чуть не выкрикнул Митька. Не на реке ли с бельем? Ба-ры-ня-а... Митька сразу распознал, что ты за птичка. Мамёнькина дочка — вот ты кто...

Он кипел злобой. Но не бросишься же на насмешниц с кулаками. Павла Ивановна вроде от чистого сердца его нахваливала, а эта, светлошарая, на свой лад переиначивала все.

— Ну так, мальчик, чём завершим с вами разговор? — спросила Светка. — Питать ли надежду на будущее?

— А пока ничем, девочка... Подрастете, тогда приезжайте, поговорим.

А что? Кажется, неплохо отбрил. По крайней мере, Светка не ожидала выпада с его стороны, замолчала.

Девчонки порскнули, украдчиво обменялись из-под бровей одобрительными взглядами.

— Ну что, милая, съела? — подколола Павла Ивановна. — Смотри, нашим парням палец в рот не клади.

Та, что в серой кофточке, Катя, кажется, если верить Алику, вытащила из бака наволочку и первой склонилась к воде:

— Девчонки, мы так и до утра не управимся.

Наволочка в ее руках уже ныряла уткой и даже крыльями, казалось, всхлопывала, взлетала над водой, даваясь Кате поймать себя то за один угол, то за другой, сама выворачивалась наизнанку.

— Вот у меня тоже артистка-то, — нахваливала ее Павла Ивановна.

Да, уж точно, руки у Кати не крюки — работу лю-

бят. Это с одного взгляда определишь. Да на ее руки можно без отрыва смотреть часами. Они снуют, как маленькие челноки. И ни одного-то лишнего движения, ни одной спотычки.

Катины руки чем-то напоминали Митьке материнские — такие же сноровистые, умелые.

Катя полоскала белье, стоя на коленках, и доски под ними были сухими — только кое-где темнели крапинки брызг. Ну-ка, сумеет ли хваленая Светка так белье выжать, чтобы подмошки не замочить? То-то и оно, не сумеет.

А у Кати вот получается, и она не распускает язык, как Светка, ни над кем не насмешничает. Ну, так верно: кому язык дан, а кому руки... И голова. Митька не мог допустить, чтобы умная голова и ловкие руки жили бы сами по себе, врозь. Нет, они обязательно принадлежат одному человеку. Вот болтливый язык — это да, он всегда без хороших рук. Тут связь понятная: болтаешь — работать некогда.

Митька вот и сам разболтался в мыслях-то и сразу снизил темп. А того и гляди, Никола проснется. Потопливаться надо.

Он по-быстрому управился с самоваром и выскочил на берег. Девчонки копошились на помосте втроем, Павла Ивановна, видать, уковыляла домой. Митька перевернул самовар вверх дном, чтобы выплеснуть воду, и направился в гору. Катя из-под нависшего на лоб платка метнула на него торопливый взгляд — он показался Митьке искрой: сверкнул, и нету его, но заставил Митьку замедлить шаг.

Митька задеревенело прошел мимо помоста, а спина, будто уши на ней появились, напряженно вслушивалась в то, что происходило сзади. Митьке хотелось обернуться. Он боялся этого, но уже не мог с собой совладать. Вот сейчас он и встретится с ее взглядом — предчувствие не обманывает никогда.

На него насмешливо смотрела Светка.

— Так подрастайте быстрее, мальчик, — посоветовала она.

— И вы тоже, девочка, — отпарировал он, но, кажется, не совсем удачно — нового на ум не пришло. Обозлясь из-за этого на себя, Митька не придумал ничего лучшего, как скопировать Алика:

— В кино приходите сегодня.

Но у Алика это получилось естественно — не такая обстановка была, — а Митька прошепелявил как пугай с чужого голоса. Оплошал. И Светка не преминула воспользоваться его оплошностью:

— Ой, держите меня, а то упаду. Единственная достопримечательность Полежаева — кино, и все ее на показ выставляют. Рыженький приглашал в кино, и этот тоже в кино... Мальчики, а я кино не люблю, я люблю танцы!

Ведь чувствовал же, что она издевается над ним, а сказал, будто не понял издевки:

— Танцы после кино у нас.

— Ой, спасибо за ценную информацию. От всего нашего дружного коллектива спасибо. С любой из нас, Митрий, сегодня танцуйте, любую не пожалею — вы хороший мальчик.

Какая-то из девчонок — неужели не Катя? — остановила ее:

— Хватит, Светка, паясничать. Давай дополаскивать...

— Слушаюсь, Верочка.

Нет, не Катя, значит. А этой Верочки Митька и не разглядел, какая она. Ведь не спиной же она была к нему все время повернута — они же вместе с Катей стояли на помосте и хохотали. Нет, хоть убей, не видел ее. Катю видел, а ее нет.

Митька поставил самовар на комод.

Николка все еще лежал на левой щеке. Тут столько

событий всяких произошло, а он хоть бы хны. Все на свете проспал, никакой у человека заботушки.

Да, а в кино сбегать надо...

Кинемеханик уже стоял у дверей, торговал билетами. У лестницы скопилась толпа.

Митька издали разглядел Вовку Воронина, который, как козел, привязанный за веревочку, крутился вокруг отполированного руками столба, подпирающего над крыльцом крышу: наверняка Алика дожидался.

— У-ух, — облегченно вздохнул Вовка, когда Митька приблизился. — Наконец-то явился! А я торчу на улице как дурак и в клуб не иду: не знаю, прибежишь или нет. — И, распираемый важной новостью, сообщил: — Ты слышал, шарьинки приехали.

— Не только слышал, но и видел в окно, как они в клуб прошли.

— Ага, сидят все вместе на четвертом ряду.

— Ну, Алику уж, наверно, вокруг них увивается...

— Да нет, — уточнил обстановку Вовка. — Я к Макаровым забегал, ему мамочка брюки гладит.

— Ох, Вовка, к Алику ты уже забегал, а обо мне и не вспомнил. Кто первым свистнет, к тому сломя голову и летишь.

Вовка, как нашкодивший пес, виновато заюлил перед Митькой. Будь у него собачий хвост, так, наверное, и по земле бы захлопал им.

— Мить, — не поднимал Вовка глаз, — я сейчас побегу шпингалеты открою, а ты жди меня под окошком...

Сам-то Вовка в кино давно уж ходит бесплатно, пользуясь тем, что заведующий клубом живет у него на квартире. Но Вовка уж такой человек: что самому перепадет, и с друзьями поделиться охота. Он и им помогал проникнуть в клуб без билетов. Выберет мо-

мент, когда в гримировочной комнате нет никого, — и готово: всех своих товарищей перетащит за руки через подоконник.

— Ну, так я пойду, — а сам пошарил в кармане штанов, наскреб горсть подсолнечных семечек. — На, погрызи пока.

Митька чувствовал: вина-то виной, но Володьку распирает желание сообщить что-то другу, но он через силу сдерживает себя и оттого кажется напыженным.

— Чего это ты сегодня так долго?

— Ждал, когда ты заскочишь, — подколот его Митька. — А ты, видишь, с Аликом спелся.

— Да не спелся. Он только и сказал, что шарьинки приехали... и что беленькая пообещалась ему в кино прийти.

— Ну да, так уж и пообещалась?

— А я-то откуда знаю? За что купил, за то и продаю...

— И больше ничего не сказал?

— Ничего, — стушевался Вовка.

— Ну-ну...

Недоверие друга для Вовки — нож острый.

— Да нет... В общем, сказал... Присмотри, мол, и ты себе, только не беленькую — и будем действовать. Я, говорит, тебе помогу...

Ну, Митька так и знал, Алик не зря бегал к Вовке и Вовка не зря приворачивал к Алику перед кино.

— Ох, коршун какой!

— Ну да, коршун и есть, — подлаживался Вовка к товарищу. — Почему-то вокруг полежаевских девчонок не хлопотал, а тут действительно, как коршун над цыплятами, закружил.

Но Митьку демонстрация товарищеской преданности не успокоила.

— И ты присмотрел себе? — холодея, спросил он.

Вовка расплылся в улыбке.



— Да-а, одна есть ниче-е-го. — Он глаза даже закатил от восхищения.

— А имя-то как?

— Да вот имени-то я пока и не знаю... А из всех из них она самая лучшая... Ой, ты бы видел... Ни-и-чего девчонка... Совсем ни-и-чего...

Он и про шпингалеты забыл. Конечно, у Митьки деньги на кино есть. Но он же своими глазами видел не раз, как парни покупают для девчонок билеты — идет один с тремя, на троих сразу и берет. Так что без нужды деньгами лучше пока не сорить.

— Пора уж, наверно? — вывел Митька товарища из восторженного оцепенения, опасаясь, что вот сейчас, сию минуту, Вовка потащит его к дверям и от порога, из темноты надкрылечной пристройки, будет показывать ему на четвертый ряд, где сидят шарьинки, выбирая пальцем ту, что ему понравилась. И, конечно же, этой «самой лучшей» окажется Катя. Не Светку же он назовет. — Ну, чего ты тетеревом затоковал? Давай иди, шпингалеты откроешь и постучи... Да не распахивай окна-то сразу. Надо, чтобы на улице никого не было...

У него не хватило духу выпытывать у Вовки все до конца, и он, досадуя на себя за это, двинулся вдоль стены к огороду и — лоб в лоб — столкнулся с Аликом.

— Минуточку! — остановил его Алик. — И ты, Володя, постой... Я прошу меня извинить, что невольно подслушал ваш разговор.

Вовка зарделся красными пятнами.

— Ну, что ты, Алик! У нас ничего секретного не было, — оправдывался он: что там ни говори, а неприятно, если Алик услышал, как его тут с коршуном сравнивали.

Алик отвел Вовку с Митькой подальше от крыльца и сказал:

— Давайте, ребята, сразу договоримся честно, чтобы в дальнейшем между нами недоразумений не было...

Вовка уж было решил, что Алик обиделся за «коршуна». Вот ведь невезуха какая: то с одним поссоришься, то с другим. И все из-за своего длинного языка.

— Алик, ну а чего договариваться-то?

— Я же сказал, давайте честно, чтобы недоразумений не было.

Он по Митькиным глазам догадался, что ребята его не поняли, и стал разъяснять:

— Ну, я же не дурачок — вижу, что вы уединяетесь с Вовкой... Вроде заговора у вас. — Он подозрительно, вприщур, всматривался в Вовку, и Вовка, не выдерживая его взгляда, отводил глаза в сторону. — Не надо, ребята, заговора, меня тоже не оставляйте. Договоримся по-джентльменски...

Вовка Воронин понял его по-своему: не иначе и Алик надумал лазить через окна в кино. Раньше-то он всегда покупал билеты, а теперь, видать, стыдно стало: девчонка он, что ли, за деньги в кино ходить. Уж если заодно, то во всем.

— Ну и правильно, — заторопился Вовка, покровительственно похлопывая Алика по плечу. — Я тебе давно говорил: не отставай от других, пока есть во-о-озможность. — Он даже голосом выделил последнее слово. — Давно пора. Экономь свои пятаки на конфеты... Может, и меня когда угостишь. Я сладкое люблю...

Алик неприязненно нахмурился.

— Я не привык к такому меркантильному обмену — чтобы ты меня бесплатно в кино проводил, а я бы тебя за это угощал конфетами, — отчужденно заявил он и поскоблил начищенным до блеска ботинком землю.

Ой, как же Вовка опростоволосился... Как он мог подумать, что Алик полезет через окно...

Митька посмотрел на отутюженные, с несминающимися стрелками брюки Алика, на выглядывающую из-под белого ворота рубашки черную бабочку — артист, да и только! — и удивился Вовкиному простодушию: ой, кто

же в таком наряде воровато лазит по окнам? Ведь на обшитой тесом стене немудрено и на гвоздь напороться, и выпирающий из досок сучок не заметить... Ну, Вовка, и выслужился ты перед Аликом...

Алик прошелся перед ребятами, заложив руки за спину.

— Я, к сожалению, Володя, не знал, что ты любишь сладкое, — сказал он и остановился перед растерявшимся Вовкой.

Вовка виновато съежился.

Алик размеренно пораскачивался с носков на пятки и с пяток на носки:

— Если ты хочешь, я могу завтра же угостить тебя дорогими конфетами без всякой экономии пятаков.

Вовка захлюпал носом:

— Да чего уж ты в самом-то деле? И пошутить нельзя?

Алик недовольно передернул плечами.

— Какие-то мальчишеские шутки! — раздраженно укорил он Вовку. — Я не позволю над собой так шутить. Я не первоклассник. Мне четырнадцатый год идет. А, как вам известно или нет, писатель Аркадий Гайдар в шестнадцать уже командовал полком. Пионер Леня Голиков стал Героем Советского Союза, когда был моложе нас. А вы относитесь друг к другу — и особенно ко мне! — как к мальчишке. Но мы не мальчишки — мы подростки уже! И ведите себя в соответствии с возрастом.

Ох, ох, наговорил... Подростки...

Вовка пристыженно молчал. А чего бы, кажись, он сделал худого? Предложил Алику, как порядочному человеку, ходить в кино без билетов... Ну и чего так взъежаться за это? Он и Митьке сделал такое же предложение ровно полтора года назад. И Митька перед товарищем не выпендривался: если не было пятака, лазил в окно, а если и был, так все равно лазил.

— Знаешь что, Алик, — решительно вмешался в разговор Митька. В нем еще не прошла досада на себя за то, что не дал Вовке выговориться до доньшка, оборвал его на полуслове. А тут еще добавил ему раздражения Алик, и Митька загорячился: — Ты не в Улумбеке. Командирские замашки бросай. Мы к тебе как к своему, к полежаевскому, отнеслись, а ты нам только и знаешь нравоучения читать... Тоже нам учитель выискался!

Алик, не ожидавший отпора, растерялся.

Ну вот, и похлопай теперь глазами, видали таких! Приехал в Полежаево всего два месяца назад, а уж всех под себя подмять хочешь. Эх, если бы Митька не нянчился с братом, он показал бы тебе, как с полежаевскими ребятами следует разговаривать. Ну и что, что иностранными словами козыряешь на каждом шагу? Может, полежаевские-то слова похлеще иностранных есть!

Алик опять заковырял землю ботинком:

— Вы меня, ребята, неправильно поняли.

— А чего неправильно-то? — задиристо вскинулся на него Митька. — Ну-ка, ну-ка, скажи! Послушаем умного человека.

— Да, послушаем, — поддержал его Вовка, радуясь неожиданной перемене обстановки.

Над Полежаевом прочертила небо звезда, и Митьке показалось, будто в воздухе запахло паленым. Он, пригнувшись, повел носом. А это, оказывается, по тропке прошел с папиросой Геннадий Иванович, заведующий клубом, от него и нанесло запах дыма.

Алик тоже заметил Геннадия Ивановича и сразу же приосанился.

«Вот хитрец, — догадался Митька. — Думает, при свидетелях не заденем».

А Геннадий Иванович, как назло, остановился у крыльца докурить папироску, не давая ребятам выяснить отношения до конца.

— Так ты чего замолчал? — приглушая голос, поторопил Алика Митька. — Мы приготовились тебя выслушать, а ты как воды в рот набрал.

Алик тоже приглушил голос до шепота:

— Ну, в общем, у меня к вам чисто мужской разговор... А вы все к пятакам и конфетам свели...

Тут уж Вовке стало не удержаться от обиды. Да и момент выгодный — пообщаться.

— И пошутить нельзя? Да? — спросил он вызывающе и придвинулся к Алику.

— Ну вот, я так и знал, — отступил на два шага Алик. — Чуть что, и драться... Вот я и говорю вам, давайте по-честному распределимся, чтобы недоразумений не было.

Митька с Вовкой переглянулись.

— Это как так «распределимся»? — нетерпеливо заинтересовался Вовка и посмотрел назад, не подслушивает ли их разговор Геннадий Иванович. Но Геннадия Ивановича уже не было у крыльца: поднялся в клуб.

Алик, видать, опомнился от Митькиного напора, опять непринужденно заложил руки за спину и фертотом прошелся перед ребятами.

— А так, — распаялся он. — Чтобы кулаки потом в-ход не пускать!

О, этого хлыста голыми руками не ухватить. Увидел, что рты пораскрывали, и, будто снова командирские погоны на него нацепили, расквакался, пузырем надулся. Митька только собрался еще раз осадить его, подбирал уж слова пообиднее, как Алик сказал:

— Значит, одна там у них ничего? — Он вприщур посмотрел на Вовку.

Вовка держал в зубах семечко и, поперхнувшись, не раскусил его, проглотил со скорлупкой.

— Ага, ничего, — признался растерянно.

Алику попался под ноги камушек, он отбросил его:

— А какая? Думаешь, я по глазам не вижу, что ты

меня предаешь. Я, как перед другом, перед тобой открылся, а ты...

— Чего я? Чего я? — запетушился Вовка.

— В другой сговор вступаешь, вот чего, — и прикусил язык, опомнившись, видно, что одному против двоих вести спор неразумно. — Я, ребята, предлагаю вам по-хорошему, — опять завел он старую пластинку. — Давайте решим по-мирному: кому какая понравилась, тот пусть за той и ухаживает... Только надо, чтобы за одной двое не оказалось. Давайте заранее распределимся.

Ах, вон оно что! Ну и Алик! Вот это хват! Таких еще в Полежаеве не бывало.

Вовка облегченно вздохнул.

— А чего? Правильно! — сказал он, опомнившись. — Конечно, надо распределиться.

Алик прищурился:

— А ну-ка, ну-ка, Володя, скажи, какая из них ничего-то? — напомнил он о подслушанном разговоре.

Вовка неожиданно расхрабрился:

— А я двух сразу засек. Одна с меня ростом такая, в сиреневом платье с узорами... А другая...

Алик не дал ему договорить:

— Ты, смотри, на беленькую глаз не клади... Заметил беленькую-то? — строго посмотрел он на Вовку.

— Заметил.

— Так о ней забудь. У меня со Светой уже договоренность есть, она со мной согласилась дружить.

— Да, что я, фашист, что ли? Ты еще днем предупредил — и все. Я товарищу дорогу не перейду.

— Ну если бы и переходить надумал, ничего бы не вышло, — обретал прежнюю самоуверенность Алик.

Митька сразу почувствовал какую-то нелогичность в его поведении. Уж если у него со Светкой договоренность, так чего бы и торговаться...

— Ты, Володя, давай... с этой... в сиреневом платьи-

це. Или на другую нацелился? Другая-то кто? — заинтересовался Алик.

— В серой кофточке...

Митька так и сжался весь.

— А-а, Катя, — удовлетворенно протянул Алик. — Ну, она тоже хорошая... Если б не Света, я бы за ней приударил... Вкус у тебя, Володя, есть. Действуй!

Вовка, сияющий, кивнул ему головой. Ну, не поросяенок ли?

В окнах клуба погас свет. Вот так и есть, проженились тут — опоздали в кино. Дверь теперь уже на крючке, и даже льготному безбилетнику Вовке никто ее не откроет. А без Вовки — и думать нечего — не пролезешь в окно.

— Наплевать! — отмахнулся Алик. — Ты что, без кино жить не можешь?

— Могу, — согласился Митька.

— То-то и оно, можешь... А мы сейчас жизненно важные вопросы решаем. — Алик покосился на Митьку и подозрительно спросил: — Ты, Дмитрий, почему-то молчишь и молчишь? Тебе, что, Вера не нравится?

У Митьки присох к небу язык. Он самому-то себе и то не признался бы, что ему понравилась та или иная девчонка, а тут вслух сказать. Он пожал плечами: не знаю, мол.

— Нет. — Алик окончательно взял инициативу в свои руки. — Вера, смотри, очень хорошая.

— Мне-то что...

Вовка, заглаживая свою прежнюю вину перед Митькой, не подумавши, предложил:

— Ну, если он с Верой не хочет, то пусть к Тишихиным девкам ходит. У них еще трое — богатый выбор.

Алик схватился за щеку, будто у него не на шутку разболелся коренной зуб:

— Мамочки мои! Да что ты такое, Володя, советуешь? Ты же разрушаешь наше товарищество!

— Да чего же я разрушаю? Тишихины нравятся, пускай за ними и бегают. Нам-то не все равно?

— Во-о-ло-дя! Да я же не про нас говорю! Я про девчонок. — Алик артистически вытянул руки и затряс ими перед недоумевающим Вовкой. — Ты представляешь, Света и Катя будут с мальчиками гулять, а Вера — одна?

— Представляю, — сдался Вовка и жертвенно предложил: — Ну, давайте я буду с Верой, а Митька пусть с Катей.

Митька почувствовал, как запылало его лицо:

— Да ну вас! Я лучше ни с кем не буду.

— Дмитрий, — не поверил в искренность его слов Алик. — Я, конечно, могу уступить тебе Свету. — Он сникнув задумался. — Только ты знаешь, что у нас был уже с ней договор, и, я боюсь, она не согласится меняться. А я бы, конечно, пошел другу навстречу.

Митька стоял как оплеванный. И домой не рванешь — ребята вон какие уступчивые, — и от необычного разговора было жутко. Он себе и представить не мог, чтобы по-взрослому взять под руку девчонку и вот так запросто — на виду у всех — проводить ее до дому. От одной этой мысли у него уши становились, как пегушиные гребни. Хорошо, что было темно, и никому не разглядеть, как он разалелся.

— А может, нам Славку Соколова пригласить? — подсказал Алику Вовка. — Он не оробеет.

— Да ты что? — вскинулся на него Алик. — Славка же такой неотесанный... И потом... он еще не дорос не только до любви, но даже до дружбы с девочками: всего-навсего пятиклассник.

— В шестой перешел, — уточнил для справедливости Вовка. — На год только и помоложе нас.

— На год... — передразнил его Алик. — Ты не умеешь, Владимир, объективно оценивать время... Ты по телевизору видел, Волжский автозавод показывали?



Вовка недоуменно вскинул глаза, не припоминая, видел он этот завод или нет.

— Так вот, — не дождавшись ответа, сказал Алик. — Там через каждые двадцать две секунды сходит с конвейера автомобиль «Жигули»... Через двадцать две секунды... Понял? А ты — на год моложе... Пускай он за этот год подтянется до нашего уровня. Правильно я говорю, Митя?

Митька опять пожал плечами. А Володька сам же и согласился:

— Правильно! Пускай подтянется. А пока он мал и глуп...

Митька подумал, что сами-то они на целых два года младше шарьинок — и ничего. Алик не перед кем-то другим, а перед Митькой же и оправдывался, что главное-то — не возраст, а взаимопонимание. Но с другой стороны посмотреть: со Славкой, конечно, в таком щекотливом деле лучше компании не водить. В любую минуту может такое колено выкинуть, что со стыда за него сгоришь. Действительно, мал и глуп...

Алик обнял ребят за плечи и повел их от клуба в темноту. Трава была уже сникшей от росы, и ботинки от нее — Митька чувствовал — намокали. Сам-то Алик вышагивал по тропке — ему полбеды. А Вовка с Митькой шли будто бродом: штаны сразу отяжелели от влаги.

— Я, Митя, понимаю тебя, — сочувственно проговорил Алик, — в первый раз осмелиться трудно.

— А чего трудного? — захохотился Вовка. — Я, например, хоть бы что...

— Ну, разные люди, — заключил Алик. — Одни теряются с непривычки, другие нет... Ты, Дмитрий, собери всю волю в кулак...

— Да зачем мне ее собирать-то? — не мог прийти в себя Митька. — Я, пожалуй, домой пойду.

— С братом нянчиться, — подколот его Вовка.

— А хотя бы и нянчиться...

Ох уж, этот Володенька... Опять он распустил ежигные иглы. Давно ли у Митьки пятки лизал, а теперь снова Алику подъялдыкивает: «С братом нянчиться...» А чего в том зазорного?

Алик сосредоточенно молчал.

В ограде у Павлы Ивановны натруженно поскрипывал ворот колодца. Смотри ты, в такой поздний час кого-то за водой принесло...

Митька взгляделся в темноту и узнал Павлу Ивановну. Сама копошится, дня не хватило старухе.

Павла Ивановна поставила ведро на приступок и тоже стала вглядываться в темноту, пытаюсь разобрать, кто идет по обочине.

— Ой, куда это полуношники направились? — узнала она ребят.

— Вечерний моцион совершаем, — охотно отозвался Алик.

Павла Ивановна, конечно, не поняла его, но поддакнула:

— Ну, ну, хорошее дело... А я вот девкам самовар хочу вскипятить. Из клуба придут, так хоть немного погреются.

И угораздило же Вовку всунуться в разговор.

— Ивановна, ты о согрее не беспокойся! — крикнул он. — Им провожатые не дадут замерзнуть.

Павла Ивановна догадливо всхохотнула.

— Уж не вы ли в провожатые ладитесь? — в голосе у нее было удивление. — Ай, угадала? Смотри ты, троицей ходят... И у меня три девки живут...

Вовка подбоченился гоголем — на вершок сразу вырос, — но Алик подтолкнул его локтем.

— Молчи, — приказал шепотом, а вслух сказал: — Да куда нам... лаптем щи хлебать...

Павла Ивановна поняла Алика по-старушечьи:

— Ничего, ребята. Ваш век впереди, придет и ваша

весна, успеете еще, сопровождаетесь, а пока на аршин хоть поподтянитесь вверх. — И ушла с ведром в избу.

Алик после этого сразу сник. Митька догадывался, что Павла Ивановна подсыпала ему соли на раны. Ничего для Алика не сделать больше, как недомерком его обозвать. Один Вовка не унывал, даже предложил пройти по деревне с частушками.

— Скажешь тоже! — осадил его раздраженный Алик. — Ты эту патриархальщину брось! Не девятнадцатый век.

Вовка было заерепенился: причем, мол, девятнадцатый век, в Полежаеве все большие ребята и сейчас с частушками ходят. Но Алик уже не слушал его, о своем думал.

— А знаете, ребята, — предложил он, — давайте шарынкам скажем, что мы в восьмой класс перешли.

Видно, слова Павлы Ивановны не на шутку разволновали его. Сказать можно, конечно, все, но Вовка забеспокоился:

— Ой, а если спросят чего? Я за шестой-то и то половину забыл.

Алик на него рассердился:

— Они что, экзаменационная комиссия, что ли? А если надо будет, так я им по физике за институт наговорю, не только за восьмилетнюю школу...

Алик намекал на то, что он серьезно занят проблемой беспроводного телефона, изобретать который начал еще до переезда в Полежаево, а здесь, в Полежаеве, пошел по принципиально новому пути и, кажется, близок к финишу.

— Подождите, придет и мой час...

Вовка завистливо сглотнул слюну.

Митька продрог стоять у клуба: ночи были уже далеко не летние, от реки надувало туман, и пиджачиш-

ко у него наволг, как вата. Да было бы ради чего и стоять... Алик с Вовкой наседали на него, укоряли в измене, в подрыве товарищества, а Митька как на каменной сковородке находился. Зажмурит глаза да представит, что шарьинки из клуба вышли и ему надо к ним подходить, так сердце и опускается в пятки. Ничего с собой не поделаться. Не подойти к ним — и все.

Свет в окнах клуба вспыхнул неожиданно, от него на улице стало просторнее и будто бы даже теплее. Алик первым юркнул за дерево в тень, поманил за собой ребят.

— Сейчас выйдут... Пусть не думают, что мы их поджидаем. А то загордятся... Женщине, знаешь, волю дай, так быстро на шею сядет.

Митька чувствовал себя неуютно: ну, о чем он будет с шарьинками говорить? Он со своими-то, с полежаевскими девчонками, и то не больно речист (а уж у них-то бы можно найти, о чем спросить!), для шарьинок же и вопроса подходящего не придумать. Один раз опозорился — хватит. А ну как Светка начнет его снова поддевать под ребра — не только перед девчонками, перед ребятами и то стыдно. Нет уж, ребята, вы их разговорами ублажайте, а Митька молчком пойдет. Раз для компании нужен, миритесь и с молчуном. Хорошо, что ночь темная и никто в Полежаеве их не увидит. Только бы проскочить незамеченным мимо клуба, а то очень уж яркими полосами падал из окон свет.

— Митя, так ты с которой будешь, с Верой иль с Катей? — шепотом спросил Алик.

Митька молчал как рыба, ужасаясь своей слабыхарактерности. Он даже сейчас-то, когда шарьинки не вышли из клуба, уже обливался потом от того, что ему предстояло принять участие в этой мушкетерской затее. Надо бы прямо и заявить: «Ни с которой!»

— Ладно, Катю бери, — поразмыслив, свеликодушничал Вовка.

И у Митьки рубаха прильнула к потной спине.

Из распахнувшихся дверей ударили клубы пара. На крыльце тоже стало светло, и Митька узнавал всех, кто выходил из клуба.

Шарьинки не появлялись долго, Митька уж было подумал, что они остались на танцы — вот тогда-то он бы с чистой совестью и рванул домой, — но они высыпали на улицу как горох, сразу шесть, и защебетали растерянно, пугаясь ослепившей их темноты.

— Девчонки, ничего под ногами не вижу! — засмеялась одна.

— Светка, — шепнул Алик ребятам, гордясь тем, что узнал шарьинку по голосу, и вышел из засады:

— Девушки, нам по пути, — сказал он простецки. — Пойдемте, мы покажем дорогу.

Ни Вовка, ни Митька не полезли из укрытия на свет.

— Ну да, — набычился Вовка. — Мы ведь не одурели, трое-то с шестерыми идти, — оправдывался он и перед собой, и, видимо, перед Митькой.

Алик обеспокоенно оглядывался.

— А-а, это вы, наш квартирьер, — обрадовалась ему Светка. — Вы всегда появляетесь будто сфинкс.

Алик польщенно улыбнулся, а сам уже тоже ослеп на свету и щурился, когда вглядывался туда, откуда только что заявился. Он подвернулся к шарьинкам боком и воровато, чтоб они не заметили, стал подзывать к себе ребят жестами. Рука у него энергично ходила по-за спиной: идите! идите!

— Держи карман шире! — сплюнул Володька. — Сначала этих троих отшей.

Алик не дождался своих сподвижников и, кажется, понял, что не дождется, потому что перестал зазывать их рукой.

— Ну, пойдемте, — сказал он растерянно. — Я буду предупреждать вас, где канава, где мостик.

Перед тем как шагнуть со света в темноту, он из-за спины погрозил ребятам кулаком.

Вовка завозился за деревом.

— Ох, ох, испугал, — насмешливо передразнил он Алика и, сунув в рот пальцы, пронзительно свистнул.

Девчонки всполошенно заозирались.

— Да не пугайтесь, — стал успокаивать их Алик, — это мальчишки балуются. У нас хулиганья нет, народ спокойный. — Он уводил их, не оглядываясь.

Алик наскაკивал на Володьку молодым петушком: — Ну, договорились же! Тебя же за язык никто не тянул, сам вызывался мне в товарищи. Митька вон хоть честно отказывался, а ты чего говорил? Ты говорил...

— Ничего я не говорил, — потупился Вовка. — Только и сказал, что одна из них ни-че-го-о...

— Ага, одна, — наседавал на него Алик. — А кто соглашался с Верой гулять?

— Ну, я соглашался, — приходилось отступать Вовке. — Так тут же их было шестеро... Я одну Светку твою и узнал, а которая Вера, не мог понять...

— Не мог не мог, — наступал Алик. — Сам же говорил, в серой кофточке.

— Здравствуйте! — обрадовался Вовка. — В серой-то кофточке Катя... А остальные все в платьях были.

Алик сконфуженно замолчал — это надо же так промахнуться — и уже примиряюще сказал:

— Ну, прислушался бы к их разговору, понял бы, кого Верой зовут.

— Ага, понял бы... — почувствовал слабинку в его напоре Володька. — А мы же не договаривались на шестерых, ты троих обещал...

Алик всплеснул руками и снова загорячился:

— Ну, что за чудо гороховое. Это сначала их было

шестеро, а до Тишихина дома дошли — и трое осталось... Балда! — не сдержался он, и это было так на него непохоже, Алик и ругательных-то слов, казалось, не знал. — Лучше-то момента и не бывает. Проводили бы чинно-важно до Тишихи. Можно сказать, выручили бы всех шестерых. А потом-то трое на трое бы и остались. Теперь-то хоть кумекаешь, что к чему?

— Кумекаю, — сдался Володька. — Я, конечно, немного и оробел... У меня такой смелости нету, как у тебя.

На Алика похвала подействовала, он сделался сразу покладистее.

— Ничего, обвыкнетесь. — Алик отечески похлопал Вовку по спине. — У нас в Улумбеке обычное явление — с девчонками провожаться... Я с одной с третьего класса ходил, да потом разошлась, так еще четырех сменил...

— Ну? — развесил уши Володька.

— А чего? — расхрабрился Алик. — У нас в Улумбеке все ребята такие... Ну, может, у них и не по пять девочек было, как у меня, может, по три... по четыре у некоторых... А по одной ни у кого не было... Надо только смелее! Девчата за смелость любят.

Митька не очень-то верил бахвальству Алика. Но смелость у парня была. Тут уж ни убавить, ни прибавить. Вовка на что бесшабашный человек, но в последний момент и то спасовал. А уж как храбрился. Алик же будто только и занимался тем, что знакомился с девочками.

— Ну, так завтра начнем по-новой, — предупредил Алик строго. — Завтра чтобы не отступать...

Вовка понял, в чей огород брошен камушек.

— Ну-у, завтра-то я уж не подведу. — Он опять прибавился в росте, расправил плечи. — Митька бы только не подкачал...

Митька намеревался было отказаться, свалить на Ни-

колку — мол, мать и вечером навялит брата ему, — да язык опять присох к небу, и Митька, еще не веря себе, почувствовал, что ему неохота отставать от ребят, и он молча кивнул: «Приду»...

От Алика не скрылось Митькино замешательство, и он, истолковав его по-своему, поднажал:

— Дмитрий, мы же не в учебное время, у нас каникулы... Это в учебное время любовь на успеваемости сказала бы... А сейчас... — Он с напускной беспечностью развел руками: как же, мол, ты не поймешь такой простой истины, и вдруг встрепенулся. — Между прочим, некоторым помогает и в успеваемости. Вот у нас в Улумбеке был один парень... Как же его фамилия? — Даже в темноте было видно, как Алик наморщил лоб. — Вот черт, вылетело из головы... Ну, со мной же в одном классе учился... Отпетый двоечник был, а влюбился в девчонку — на четверочки пересел.

— Не завирай, — остановил его Митька.

— Да вот же... не верит, — удивился Алик. — Он же со мной вместе учился... Да Васька же Одегов! О, вспомнил, Васька Одегов. Правильно.

Вовка опять переметнулся на сторону Алика:

— Ну, чего ты, Алик, убеждаешь его? Он верит тебе, только девочек боится. А виду не хочет показать.

Ну надо же, до чего неустойчивый человек! Сума переметная, а не Вовка...

Но Алик не воспользовался Вовкиной поддержкой, понимающе посочувствовал:

— Я первый раз тоже боялся... Знаете что, ребята. А вы письма напишите им... Ты — Кате, а ты — Вере... Так, мол, и так, как увидел вас, так и не нахожу нигде места. Влюблен, мол, и все такое прочее... Если смелости нету, через письма легче. А я со Светкой передам. Ой, любят они такие письма получать! Вот у нас в Улумбеке был случай...

Про случай Алику рассказать не довелось, потому



что его мать, Мария Флегонтовна, ходила по деревне, искала сына.

— А-а-лик, — обрадовалась она, наткнувшись на него в темноте. — А я все Полежаево обегала, а потом сюда кинулась: слышу — тут говорят. Ты ведь меня с ума сведешь. Времени двенадцать часов, а тебя все нет и нет...

Вот всегда так: на самом интересном обязательно родители помешают...

Чудо из чудес — Алик Макаров отправился за льнотеребилкой снопы вязать. Никогда не бывал на колхозной работе, а тут за шарьинками увязался и до вечера пропадал в поле.

Перед ужином, руки не отмыв, прибежал к Митьке хвастаться.

— Видал? — растопырил он пальцы. Ладони у него непривычно зазеленились, кое-где кровенились ссадинами. — Сразу видать рабочего человека!

Алик самодовольно прошелся по избе, держа руки на весу, как хрустальные драгоценности, которые по неосторожности немудрено и разбить.

— Отмоются, — разочаровал его Митька. Уж он-то знал, что вечных ни мозолей, ни ссадин не бывает, а льняная зелень и до утра не продержится.

— А-а, ничего ты не понимаешь, — отмахнулся Алик и побежал выхваляться перед матерью. Ну, эта, конечно, разохается. Алику же только того и надо. Вон до чего расказаковался, что даже про письмо у Митьки забыл спросить. А сам же вчера советовал.

Митька, может, весь день промаялся, все думал, с какого боку за это сочинение сесть. И выходило, что письмо написать несколько не легче, чем провожатым пойти. Вот уж где помощь-то опытного человека нужна.

А ты, Аличек, и не подумал даже ее оказать. Все для себя стараешься.

Шарьинки шумной гурьбой проскочили под окном. Митька выглянул из-за косяка.

Катя была в фуфайке, в резиновых сапогах. Такими геологов на картинках рисуют — любую тайгу пройдут! Кате очень шли и сапоги и фуфайка. На голове, повязанном белым платком, лежал венком льняной поясок. Ох, васильки сейчас отцвели — вот бы из васильков. Хотя ей, конечно, и этот веночек к лицу.

Митька подошел к зеркалу: вихры на голове торчали, как у ежа иголки. Он поплевал на руку, пригладил мокрой ладонью волосы. И обомлел...

В зеркале, за его спиной, стоял Вовка Воронин.

— Чего коровий зализ делаешь? — спросил ехидно.

Вот неладная принесла! Застал за девчачьим занятием.

— Да вот, смотрю. Думаю, перед школой надо ли подстригаться, — слукавил Митька.

Но Вовка пропустил его оправдание мимо ушей.

— В клуб пойдешь? — И будто не Митьку спросил, а самого себя и разочарованно сморщился. — А я чего-то раздумал.

Вот тебе раз!

— А уговор? Про шарьинок-то ты или забыл?

— А ну их! — скривился Вовка. — Вертихвостки они!

Еще одна новость! Ну-ка, ну-ка, чего там такое стряслось, пока Митька нянчился с братом?

— Ты что, лен тоже вязал?

— Было дело под Полтавой, — невесело отозвался Вовка. — Алик меня зазвал... — И чтобы не томить Митьку неизвестностью, сообщил: — Витька Зотов во-круг них увивается.

Ну, Витька Зотов один, а шарьинок шестеро...

Вовка будто прочитал его мысли:

— Так они же все: хи-хи-хи да ха-ха-ха... Он им всем нравится.

Ну понятно: такая неопределенность хуже всего. Витька Зотов, конечно, опасный конкурент. Он уж школу закончил, второе лето льнотеребильщиком в колхозе работает.

Но и это, оказывается, не все...

Вовка совсем расстроился:

— Коля Попов приезжал на машине в поле... И тоже к ним... Давайте, говорит, с ветерком прокачу.

Ну, Коля своего не упустит...

— А они-то что? — холодея, поинтересовался Митька.

— Хохочут...

Вовка все-таки чего-то не договаривал. Почему, к примеру, он приплелся как собака побитая — Митька и не услышал, как он вошел, — а Алик прилетел будто па крыльях? Уж не тому же Алик радовался, что руки зазеленили? Тут чего-то не то-о-о...

— Алик вот ко мне прибежал развеселый. — Митька стал подталкивать разговор на нужные рельсы.

— А ну его, Алика!

Ого-го! Шарьинок — ну, Алика — ну! Разнукался.

Вовка, видно, и сам заметил, что раздражение льет из него через край, пояснил:

— Алик, как глухарь, глаза закрыл и токует. От своей Светки и на шаг не отступил...

Ах, вон оно что... Алику, значит, наплевать на товарищей. У самого получается — и хорошо. То-то он прибежал перед Митькой руками трясти и ни словом ведь не обмолвился ни о письмах, ни о сегодняшнем вечере. Ну, заяц, погоди-и-и... Мы тебе и сегодня программу сорвем. Провожай снова всех шестерых! Натоку-ешья-я-я...

Митька весь вечер просидел у окна. На ногу веревочную петлю от зыбки надел — и кач-покачивает. Даже мать всполошилась:

— Митька! Ты в своем ли уме! Испроказишь мне парня. Привыкнет, чтобы качали во сне, — покою ведь никому не даст...

Это верно, не даст. Но Митьке-то что прикажете делать? Книжку читать — так и страниц уж не видно. На улицу идти — и за вчерашнюю ночь намерзся. Не будешь же матери объяснять, что он хочет укараулить Алика. И в то же время без дела станешь у окошка торчать, так мать сразу спать и прогонит.

— Мама, да чего-то Николка ворочается...

— Ну и пусть поворочается, не барин... Ты уж сегодня к нему чего-то больно привязанный...

Все, дело пахнет керосином, больше сидеть нельзя. Митька вздохнул, пошлепал босыми ногами к выходу.

— Куда это, на ночь глядя?

— В нужник.

Мать успокоилась. Митьке только бы из дому вышмыгнуть, а там ищи ветра в поле.

На улице было холодно, долго зимогорить не будешь.

Митька нашел под лестницей отцовские резиновые сапоги, натянул их на ноги. Голенища упирались в паха. Ну да ладно, может, еще и лучше, что они длинные: если и травой придется идти, штаны сухими останутся.

У Павлы Ивановны горел свет. Митька спустился с горы. И, недолго думая, махнул в огород к Павле Ивановне.

Ха-ха-ха, вот где идеальный-то наблюдательный пункт! Дорога просматривается как на ладони. И скамеечку под окнами у Павлы Ивановны видно. Теперь только набраться терпения...

В лугах неохотно скрипел коростель. Видно, и его принимал холод: покрякает, покрякает, подражая утке, да замолчит. А молчание-то дли-и-тельное. За это

время до клуба добежать можно и обратно вернуться.

Митьку передернул озноб.

И все-таки долго ждать не пришлось, все-таки повезло Митьке. Как говорят, есть счастье в жизни...

Девчонки уже спускались под гору, трое, Тишихины на отворотке свернули. Господи, да ведь только двое идут-то? Нет, за ними еще два человека... Ты смотри, сзади-то Алик Макаров со Светкой! Голубем прямо разворковался! Бу-бу-бу... Бу-бу-бу...

Митька прислушался. Пока голоса слышно было невнятно. Но уже можно было разобрать, что говорил один Алик, а Светка молчала.

Вскоре Митька разобрал, о чем Алик пел. Ну, конечно же, о беспроводном телефоне!

— Вы знаете, — заливался он, — еще у персидского царя Кира, в шестом веке до нашей эры, беспроводный телефон безотказно действовал...

— Так чего же его и изобретать? — спросила Светка.

— Да нет, не подумайте, что у него были телефонные аппараты. Он просто отобрал тридцать тысяч человек с хорошим слухом и, как у нас говорят, с луженой глоткой, расставил их на холмах на некотором удалении друг от друга, и они передавали предназначенные для царя сообщения.

Ну, Митька эти басни от Алика уже слышал. Знает, что за день по такому телефону известия передавались на расстояние тридцатидневного перехода. Сейчас Алик, наверно, ошарашит Светку и этой цифрой...

Точно, Светка изумленно охнула.

А сейчас Алик расскажет про американского изобретателя Белла, который в одна тысяча восемьсот семьдесят шестом году запатентовал первый в мире телефон...

Точно, сотни раз пропетая песня.

— И вы знаете, — воодушевлялся Алик, — через два часа после Белла в патентное бюро обратился с такой же заявкой другой изобретатель — по фамилии Грей. Против Белла состоялось шестьсот судебных процессов, и все шестьсот Белл выиграл, потому что он подал заявку на готовый телефон, а Грей хотел запатентовать лишь идею.

— Алик, так зачем же изобретаете телефон вы? — наивно удивилась Светка.

Девчонки впереди прыснули и тут же подавили смех, зажав рты ладонями. Они уже поравнялись с Митькой, и Митьке показалось, что Катя подозрительно всматривается в его сторону. Неужели заметила, что в траве сидит человек? Нет, прошли мимо, но Катя все-таки оглянулась, замедлила шаг — у Митьки сердце сжалось: вот позору-то будет... Ну и поизмываются над Митькой девчонки... Скажут, а это что за чучело тут торчит? Не от Аликова ли беспроволочного телефона проводка?

Катя, как при замедленной съемке, отвернулась от Митьки — ну-у, кажется, пронесло — и подзадорила Алика:

— Ой, и нам интересно, зачем вы изобретаете телефон?

— Так я же беспроволочный! — заволновался Алик. — Это же какая экономия металла! Не надо тянуть линию. — Алик вскинул правую руку к небу, где, невидимые, над ними гудели провода. — Не надо готовить столбы!

Митька отметил, что Алик с шарьинкой идут не под ручку, а на довольно-таки значительном удалении друг от друга.

— Алик, — опять наивным голосом спросила шарьинка, — а как же быть с радио? Оно же беспроволочное?

— Так я и знал, — сокрушенно ужаснулся Алик. —

Ничего не понимаете в технике... — и принялся возбужденно объяснять: — Радио — это же что такое? Миллион приемников настроились на волну передатчика — и все слышат. А я-то, может, для одного кого-то передаю, у меня, может, секретные сведения... Вот почему во время войны под кинжальным огнем телефонную связь тянули? Один связист погибнет, другой на верную гибель идет... Потому что у телефона есть преимущество перед радио — секретность.

— Вы смотрите, а я и не догадывалась! — в какой уже раз удивлялась Светка. — Вы непременно станете большим человеком. Если изобретете свой телефон.

Митька понял, она насмешничала над Аликом.

Ну, Алик-то, конечно, принял ее похвалу за чистую монету, и это прибавило ему смелости.

— Света, — сказал он, — давайте немного отстанем от девочек.

А уж некогда отставать, подошли к дому Павлы Ивановны. Лучше бы предлагал на скамеечку сесть, а он, растяпа, -- «отста-а-нем...».

Светкины подруги сразу же, расхохотавшись, юркнули в дверь. Светка рванула следом за ними. Даже за руку не простилась со своим ухажером. Только и сказала:

— Чур! Один аппаратик своего телефона для меня изготовьте. Я с вами буду по ночам разговаривать, чтобы шпионы нас не подслушали. Привет!

Вот как, миленький, товарищей-то бросать! Сам же вчера учил, что надо всем коллективом действовать. Их-то трое, и нам надо троим...

Митька торжествовал, хотел даже выскочить из огорода, поиздеваться над Аликом: ну, что, мол, получил по заслугам?

Да ведь подглядывать за товарищем — все равно что ябедничать. Узнают ребята — нехорошо-о. Поэтому

Митька плотнее прижался к земле, чтобы Алик не заметил его, когда пойдет мимо.

И опять Митьку необоримо держало около себя окно — целых полдня просидел возле него. Спроси зачем, так, наверное, не сумел бы ответить. Ну, сидел и сидел, поглядывал на дорогу, убегающую в поле к Заречной Медведице. Надо же человеку куда-то смотреть... Не сучки же на потолочинах выискивать...

Он заметил шарьинок издали. Еще толком и не знал, они ли — из-за покатога бугра на фоне неба выросли лишь одни головы, — но, кроме шарьинок, по этой дороге такой гурьбой идти было некому. Раз, два, три, четыре... Со счета сбился. Конечно, они, шестеро.

Митька схватил висевший на гвоздике пиджак, натянул на плечи и выскочил на улицу, благо брат был укачан, спал в зыбке.

Пиджак на спине коробился, Митька чувствовал это, ощущал кожей пустоту, но сбрасывать его было поздно — девчонки вывернули из-за поворота, входили в деревню.

Митька, съезжившись, пошел им навстречу, хмуро напустив на себя озабоченный вид — или не поймете, по делу иду.

Ботинки у него с утра были начищены, блестели сейчас носками, ловили, как в зеркало, солнышко.

Светка, конечно же, всплеснула руками:

— Ой, Митрий, вы, похоже, без нас в кино отправляетесь?

Ну, не бестия ли? Обязательно надо подковырнуть...

— Какое среди бела дня кино? — отозвался он, не смея поднять взгляд и норовя побыстрее размянуться со Светкой.

— Да ведь вы нас в прошлый раз в кино приглашали, — невинно напомнила Светка, не давая ему уйти. —



А сами почему-то и не пришли. — Она недоуменно пожала плечами. — Я уж в клубе всю шею извертела, всё выглядывала, нет ли вас. Так и не увидела... А очень хотелось с вами рядышком посидеть...

Вот такой попадешься на язык — так и жизнь немила станет. Не зря Павла Ивановна предупреждала: Митя, держись от нее подале. Действительно, такую лучше за три версты обойти.

— Некогда, — буркнул Митька.

— Ну да, я помню, — вздохнула Светка. — Вы очень занятый человек. Павла же Ивановна тогда говорила. — Она еще раз вздохнула. — А может, все же придете? Может, выкроите часок?

Ну, Митька, и понесло тебя на огонь... Сидел бы себе в избе, так выскочил...

— А вам разве Коли Попова и Витьки Зотова мало? — спросил он задиристо.

— Мамочки, и он уже знает! — ненаигранно удивлять Светка, но тут же сразу и подбоченилась. — Ой, Митенька, не ревнуйте меня к ним. Я вас очень прошу. Я не виновата совсем... Кроме вас, мне никто здесь не нравится. — Она и руки прижала к груди.

Митька понял, что снова попал впросак. С такой прилипалой рот лучше и не открывать: что ни скажешь, все невпопад.

— Да мне-то чего ревновать? — не удержался Митька. — Нужна ты мне очень!

Девчонки одобрительно захохотали:

— Правильно. Пусть не пристаёт.

А Светка притворно заохала:

— Ах, какой грубиян, какой грубиян, — и головой закачала.

Митька рванул спорым шагом от нее вдоль деревни, и сам не зная, куда торопится. С пригорка оглянулся.

И именно в этот самый момент оглянулась и Катя. Митьку всего прошило ознобом.

Митька выковырял из копилки горсть пятаков. Все! С него достаточно, больше он через окошко лазить не будет. В конце-то концов, не маленький. Ведь это же чистый позор, если киномеханик заметит, что Митька пробрался в клуб безбилетником, схватит его за шиворот, как котенка, да и поведет через весь зал к дверям. Вот, мол, вход-то, во-о-от.

Митька вообразил такую картину, и у него мурашки заскребли по спине.

Все, пора взрослым становиться. Чем он хуже Алика?

Что там про Алика ни говорите — и хвастун, и трепач, и бездельник, — а человеческое достоинство он бережет, безбилетником в окно не полезет.

Стоило Алика вспомнить, Алик тут как тут. Легко на помине.

— Митя, они к вашим подкатываются, — сообщил он, подладившись к Митькину шагу.

— Кто «они-то»?

— Да что, тебе Володька разве не говорил? — Он даже заморгал от неожиданности. — Ну, кто же еще? Коля Попов и Витька Зотов.

Вовка-то об этом ему говорил, а вот ты, Аличек, руками своими помахал перед Митькой и убежал. Ведь знал, зна-а-ал, что над товарищами опасность нависла, а промолчал. Своя рубашка ближе к телу... Так, что ли? Не дала бы Светка тебе от ворот поворот, так и сегодня, пожалуй, не вспомнил бы о своих единомышленниках.

— Ну и пусть подкатываются, — сделал обманный ход Митька. Надо же проверить, чего стоит дружок теперь. Может, только и ждет такого ответа? Может, давно готов объединиться с Колей Поповым и Витькой Зотовым?

Алик не попался на удочку:

— Да что они? Не могли к Тишихиным девкам пристроиться? Тишихины-то незанятые пока!

Тут Алик на сто процентов прав. Да ведь прав не прав, а что теперь сделаешь?

— Надо решительно действовать! — как в заклинании, поднял кулак Алик. — Или сегодня, или никогда!

Митька кивнул ему головой, и Алик, успокаиваясь, улыбнулся.

— Ты у меня учись, — он понизил голос, оглянулся, не идет ли кто сзади, и сообщил: — Моя-то вчера мне в любви объяснилась. Вот уж никак не думал, что за один вечер втюрится...

Ну и бахвал! Ври, ври, да не завирайся...

Митька хотел осадить хвастуна, но и себя под монастырь подводить нельзя: шпионить за товарищами нехорошо. И он, стараясь скрыть на лице разоблачающую ухмылку, отвернулся от Алика и деланно завистливым голосом сказал:

— Где уж нам уж, как уж вам уж...

Алику такая Митькина завистливость пришлась по душе:

— Ну, ты же знаешь, девчонки ко мне сами льнут...

Ого, Митьку же и в свидетели привлекает. Ничего, дорогой, не выйдет.

— А откуда мне знать? — отказался он от свидетельской роли.

— Здравствуйте! А разве я вам с Володькой Ворониным не рассказывал, что у меня в Улумбеке было шесть зазноб?

— Ты, кажись, говорил, что пять, — поправил Митька.

Алик начал загибать пальцы:

— Нелька — раз... Это с ней я с третьего-то класса ходил... Зинка Вахромеева — два, Нинка Забияченко — три, Роза Смирнова — четыре, Манька Щепина — пять, Лида Огурцова — шесть... — показал на загнутые пальцы. — Значит, я Нельку не засчитал тогда... Забывать уж стал... ну, так это когда и было — забудешь. — Он

сожалеюще прицокнул языком и вздохнул. — Я, пожалуй, специальную тетрадь заведу, чтобы их записывать. А то разве всех в голове удержишь? Столько их! — Алик небрежно махнул рукой.

Митька ничего ему не сказал. И подумал, что одна хорошая заменит всех его шестерых. Еще и седьмую — Светку — в придачу. Да он, признаться, не очень-то и верил Аликовой похвальбе. Уж сколько раз бывало: наговорит с три короба, а на поверку оказывается — вранье. И все же верить Алику Митьке хотелось.

При выходе из клуба Алик снова напомнил ребятам: — Ну, братва-а-а, действуй решительней!

Вовка подмигнул ему: «Вас понял», — и подтолкнул локтем Митьку. Вовка всегда готов за товарищество погибнуть.

— Да я сейчас... — загорячился он. — Я сейчас первым за ними ринусь...

Шарьинки уже спустились по лестнице на улицу и растворились в темноте.

Вовка, расталкивая людей, устремился за ними.

— Да подожди ты, — попытался остановить его Алик.

Но где там? Вовка гарцеровал на боевом коне! Девиз для него обозначен четко: «Сегодня или никогда!»

В темноте он не сразу сообразил, куда подевались девчонки, потому что на лужайке было полно народу. Кто-то выскочил просто охолонуть от духоты, переждать, пока в клубе не проветрят, и вернуться на танцы. Кто-то не мог опомниться после кино, и ему обязательно надо было выговориться, навязать свое мнение соседу.

Шарьинки, пританцовывая от льнувших к ногам комаров, шушукались под березами. Вовка опешил. Не будешь же наседать на них — провожу, мол, до дому, —

когда они, похоже, домой-то идти еще и не ладилась. Даже Алик, и тот растерялся.

Нет, все же тронулись. Разделились по трое и пошли... Хотя постой-постой... Одна партия в клуб повсрнула, а другая домой. Но, господи, как они разделились-то? Не на Тишихиных и Павлы Ивановны, а вразнойбой... Катя-то в клуб убежала...

Митька остолбенел. С товарищами идти, так с какой стати? С товарищами ему равным счетом нечего делать. И одному оставаться в клубе бессмысленно. Он, один-то, к Кате и не подойдет. Это ведь компанией хорошо на такое дело идти, а в одиночку — все равно что за электрический провод хвататься голыми руками...

Митька, выдерживая дистанцию — чтобы уж и не очень близко (зачем людям мешать?) и чтобы не так уж и далеко (все-таки интересно послушать, о чем говорить будут!), — поплелся за ребятами.

Алик — тот бойкий — сразу присоединился к шарьинкам с левой стороны. Шел, пинал ботинками аптечную ромашку — перед клубом ееросло, хоть с козой выходи. Обрываемые головки только потрескивали.

А Вовка, видать, порастерял свой пыл — куда и храбрость девалась? — тащился за девчонками сзади, как пастух за стадом.

— Алик, — сказала Светка безжалостно, — нам надоело слушать про ваш телефон.

Митька уловил в ее голосе раздражение.

— И вообще, — продолжала она, — мы уже знаем дорогу домой без вас. А вы не теряйте-ка время попусту. Отправляйтесь работать над телефоном...

Вот тебе раз! Отшивают!

И в этот самый момент Вовка-то и переборол в себе робость.

— Разрешите, — ткнулся он между Светкой и Верой и попытался девчонок рассоединить. Все честь че-

стью, как у больших парней. Но разве не слышал он, чего говорила Светка? Или уж так долго насмеливался, что не хватило времени затормозить?

Онемевшие шарьинки сдвинулись поплотнее:

— Еще чего? — возмущенно обернулась Светка. — Молоко на губах не обсохло, а туда же...

Вовке-то не отступать же, раз начал! Он лег грудью девочкам на руки, но они сцепились будто замком.

Ну, тут уж самолюбие у Вовки взыграло! Он сложил руки колуном, поднял их, как кувалду, и со всего маху резанул вдоль девчоночьих плеч.

— Не жди покрова, руби капусту! — воинственно провозгласил он.

Тут уж шарьинки скособочились, распустили замок.

— Ой, ой, мамоньки, что за бандиты такие...

А если бы это Катя была? Да ведь сквозь землю провалиться можно. Митька отскочил сразу за дерево.

— Чо-о-кнутые! — чуть не ревела Светка. — Из дурдома, что ли, сбежали? Вас ведь несвязанными-то нельзя и выпускать...

— А сами-то хороши, — не мог успокоиться от нахлынувшего на него азарта Вовка. — К вам по-человечески, а вы... Я ведь вас под руки хотел взять...

Митька панически оглядывался: а ну как Катя видела все? Вот позор-то: еще подумает, что и Митька приставал к ее подругам?

— Недотроги какие, — возмущался Вовка. — Их под руки берешь, а они...

— Еще чего? — Светка задохнулась от гнева. — Под руки он захотел! Мелюзга пузатая.

Ну, это уж она через крайхватила. Говори, да не заговаривайся.

— Мотай отсюда! — разгорячился Вовка. — И чтоб мои глаза тебя больше в клубе не видели!

Но не на таковскую, видно, напал: Светка — никто не ожидал этого! — толкнула его руками в грудь. Вов-

ка едва устоял на ногах. Ошарашенно уставился на нее. Светка еще раз толкнула его.

— А ну, сам отсюда мотай! Шантрапа босоногая!

Она разошлась не на шутку. Углядела ведь в темноте и палку, выхватила ее и, как с копьем, пошла с нею наперевес к Вовке. Вовка благоразумно отступил за березу. Но, чтобы не давать шарьинкам повода считать себя побежденным, крикнул из темноты:

— Я предупредил тебя: не показывайся больше в клубе!

Светка бесстрашно захохотала, взяла девчат под руки и, не оглядываясь, повела их домой.

Тут-то Алик Макаров и опомнился.

— Володя, что ты наделал? — запричитал он.

— А чего они? В чужой деревне нос задирают...

— Володя, да ты же испортил все.

— Ла-а-дно тебе, испо-о-ртил, — передразнил Алика Вовка. — Если хочешь знать, я тебя выручал. Ты думаешь, больно мне и хотелось волочиться за ними. Это все ты: «Давайте, ребята, давайте!» Давало какой нашелся...

Алик тоже раскипятился:

— Ну, знаешь ли... — Он не находил слов. — Разве я думал, что с такими оболтусами свяжусь? До четырнадцати лет дожили, а никакого опыта в этих вопросах... Разве девчонкам грубят?

— А-а, катись ты! — отмахнулся Вовка. — Видел я, как она тебя, ласкового-то, телефон изобретать отправляла.

— Да что ты понимаешь в женском характере? — взвился Алик. — Это же обыкновенный каприз. Человек просто не в настроении, а ты...

Вовка присвистнул:

— Каприз...

— Если хочешь знать, она мне вчера в любви признавалась... Вот Дмитрий знает...

Вовка изумленно замолк. Да тут любой невера на его месте заткнется, когда Алик в свидетеля пальцем тычет.

Вот уж новость так новость! Вовка Воронин прискакал с нею к Митьке на одной ноге.

— Витька Зотов уже два вечера провожает Светку! От такой новости упадешь и не встанешь!

— Вот тебе и в любви объяснялась...

Тут уж Вовка ясно, в чей адрес стрелы пускал. С Аликом у них никакого мира не стало. Считай, два дня как кошка с собакой живут.

Вовка ходил по избе возбужденный:

— Витька-то и сейчас с нею сидит под окошком у Павлы Ивановны.

— Да?

В таких случаях говорят, рус не верит — дай проверить. Митька не усидел в избе и минуты, схватил брата в охапку — и на улицу.

Точно, шарынка сидела с Витькой Зотовым на лавочке, любезничала. И ведь среди бе-е-ла дня... Один на один, а не трое на трое... Вот это да-а-а...

Видел бы такую картину Алик Макаров...

А у Вовки уж и у самого голова работала в этом направлении.

— Бумага есть? — спросил он обрадованно. — Мы ему сейчас письмо про любовь накатаем! Ой, умора!

Он хохотал, хлопал себя руками по ляжкам.

Правильно, пусть почитает. Алик их давно подбивал сочинять любовные послания. Только они совсем-то еще не выжили из ума — ни с того ни с сего незнакомым девчонкам писать. А ему, Алику, с преогромнейшим удовольствием состряпают признание в любви.

И бумага, конечно, найдется. К новому учебному году мать уже сто тетрадок купила. Вырывай из любой!



Сели писать, а слова-то и не идут. Нету их. Как нем-  
тыри безъязыкие. Только и придумали пригласить Али-  
ка на свидание.

«Хочю тебя видеть. Приходи срочно к Павле Ива-  
новне на скамеечку.

Света».

Алик прочитал записку, осуждающе посмотрел на  
Митьку.

— После шипящих «ж», «ш» и «ч» пишется «у», а не  
«ю», — презрительно сказал он.

Митька заглянул Алику через плечо и покраснел: а  
ведь и правда, «хочю» написано не по правилам. Ох,  
Ефросинья Карповна такой ошибочки не простила бы,  
в полстраницы бы залепила пару.

— Ну, так они же медики, — оправдался Митька.

Алик строго уставился на него:

— Думаешь, я не знаю, что Светка гуляет с Зото-  
вым? Все-таки вы, ребята, юнцы, ни-и-чево-ошеньки не  
понимаете в этих вопросах. Опыта надо вам набираться...  
Без опыта пропадете.

Куда-то Алик гнул уже не в ту сторону.

— Я не обижаюсь на розыгрыш, — возвестил он ве-  
ликодушно. — И Воронину передай, что у меня к нему  
нет никаких претензий. Ну погорячились — и хватит.  
Пора о ссоре забыть... Жизнь, ребята, идет вперед.

Он разорвал письмо в клочья и бросил его под умы-  
вальник в таз. А Вовка-то, дурачок, в это время пря-  
чется за поленницей, ждет, когда Алик отправится на  
свидание. Нет, браток, видать, не дождешьсяя.

— Дмитрий, — сказал Алик. — У меня есть новое  
предложение... — Он выждал паузу, наслаждаясь тем,  
что его загадочность производит на Митьку необходи-  
мое впечатление. — Мы сегодня пойдем к Тишихиным  
девчонкам... Они значительно красивее и умнее тех...

ну, ты знаешь, о ком я говорю... Я сегодня уже беседовал с Маней Сорокиной — воспитанная, интеллигентная девушка... — Он спохватился: — Нет, ты не думай, не одна Маня такая. И Наташа Павлова, и Нина Созинова — все очень развитые... В общем, я приглашаю тебя и... Славика Соколова. Володю Воронина нельзя, он очень горячий...

Ага, Вовка горячий...

— А про Славика-то сами же чего говорили? — напомнил Митька. — Говорили, что мал и глуп...

— Ничего, мы его всесторонне проинструктируем. Он еще в таком возрасте, когда из него можно лепить все, что угодно...

Нет уж, лепи без Митьки! Митька — во-о! — наелся твоей любви по горло! Ни в какие провожатые он с тобой не пойдет.

Уж лучше у окна посидеть.

Утром шарьинки Павлы Ивановны пройдут на работу, вечером вернутся домой. У Кати на голове нет уже льняного пояска — без короны, а все равно как царевна. Митька бывает счастлив, если она оборачивалась и смотрела на его окна. Он тогда прятался за косяк.

— Ты почему-то, Дмитрий, нахмурился? — Алик заметил, видно, как Митькино лицо затуманенно вытянулось.

— Ну хорошо, если ты настаиваешь, — пошел он на уступки, — можно отказаться от Славика. Давай пригласим Володю.

Ох, и дернул же Митьку бес бежать к Алику с этой проклятой запиской! Теперь попался, будто кур в ошип. Неизвестно, как и выкручиваться...

Ну что за сумасшедший месяц такой! Скорее бы, что ли уж, в школу!

У Митьки горели пятки: так не терпелось ему убежать домой.

В сентябре девчонки уехали в Шарью. И казалось, полежавская жизнь вошла в свою колею. Ни Алик, ни Митька с Вовкой не вспоминали август. А помнили, конечно же, помнили его до самых горьких мелочей.

Да, август канул в прошлое. И похоже было: от неудач ни у кого нигде ничего не болело, выкарабкались все же целыми и невредимыми, без единой занозы в сердце. Неужели и в самом деле права была рассудительная Павла Ивановна: влюбляться надо не когда попало, а дождавшись весны? Но это, может, для тех ребят права — для Вовки, для Алика...

А Митька знал уже и другое — сердцу-то не прикажешь...



## ВО БОРУ БРУСНИКА

---

### 1

По гомонливому Полежаеву как горело: Ксения Парамонова заблудилась в лесу.

Была ее очередь караулить коров, и ведь целый день выходила, все вроде бы обошлось чередом, а настала пора заворачивать стадо домой, и что-то растревожило Ксенью. Сначала-то она и понять не могла, отчего такое беспокойство ее скрутило, а потом спохватилась: и сегодня колокольчика не слышать. С утра до вечера над ухом звенел, а тут как отвязали.

— Ой, опять этой шатуньи нет, — догадалась Ксения. — Ну уж, я ее, заразу, найду, так березовой каши зада-а-м. Пока вицу не измочалю о горбатую хребтину, не поущусь. — Она высвободила правое ухо из-под платка, насторожившись, прислушалась к лесному шуму, но со всех сторон тек размеренный гул деревьев,

звон колокольца не вплетался в него, и Ксенья сокрушенно покачала головой. — Так и есть, сбежала. Готовь, Василий Петрович, вицу для меня про запас.

Вася-Грузель пригладил черную бороду, за которую его и прозвали Грузлем, кашлянул в кулак.

— Для тебя или для коровы? — уточнил он игриво.

Но Ксенья была не расположена к шуткам. Она поправила на голове платок, упрятала его концы под фуфайку и застегнулась.

— Ну, не вертихвостка ли, — сказала Ксенья сердито и, захлюпав резиновыми сапогами, пошла мокрой травой к вершине затянутого кустарником лога. — Я, Василий Петрович, тут поблизости поищу да вернусь, — известила она. — Ведь полчаса назад здесь вызванивала, далеко не могла учापать.

Она обогнула кусты, и ее не стало за ними видно. Только слышно было, как заплетались о траву сапоги.

«И что за напасть такая на Ксенью, — дивился Василий Петрович. — Другие доярки пастушат, так Пеструха как шелковая, на шаг от стада не отобьется. А настанет Ксеньин черед — куда-нибудь да запропаستится». Вася-Грузель ни разу не слышал, чтобы корова от бабы, как от медведя, бегала. Он определился в пастухи с нынешней весны, раньше за коровами никогда не хаживал, но, слава богу, не новичок в жизни, на седьмой десяток перевалило, а вот такого чуда на его памяти не случалось. И ведь каких только подходов не искала Ксенья к корове: и хлеба-то ей по полбуханки скармливала, и слова-то ласковые, как ребенку, шептала — ничего не помогало. А теперь уж на «березовую кашу» перешла — и тоже без толку. Будто состязанье Пеструха с Ксеньей устроили — у кого тверже характер.

Василий Петрович уж рад был освободить Ксенью от очереди пасти коров. Да ведь бабы сразу истолкова-

ли б это по-своему. Вот, скажут, и Васю-Грузля Ксенья на абордаж взяла, стариком не побрезговала.

Ничего, раз в неделю отмается как-нибудь. Не так уж и часто, не каждый день.

Другие доярки на замену себе посылали пастушонками дочерей да сыновей — школьников. А Ксенья некого отрядить.

— Сама лошадь, сама бык, сама баба и мужик, — невесело хохотала она.

Дом у нее стоял над обрывистой кручей, по ту сторону речки. Вечерами, когда Ксенья зажигала в избе огни, отражения окон ложились на воду. Василий Петрович мог по ним определить, какой силы ветер. В непогоду отражения зыбились и ломались, в затишь застывали холодным стеклом. Василий Петрович, набив табаком трубку, любил посидеть на завалинке. Если даже сверху хлестал дождь, его под крышей не задевало. И только когда под ногами скапливались лужи, а с желоба лило ручьем, от обжигающих брызг становилось невозможно увернуться, и Василий Петрович перебирался на крыльцо, устраивался на пороге. Отсюда было тоже видно реку, извивающиеся дорожки света на омуте, черный, как сажа, черемушник, заслоняющий крайнее окно Ксеньина дома.

Трубка у Василия Петровича незаметно догорала. Он выколачивал из нее пепел, заряжал новой щепотью табака и, на мгновение высветив спичкой крыльцо, потом долго не мог привыкнуть к темноте, обтирал рукавом заслезившиеся от напряжения глаза.

В ограде у Ксеньи, проколыхавшись по-над землей, вывешивался на столбе фонарь, и вскоре начинала, спотыкаяючись, вызванивать пила. В одну сторону она шла ходко, с сытым захватом — это Ксенья тянула ее на себя, — а в обратную пила по-ершиному застревала в пазу и, сбившись с разгона, завывающе дребезжала.

Василий Петрович затягивался дымом и, как с не-привычки, кашлял.

Ксения, умаявшись с пилой в одиночку, устраивала себе передышку: бралась за топор. Поленья у нее разлетались не с первого удара, сначала топор чавкаяще застревал в дереве и уже только потом, на четвертый или пятый замах, доносился грохот развалившихся плах. Через какое-то время опять начинала прерывисто вжикать пила.

Василий Петрович раньше был и слеп и глух к тому, как правит хозяйство Ксения. И только когда у него умерла Степанида, стал сочувствовать ей: одной-то ведь худо. А он все-таки был не один. При нем жили три парня и девка. Правда, младшему только-только исполнилось шесть годов, зато старшему было пятнадцать. И воды наносят, и дров наготовят, и полы вымоют, и скотину обиходят. Василий Петрович знай покуривай табак на крылечке.

Нет, что бы там ни говорили, а с детками хорошо. Василий Петрович сам вырос в большой семье, ему известно, что это такое. Ведь бездетный умрет, по нему и собака не взвоят. А детного-то — и годы вроде бы уж его подомнут — сыновья и дочери не отпустят в могилу: сначала бьешься, чтобы вырастить их, а потом посмотреть охота, как у них-то все будет — может, помощь твоя потребуется...

От Василия Петровича корень пущен богатый: пять парней у него от первой жены, от Марии, да семерых Степанида ему оставила. И ведь перед войной-то Степанида все погодками шпарила: сначала Дмитрия выстрелила, в сороковом году Веру, следом за ней Катю родила — не война, так неизвестно бы, чем дело закончилось. Но и после войны не так уж чтобы и крепко за голову схватилась она: еще четверых принесла. Хоть и не в год, с перерывом, а четверых. Вот они-то, четверо, и остались теперь при Василии. А старшие давно

уже на своих ногах: Дмитрий в Доброумовском лесопункте работает трактористом, девки замуж повыходили в окрестные села. Про Мариинных же парней и говорить не приходится, про тех теперь уж не сразу и вспомнишь, когда в люди ушли: один с шестнадцати лет околачивается в Сибири по стройкам, трое в Березовке шоферят, Зиновий на агронома выучился, председателем колхоза теперь избрали. Свистни Василий Петрович — так мигом все соберутся вокруг него. Если только сибирский залысок пожалеет денег на самолет, а остальные — не из-за тридевяти земель — все в Полежаево прибегут. И то уж, когда Степаниды не стало, так зачастили один за другим. Говорят:

— Давай, тятя, мы у тебя по ребенку возьмем.

— Сами сделайте! — осадил их Василий Петрович и, чтобы больше не возвращаться к этому разговору, сказал: — Думаете, старый совсем? Я еще, может, на молодой женюсь.

А сам, сказавши, подумал: «Уж какая женитьба... В какую сторону ни крути, шестьдесят три годика наступало. Вытянуть бы эту четверку — и на покой. А на молодой женишься, снова ребята пойдут. Не зря ведь половица сложена: «Муж стар, а жена молода — дождидайся детей; но если муж молодой, а жена стара — жди плетей».

Теперь уж ни детей, ни плетей не надо бы.

Правда, однажды и в нем разыграла прежняя кровь, чуть уж не склонил себя к мысли, что, пожалуй, не плохо бы и жениться. Он только что определился на ферму в пастухи, и доярки, вспомнив об умершей Степаниде, стали его вслух жалеть: вот, дескать, каково одному-то, без бабы, вести хозяйство да еще четверых ребятшек иметь на руках.

Василий Петрович даже и сам взгрустнул. Но Ксения подтолкнула его локтем и, будто бы успокаивая, посоветовала:



— Василий Петрович, не тужи по бабе: бог девку даст.

Потухшая трубка чуть не вывалилась у него изо рта.

— А что, Ксенья, — опомнившись, хитровато подмигнул ей Василий Петрович и поправил трубку, — ты бы за меня замуж пошла?

Бабы сразу захохотали:

— Молодец, Василий Петрович, не растерялся.

Ксенья, раскрасневшаяся как маков цвет, подперла руки в бока и двинулась по подворью козырем. Косы у нее, скрученные на голове жгутом, так и грозили выскочить из-под спижек и съехать вниз по ложбинке прогнувшейся широкой спины.

— А ты ведь, Ксенья, еще не залежалый товар, — сказал Василий Петрович. — С тобой бы хоть сейчас в сельсовете можно расписываться.

Бабы наперебой его заподначивали:

— Зови ее, Василий Петрович, зови! Ты ведь у нас тоже жених хоть куда.

— Дак я готов, — приосанился Василий Петрович.

Ксенья не отставала в шутках от баб.

— Тьфу ты, леший, — притворно отмахнулась она. — Бороду хоть бы сначала сбрил, а потом уж сватался. А то ведь до того черна, что в глухом месте встретишь, и слова с перепугу не выговорить.

— Ну-ка, бороды испугалась, — не поверил Василий Петрович. — Я, уж если дело такой оборот принимает, сбрею.

А бабы шумно поддержали его:

— Верно, Василий Петрович! Не в бороде дело!

— Ксенья, не трусь! — визгливо выкрикнула Маня Скрябина, такая же застаревшая девка, как и Ксенья. — Он тебе еще такого железа задаст, что и о бороде забудешь.

Василий Петрович, довольнешенек, уселся на скамейку к стене и достал из кармана кисет.

— А у вас, бабы, весело, — сказал он, щурясь от солнца. — Если бы я об этом раньше знал, так давно бы к вам в пастухи напросился.

— Ты, Василий Петрович, разговор в сторону не уводи, — зашумели доярки. А уж Маня Скрябина так и выпирала вперед: хохотала всех громче, руками размахивала, шуточками, как горохом, бросалась. Весь вид ее говорил, что она-то ведь тоже не хуже Ксеньи, такая же здоровая и вальяжная. На нее-то почему вниманья не обратили?

— Нет, Василий Петрович, ты напрямую давай, — требовала она. — Мы перед тобой вопрос на ребро ставим: не увиливай — да или нет?

— Бабы, да я на любую из вас согласен. — Он даже растопырил руки и враскорячку двинулся за ними, повизгивающими, по двору, будто бы какую-нибудь собирался поймать. Они бросились врассыпную. — Ну, лешой возьми, не в глухом-то месте, пошто бороды пугаетесь? Нечего было и подбивать меня на женьитьбу...

Маня Скрябина, как курица, поджала ноги, присела у копны сена:

— Ой, не могу больше. Чего хочешь, Василий Петрович, делай со мной...

Василий Петрович в растерянности оглянулся.

Бабы надрывали от хохота животы. Одна Ксенья стояла уже серьезная:

— Не горюй... Женишься, Василий Петрович, — сказала она устало.

И он не заметил, как тоже принял серьезный лад и проговорил ей в тон:

— Конечно, была бы лошадь, хомут найдется... Только, знаешь, Ксенья, мне это уже и ни к чему. У меня внуки выросли. Надо им очередь уступить.

— Вот, пожалуй, внуков-то твоих я, Василий Петрович, и обраताю, — сощурилась Ксенья. Уж больно рез-

кие были у нее перепады в настроении. Василий Петрович не сразу успевал к ним приспособиться. А все-таки бес еще, видно, поигрывал в его коленках, и Василий Петрович, хоть с запозданием, но отшутился:

— А что, за любого внука тебя возьму. Не прогадаю, не бойсь. — И пояснил незатихающим бабам: — Чем быстрее молодому-то надоест с ней возиться, тем она раньше мне, старику, достанется.

И все же в Ксеньиной шутливой угрозе был какой-то намек. Уж больно заледенелым голосом она говорила. Так говорят, когда на что-то решаются.

Василий Петрович невольно почесал за ухом и, чтобы собраться с мыслями, набил в обгоревшее гнездо трубки табачной трухи.

— Так я с тобой породниться не против, — опомнился он.

— А я и подавно, — сказала она снова с намеком.

И тут припомнил Василий Петрович одну старую несуразицу. Да неужто Ксенья имела в виду ее? Да что у нее, ума, что ли, нет? Зиновий с женой живет душа в душу, председателем колхоза теперь в Полежаеве. Нет, ему шашнями заниматься нельзя: он у всех на виду — его не только в районе, но и в области даже знают, чуть чего, так звонят: «Товарищ Егоров, товарищ Егоров!» Шутка сказать, самый молодой председатель в округе, сколько надежд на него впереди. Нет, Зиновию такое занятие не с руки. Любому Егорову можно, а этому и подумать запрет: ну-ка, на таком месте он, каково спотыкаться-то.

Неужели Ксенья тогда всерьез к нему приступалась, к Зиновию-то? Да непохоже бы, что всерьез.

Ведь Зинко в ту пору еще совсем сопленосый был. На третьем курсе в институте учился. Сколько было ему? Двадцать лет. Да-а, не такой уж и сопленосый. Ну а ей-то, сотоне, ведь намного больше. Она со старшим сыном Егоровых, с Костей, с сибиряком-то, вот с

кем одногодок. Так ведь между Костей и Зиновием разница в четырнадцать лет. Но Василий Петрович и по-другому развернул математику: Ксенья было тогда тридцать четыре годика. Ой нет, нет, не стара. Ну-ка, всего-навсего тридцать четыре... Самая золотая пора. Да если замуж еще до такого возраста не выхаживала, так золотее-то поры и придумать нельзя. Там уж, дальше-то, одни позолоченные урывки, а тут по-о-ра...

Василий Петрович понимающе вздохнул и качнул головой: кто ее знает, может, и серьезничала она...

У Зиновия были как раз каникулы. Самое беззаботное время. По лесу с ружьем набродился, и если подстрелить никого не сумел, так зато ягод наелся. А вечером уж как по обязательству — в клуб.

Василий Петрович однажды пошел с сыном в кино, а потом надумал остаться, поглазеть, чем молодежь развлекается.

Посидел у печки, да отпускиники танцы-шманцы устроили, все ноги пообступали ему. Пришлось в угол забиться, а в углу ребята столбами сдвинулись — ничего не видать. Так и не высмотрел, кого Зинко кружил. Потом уж и ребята ушли, никто не заслонял перед ним танцующих, но Василий Петрович и то уж пересидел себя: он же без курева-то помрет.

Василий Петрович укувылял на крыльцо, обшитое тесом, с крышей над головой, и там уж отвел душеньку: только одну трубку вытянет, пепел выбьет и сразу же неостывшее гнездо новой щепотью табака закупорит — вот и снова чубук во рту. Комары к нему и подступаться не смели, не залетали даже в прирубок.

Танцоры, видно, запарились, открыли дверь. Свет, колыхнувшись, выплеснулся на лестничную площадку, а из-под верхнего косяка ударили в тесовый навес клубы пропахшего потом тепла.

У печки вызывающе взвизгнула Ксенья.

Василий Петрович с интересом придвинулся побли-

же к порогу, откуда было видно, что делалось в клубе.

Ксенья, обороняясь руками, отгибалась к печке и задиристо взвизгивала. Перед ней стояла с оттянутым за плечо солдатским ремнем Маня Скрябина.

«В номерки играют», — догадался Василий Петрович.

Маня схватила Ксенью за руку, стянула со скамейки и жиганула-таки навывтяжку по увертывающейся от нее спине — Ксенья только прогнулась.

«Так, девка, — одобрил Василий Петрович. — Пусть помене раздумывает».

Ксенья растерянно заоглядывалась: она не слышала, какой номер ее выкрикал. Маня Скрябина еще раз прошла ремнем по ее спине.

«Хорошо, клейко выходит, — удовлетворенно крикнул Василий Петрович. — Разговаривай с соседом, да головы не теряй».

Он глянул на соседа, от которого Ксенью только что оторвали, и от удивления едва не вытолкнул языком трубку: у печки Зинко сидел, вот поросенок. Василий Петрович расшевелился: молодая игра заинтересовала его.

Ксенья кто-то подсказал выкликнувшего. Василий Петрович, загораясь любопытством, вытянул шею через порог. Ксенья, перебежав через расступившийся круг, плюхнулась на колени к Фae Абрамовой. Вот еще одна бедолага, такой же перестарок, как Ксенья и Маня Скрябина. Но только Ксенья-то из них изо всех — кровь с молоком, а не девка. Не понятно, как и засиделась одна, ни за кого замуж не выскочила. Хотя чего же тут непонятного-то: ее женихи на войне перебиты. Пересчитай-ка, по одному Полежаеву сколько их полегло.

И все же Василий Петрович упрямо покачал головой: что ни говори, могла кого-нибудь себе отхватить.

Не такая девка, чтобы не подобрал никто. Холостых ребят нет, так вдовцы ведь были.

Ксенья неумолимо и громко хохотала, чего-то рассказывая Фae, а когда Фаю выдернули из-под нее, вдруг выкрикнула Зиновия.

Зинко понуро перебежал пустое пространство, на котором хозяйничала с ремнем в руках Маня Скрябина. Маня замахнулась было на него, но не огрела, безвольно опустила ремень.

«Ты смотри, а девки-то жалеют его», — обрадованно подумал Василий Петрович и снова вытянул шею.

Зинко стыдливо вклинился между Ксеньей и каким-то незнакомым парнем, видно приехавшим к кому-то погостить, понурил голову. Ксенья склонилась к Зиновию, чего-то зашептала ему, а он все отстранялся и отстранялся от нее, пока совсем не вытеснил приезжего гостя. Тот встал и перешел на свободное место у печки. И тогда Зиновий сразу отодвинулся от наседавшей на него Ксеньи.

«Ой, я бы не оробел», — осудил сына Василий Петрович и не вытерпел, перебрался в клуб, устроившись у бачка с водой, откуда Зинко был хорошо виден. Трубка у Василия Петровича, догорая, ядовито дымила. Он зажал прокуренным пальцем раскалившуюся головку и задушил огонь.

«Ой, я бы не оробел», — наливаясь удалью, повторил Василий Петрович.

Зинко сидел, напыжившись, как растрепанный воробей.

Ксенья залиvisto хохотала, и все удивленно оборачивались на нее.

«Ну и сотона, — похвалил ее Василий Петрович. — Хорошо забирает».

Зиновий беспомощно оглядывался, по-видимому, вымаливая у судьбы, чтобы кто-нибудь выкликнул либо его, либо Ксенью.

«Да чего это он, остолоп, растерялся? Побоялся ославушки? — Василий Петрович неодобрительно посту- чал трубкой о шершавую, как наждачная бумага, ла- донь; теплый пепел высыпался вместе с непрогоревшим табаком. Василий Петрович зажал мусор в кулак. — Ну и пушай бы сказали, что к Ксенье ходит. Не в уко-о-р бы сказали-то, в по-о-хвалу: ну-ка, такая девка, а недопарыша к себе подпустила.»

Василий Петрович зло взмахнул кулаком, хлопнул себя по колену — и пепел белой заплатой лег на изно- шенное сукно.

Игра как-то быстро расстроилась. Раньше, в мо- лодые-то годы Василия Петровича, к номеркам так быстро не охладевали. Непонятные вкусы у нынешних молодых. Опять эту трясучку затеяли, танцы-шманцы.

Василий Петрович уж было совсем заскучал — ан, глядь: Ксенья-то за Зиновия ухватилась, тянет на круг.

«Ну и отпетая голова...»

Василия Петровича подмывало узнать, что из этого выйдет, и он опять загорелся.

Ксенья, как упирающегося бычка, держала Зиновия за рукав пиджака. Зиновий, краснея, отказывался, а Ксенья не отставала.

«О-о, взяла в оборот...» — прищелкнул языком Ва- силий Петрович.

Зиновий станцевал один раз, отвел Ксенью к окну, а сам, обтирая пот, вышел на улицу.

«Ну что ты с ним будешь делать», — опять осуждаю- ще хлопнул себя по колену Василий Петрович и стал наблюдать за Ксеньей.

Она хохотала все так же залиvisto, будто и не за- метила, что Зиновий ушел. Чего-то, не переставая, на- говаривала Мане Скрябиной и Фаине, потом поднялась попить, зыркнула на Василия Петровича и рассмеялась:

— Не бачок ли караулишь, Василий Петрович?

— Бачок.

— Ой, смотри, напрасная трата времени: и не уследишь — до дна вычерпают, — сказала она с тайным значением и как-то боком, боком — ушмыгнула на улицу.

— Лешие-то, договорились, — обомлел Василий Петрович и, не зная, как ему теперь поступить, хватанул из бачка ковш невкусной согретой воды. Остаться в клубе вроде бы у него пропал интерес, но и бежать вдогонку за сыном — он ведь не сыщик.

Василий Петрович повыжидал какое-то время, а потом все же засобиравшись домой.

На улице было светло как днем. Над лесом играли сполохи, падали с неба звезды, а коростель, скрипевший в лугах, будто глотал их и с непривычки давился, как молодой петушок зерном, потому что с каждой новой упавшей звездой его голос становился все удушливей и картавей.

На взгорке, у дома Василия Петровича, обозначился на фоне белого неба девичий силуэт.

— Эй, студент! — негромко зазывала Зиновия Ксенья. — Ты куда запропастился? Сту-у-дент?

Она слегка побарабанила рукой по стеклу, завернула за угол, поднялась там, видимо, на крыльцо, потому что до Василия Петровича отчетливо долетело, как звякнул замок.

Василий Петрович, уходя с сыном в клуб, закрыл замок без ключа, просто всунув дужку во вбитую в косяк петлю. Зиновий и сам, убегая на гулянки, пользовался замком таким же макаром, чтобы не заставлять домашних закрываться изнутри на засов.

Замок по-прежнему висел на дверях. Выходит, Зиновий не дома.

— Эй, студент, — уже не остерегаясь, закричала Ксенья. — Ты где тут прячешься? Я ведь видела, как ты за угол забежал...

Василий Петрович прижался к тыну, чтобы его было трудно увидеть, и затаился.



— Ой, студент, — явно издевалась над Зиновием Ксенья. — Ой, до чего же неуважительно ты относишься к женщине... Разве этому вас в институтах учат?

В окошко выглянула Степанида, жена Василия Петровича:

— Ты чего тут орешь? Всю деревню взбаламутила, — спросила она глухим ото сна голосом.

— Да сыночка твоего потеряла, — засмеялась Ксенья. — Хотела в провожатые взять. А то через реку-то одной ходить боязно.

Она, не дожидаясь ответа Степаниды и не оглядываясь, стала спускаться по тропке под гору.

Над рекой расползлся туман. Сквозь него не видно было ни лавы, ни мосточка, на котором бабы полощут белье, ни Ксеньина дома.

Ксенья вскоре тоже растворилась в тумане, и вдруг по лугам полетела частушка:

Через пень, через колоду,  
Через райпотребсоюз  
Помогите ради бога —  
В старых девах остаюсь...

Река стремительно пронесла над собой Ксеньин голос, выплеснула за лесом у Николиной гривы, и уж оттуда подвернувшееся из-за деревьев эхо возвратило его назад.

Василий Петрович обругал сына и подсадовал: «Не в меня».

В тумане, за рекой, резко скрипнула дверь, потом скрипнула еще раз, звякнула металлическая задвижка, а у кого-то во дворе потревоженно промычала корова.

«Каково-то в холодную постель ложиться?» — подумал про Ксенью Василий Петрович и засеменял к крыльцу. Он вынул из петли замок, перешагнул порог

и неторопливо задвинул засов, наслаждаясь предстоящей мстью: «Ну, паразит, хоть всю ночь простучись — не открою». Не желая выслушивать расспросов разбуженной Ксеньей жены, Василий Петрович не пошел спать в избу, а свернул на поветь, где была постель Зинка.

Сын, скрючившись под одеялом, лежал на своем месте.

— Ты как это сюда проник? — насмешливо спросил Василий Петрович.

— А через двор, — невозмутимо ответил Зиновий, не уловив в голосе отца насмешки.

— Ну, конечно, лучше коровам спать не давать, а не девкам.

Зиновий обескураженно промолчал.

Наутро Василий Петрович, выйдя покурить, видел, как Ксенья, балансируя руками, спустилась на реку за водой, как постояла на лаве, сделала ладонью козырек от слепившего солнца, посмотрела в гору, на дом Василия Петровича, и зачерпнула полную ведро. Василий Петрович даже услышал, как вода выплеснулась через край и как Ксенья чему-то рассмеялась.

«Ой, да она ведь с Зиновием-то совсем не всерьез, — догадался Василий Петрович. — С нее, смотри ты, как с гуся вода, будто и не было вчерашнего происшествия».

Ксенья поднялась по выкопанным в обрыве ступенькам вверх, поставила ведро, чтобы передохнуть, и до Василия Петровича опять долетел ее смех:

— Ну и умора...

«Все, засмеет теперь Зинка, проходу не даст», — огорчился Василий Петрович.

Но, к его удивлению, она на другой день, встретив Зинка у магазина, равнодушно поздоровалась с ним и прошла мимо.

Уже забываться стала эта история. Зиновий закончил институт, вернулся в Полежаево агрономом, обяза-

велся семьей — Ксенья не проявляла к нему интереса. Стала даже по отчеству звать: Зиновий Васильевич. Так и вся деревня теперь Зиновия величала Васильевичем. Василий Петрович и сам заужавал сына настолько, что не отставал от других: Зиновий Васильевич да Зиновий Васильевич — другого имени и не знал при народе. А уж когда Зиновия сделали председателем, тут и сам бог велел уважение ему оказывать.

Правда, люди-то нет-нет да и обзывали Зинка Обабком. До чего же остроязык народ. Василия Петровича за то, что он чернее ворона, окрестили Грузлем, самым белым грибом. Ну а раз отец Грузель, то сыновей у него — всех до единого — нарекли Обабками. Ни много ни мало, десять Обабков выросло в избе у Егоровых. Зиновий по счету — пятый. Пятый, да тароватый: всех обскакал.

В председателях Зиновий Васильевич быстро начал тучнеть. Разматерел за два года, будто медведь. Не знаючи-то не скажешь, что ему всего-навсего двадцать пять лет, а дашь полные сорок. Василия Петровича и радовало это — солидному человеку больше доверия, — и пугало: а ну как Зиновий такими темпами покатится к старости — так уж больно короткой окажется жизнь.

Ксенья все же взыгранула с Зиновием еще один раз.

У них на ферме выбраковывали старых коров. Василия Петровича снарядили делать помост, по которому собирались загонять коров на грузовые машины. А заодно попросили наростить и кузова, чтобы скот на тряской дороге не вылетел за борта.

Работа нехитрая, Василий Петрович быстро управился с нею и стал дожидаться, когда коров будут грузить.

Осеннее солнце грело слабо. Трава, окропляясь по ночам инеем, уже не оттаивала, серебрилась холодной изморозью, но все еще просвечивала зеленью. У при-

фермских построек горами дыбились ометы желтой соломой. Василий Петрович завалился в один из них, и его обдало духом сытного хлеба.

Коров, набросив на рога петли, затягивали на помост веревками. Они упирались, мычали, но сзади их подгоняли вицами бабы. Коровы мотали головами, а в кузове обреченно успокаивались, прижимались к бортам и тоскливо смотрели фиолетовыми глазами в широкие щели между наколоченными Василием Петровичем тесинами.

Зиновий прикатил на легковушке к концу погрузки.

— Ну? Документацию оформили? — спросил он. — Давайте сюда.

Он засунул бумаги в нагрудный карман, направился к головной машине.

— Сам поеду на скотобазу, — заявил он. — А то там не поругаешься — занизят упитанность.

Он отпустил легковушку, грузно забрался в кабину к Кольке Попову и, выкрутив стекло, выглянул:

— Ну? Готовы?

И в это самое время, подбоченясь, пошла в круговую Ксенья. Она тяжело задробила резиновыми сапогами, которые смачно хлюпали и били ее по голяшкам, взметнула правую руку вверх, а левую уперла в прогнутый бок.

Много лесу, много лесу,  
Много вересу в лесу, —

запела она, озорно поглядывая на удивившегося Зиновия.

Председателя колхоза  
Повезли на колбасу.

Зиновий был уже не тем мальчиком, какого она донимала в клубе, не растерялся.

— Смотри, Ксенья, допоешься ты у меня, — по-

грозил он из кабины. — Следующим заходом и тебя выбракую.

— Ничего не получится, председатель, — засмеялась она. — Комиссия акт не подпишет: меня еще, если в животноводстве разбираешься, можно и в племя пускать.

Ксенья подмигнула Зиновию, прошла мимо кабины, полыхнув жаром, и завалилась в солому к Василию Петровичу.

— Василий Петрович, — показала она белые зубы, — если он ни рожна не разбирается в бабах, скажи ты ему, что меня еще выбраковывать рано.

Она, повалившись на спину, забросила руки за голову и истомно потянулась.

Зиновий уже не слышал ее последних слов, приказал шоферу двигаться в путь.

Машины тронулись, стывая комковатая земля хрустко крошилась у них под колесами.

Бабы еще недолго поохотали над Ксеньиной чадушкой. Смех был безобидный, непамятливый, и Василия Петровича успокоило, что доярки не имеют зла на его сына.

Он, умиротворенный, побрел домой, дивясь Ксеньиной языкастости и не в силах уяснить для себя, как такая веселая девка оказалась без мужика. Да ведь моргни она глазом, иной королевич и то увязался бы по пятам. А тут ни королевича, ни самого распоследнего пьянчужки. Какая баба зря пропадает... Да мужики-то что? Слепли кругом? Конечно, Ксеньина красота тут не в особый расчет: с лица-то, учат умные люди, не воду пить. Но и красота не последнее дело. Тут у Василия Петровича глаз привередливый. Будь уж баба хоть как работаща, хоть как покладиста и кротка, а надо чтобы и обличьем глянулась. Но ведь у Ксеньи-то как раз все и есть: и посмотрит на тебя — сразу соколом сделает, и за работу возьмется — так любо-дорого по-

глядеть. Уж не крутости ли ее испугались парни, так крутость-то у Ксеньи не настоящая, показная. Она кричит, шумит, а сама сердцем истаивает. И скажи ей в тон слово — тут же и расхохочется.

Василий Петрович посмотрелся теперь на нее и с близи. Раньше через реку любовался, а с мая пришел в пастухи на ферму, так разобрался, какая доярка стоит чего.

Маня Скрябина на весь белый свет разобижена. Если и засмеется когда, так, значит, Ксенья развеселила ее. Фая же Абрамова полна зависти к каждой бабе и, подвернись возможность, какую-нибудь да устроит пакость: на мужа этой бабе наговорит, что заигрывал с ней, на поросенка наскажет, что подрывает картошку в чужом огороде, на пацанят наябедничает, что курят в логу за школой. А потом сама ж и оправдывается, что слышала эти гадости от того-то и того-то — еще и хороших людей опутает сплетнями. Так будто в наказание за это печенюю мается. Нет, не зря подмечено стариками, что у злых людей желудок болит, у завистливых — печень, а у добрых — сердце.

Вот у Ксеньи, наверно, сердце-то напропалую сутками ноет, ни днем, ни ночью передыха не знает, все болит и болит.

И отчего ее невзлюбила Пеструха? Уж такая, наверно, брыкливая корова, почувствовала добрую душу — и давай номера откалывать. Есть и бабы такие, что чем больше воли дает ей мужик, тем ему же и хуже: на шею сядет и ножки свесит. А коровы — такие же бабы, со своими характерами.

Ровно раз в неделю, когда наступала Ксеньина очередь быть помощником у Василия Петровича, Пеструха пускалась в бега. То ее отыщут ночью в чашобе ельника, где она устроилась на ночлег, то найдут на Николиной гриве в заброшенных дворах, то обнаружат в овине, где хранится льнотреста, и ведь всякий раз вы-

бирает, зараза, непривычное место. Где однажды ночь провела, больше там не ищи.

Подвесили ей на шею звонкий колоколец — по росе вечерами за много верст слышать. Так надумает убежать из стада — головой не мотнет. Оводы шею жалят, комары вьются столбом, а Пеструха как неживая. Затихнет где-нибудь у куста, дождется, когда стадо пройдет, и поминай как звали. Не корова, а лещачиха.

Уж Ксения с нее и глаз вроде бы не спускала, а нет, улучит момент и как сквозь землю провалится.

Сегодня и Василий Петрович неотрывно следил за Пеструхой, но кинулся отгонять от стога коров, пробивших в загороде пролом, вернулся, а Ксения уже бранится: нет Пеструхи. Побежала ее искать.

Василий Петрович прислушался к удаляющемуся треску кустов: Ксения уходила в сторону Межакова хутора. Да, там есть пустые дворы, а сегодня мимо них коров прогоняли, Пеструха вполне могла усмотреть себе пристанище.

Василию Петровичу почудился малиновый звон колокольчика. Он был чуть правее того места, куда направилась Ксения.

— Ксе-е-енья-я! — крикнул Василий Петрович. — Ты слышишь ли?

— Слы-ы-шу-у! — отозвалась она. — Где-то рядом звенит...

«Ну, слава богу, не далеко убежала», — обрадовался Василий Петрович и не стал сдерживать в логу коров: догонит.

Но коровы вышли на проселочную дорогу, повернули в прифермский прогон, — Ксении все не было.

Василий Петрович не волновался: звенело рядом, никуда Пеструха не денется, не оторвет же язык у колокольца.

Коров загнали во двор, привязали по стойлам, ба-

бы уже разобрали подойники, а Пеструхина колокольца не было слышно.

— Чего-то задерживается, — затревожился Василий Петрович. Может, лучше было ему бежать за этой гуленой, с ним-то она таких номеров не откалывала, а Ксенью, поди, водит по лесу, бегают, задрал хвост.

Бабы подоили коров. В деревне уже зажглись огни.

Василий Петрович обеспокоенно попросил Маню Скрябину:

— Вы уж, может, и Ксеньиных коров поделите между собой. Не стоять же им недоеными...

— Да вернется, куда она денется, твоя пролетария, — всунулась в разговор Фая Абрамова.

— Вернуться-то вернется, — согласился Василий Петрович. — Да ведь не до утра же ей здесь обрять, и так набегалась за день.

Фая было повыкаблучивалась, но бабы распределили коров, по три на каждую, и принялись доить.

Ночь надвигалась темная. На небе не прорезалось ни единой звездочки, да и какие звезды, когда уже не одну неделю погода стояла скучная, то и дело перепадали дожди. Сегодняшний день, правда, выдался не моросливый, но Василий Петрович все равно вымочился, лазая по кустам и высоченному, в рост человека, лабазнику. У Ксеньи, он видел, фуфайка тоже была темной от влаги, а намокшая юбка хлестко билась на ходу о высокие голенища сапог.

Василий Петрович, уже не различая под ногами рытвин, вернулся в лог, который еще не выветрился парной запах коров, и поаукал:

— Ксе-е-нья-я!

Эхо стало уже разносистое, голос летел далеко. Но ответа на него не было.

Василий Петрович сходил домой за ружьем, разрядил с крыльца все патроны в небо, но в ответ опять ничего не услышал. В темноте испуганно просвистели



крыльями запоздавшие утки. С березы, раскорячившейся под окнами, слетело, срезанное дробью, сево мокрых листьев. Обрадованно взлаяла у кого-то посаженная на цепь собака.

Василий Петрович, не оставляя уже ненужного — не было больше патронов — ружья, спустился к реке, перешел по шатко прогибающейся лавине на другой берег и, взобравшись в кручу, перевел дыхание.

Лес, почти вплотную подступавший к Ксеньину дому, неумоимо гудел.

Василий Петрович уселся на завалинку, прислоненную к шершавой щелястой стене избы, и решил дожидаться здесь возвращения Ксеньи.

Он просидел, не смыкая глаз, до утра, жалея, что неразумно растратил патроны разом, а не растянул их на длинную ночь.

У него уже не оставалось сомнений, что Ксенья заблудилась в лесу.

На рассвете это известие всколыхнуло все Полежаево. Чуть ли не всей деревней отправились Ксенью искать.

## 2

Над лесом висел туман-верхорез, и деревья, казалось, стояли с опиленными вершинами. Василий Петрович повглядывался в дорогу, выбегающую из березняка, но только понапрасну заслезил не утратившие зоркость глаза: с Межакова хутора некому было возвращаться в деревню. Василий Петрович понял это еще позавчера утром, сразу же, едва над Полежаевом развиднелось. Оттуда ходьбы-то четыре километра всего, и если бы Ксенья даже заночевала на хуторе, поопасавшись в темноте опять потерять корову, к рассвету она все равно успела бы воротиться назад. А она провела в лесу вот уже почти трое суток, и он как дурак поче-

му-то все надеялся на эту дорогу, вдоль которой полежаевские бабы и ребятишки обшарили каждый куст; искричали все глотки. На корову в Полежаеве махнули рукой: уж если задрал медведь, так туда ей и до рога. Но ведь Ксенью-то, живую иль мертвую, надо найти.

Василий Петрович решил отправиться на ее поиски снова лесом. Бригадир выделил для него верховую лошадь, караулить коров направил Фаю и Маню, и теперь у Василия Петровича, освобожденного от всяких забот, кроме одной, — напасть на затерявшийся Ксеньин след, — заболело сердце, оттого что он не знал, в какую сторону ехать.

Лошадь, почуяв слабость поводеяв, ожидающе прядала ушами и неуверенно шла логом, обходя разросшиеся кусты. И хоть Василий Петрович не натягивал узду, он все же неосознанно им самим правил лошадью, поворачиваясь корпусом то в одну сторону, то в другую и невольно поджимая у Карюхи ногами то левый, то правый бока. Карюха чутко улавливала эти движения и, настораживая уши, принимала нужное направление.

Лог, в котором Василий Петрович и Ксенья три ночи назад пасли скот, кончился. Василий Петрович взял чуть-чуть вправо, туда, откуда долетел до него тем вечером звон колокольчика. И едва выбрался из затравеневшей низины и въехал на взлобок, усеянный мягким слоем опавшей хвои, как в еловом чащобнике, заглушившем небольшую поляну, услышал малиновый голосок надтреснутой меди.

«Она!» — Василий Петрович пришпорил лошадь и, рискуя оставить глаза на сучьях, врезался в ельник. Звон больше не повторялся. Василий Петрович челноком изъюлил всю поляну и, покрываясь ознобом, подумал, что ему начинает мерещиться.

Звон колокольчика наплыл на него теперь с торфя-

ной гари, которая открывалась перед Межаковым хутором. Василий Петрович взнуздal лошадь. Она ходко, насколько позволяли деревья, вынесла его к торфянику. В нос ударил лекарственный запах.

Василий Петрович поднялся на стременах, но ничего перед собой не увидел.

«Да если и Пеструха, так чего я за ней гоняюсь, — досадливо подумал он. — Ведь Ксенья-то не таскается за ее хвостом. Сидит где-нибудь, обессилев, под деревом».

Обессиленной, слабой он ее почему-то не мог представить. Казалось, раздвинутся лапы ельника, и Ксенья расхохочется как ни в чем не бывало.

«Ну что, здóрово я вас напугала?»

Василий Петрович понял, что поблизости искать Ксенью бессмысленно, и вывел лошадь на едва заметную, запорошенную листьями тропу, которая убегала из поскотины за далекие лесные сенокосы, истаявая на подступах к старым заколоченным вырубкам, которые в Полежаеве звали новинами. Дорога туда была неблизкая, и занести Ксенью в новины мог только леший, но ведь когда за коровой бегаешь, рассудок теряешь. Разгорячилась, наверно, и не заметила выгораживающий поскотину осек. Да в иных местах его, конечно, мудрено и заметить: жерди, наполовину прогнившие, осели к земле — задумаешься, и в голове не мелькнет, что перешагнул обвалившийся осек.

При выезде из межаковской поскотины изгородь была словно новая. Василию Петровичу пришлось спешиться и выдернуть из прясла три верхние заворины, а потом уж в поводу провести через нижние Карюху.

За осеком тропа все чаще терялась, но Василий Петрович знал железное правило — ищи ее не сердясь да не суетясь, — поэтому спячивал лошадь и находил-таки едва заметную натопись.

За Козленковым логом начинались новины, и на

подъезде к ним Василий Петрович, складывая руку рупором, охрипшим за три дня поисков голосом стал аукать Ксенью. Эхо беспокойно билось о вымоченные туманом деревья и, выбравшись наверх, гулко носилось, как нечистая сила, перекрывающая неумолкаемый шум леса. Василию Петровичу даже делалось жутко от раскатистого и громового, уже не своего, а чужого баса. Но без того, чтобы не кричать, Ксенью в таком лесу не отыщешь.

Ружья он не взял с собой, потому что продираться с ним на лошади через чащобу и завалы было бы очень неловко: зацепит где-нибудь за сучок и сбросит на землю.

Василий Петрович, спешившись, достал из кармана кисет с трубкой, о существовании которой в эти дни усиленно старался забыть, а если уж его неодолимо начало тянуть на курево, он бросал в рот горсть мокрой брусники и утолял на какое-то время жгучее желание закурить. Раскуривать теперь было некогда. А с его-то привычкой никогда не вынимать изо рта трубку, дай только себе послабление, и весь день продержишь Карюху в поводу: вершнем-то не будешь в лесу чадить, первой же встречной веткой вышибет из зубов трубку.

Он, пустив лошадь пощипать траву, закурил сейчас с особой усладой. Выбрал колодину с облезлой корой, чтобы, усевшись на нее, не промочить зад, и затянулся терпко саднящим дымом.

Над ним взвилась стрекотунья-сорока.

— Давай, давай, оповещай лес, что меня увидела, — не зло сказал Василий Петрович и, подняв из-под ног сухой сучок, подбросил его ленивым взмахом руки из-под низу.

Сорока всполошно засокотала, перелетая с одного дерева на другое.

После перекура Василий Петрович взял лошадь в повод и, перейдя лог, который теперь и логом было на-

звать нельзя — сплошные заросли ивы, — стал проди- раться сквозь стену молодого ольшаника и березняка, за которой должны были открыться взору старые вы- рубки. Василий Петрович в молодые годы собирал в них смородину и малину и помнил, как они заколочены. Пожалуй, с лошадьёю через них не пройти, не будет же Карюха как обезьяна лазить по бурелому.

«Ничего, проведу по закрайку», — решил Василий Петрович.

Но закрайка все не было. Ольшаник сменился высо- ким осинником, и колодины, раньше высоко зависавшие над землей, теперь осели, обросли буйной травой и, ко- гда Василий Петрович вставал на них, рассыпались трухой.

«Боже ж ты мой, время-то как летит», — вздохнул Василий Петрович и пошел преобразившимися новина- ми на Переселенческую дорогу. «Может, и она зарос- ла?» — ужаснулся он. У него уже был продуман марш- рут: по Переселенческой дороге выехать на широкую просеку, а потом свернуть на Козловскую отво- ротку и выбраться в Зареченское поле. Это будет круг верст на десять в радиусе. Из него Ксения не могла вы- скокить: дальше лес шел глухой и нехоженный.

«Буду орать через каждые сто метров, а голос-то вон, как нечистая сила носит, в Полежаеве и то, навер- но, слышать, — вознамерившись прокричать весь круг, он уже поверил в успех. — Найду, в этом кругу она, больше ей негде быть».

Лес вдруг просветлел и неожиданно оборвался про- стором.

«Батюшки, да никак тут делянки? — поразился Ва- силий Петрович. — Чьи же это? Доброумовского лесо- пункта, что ли? Или Дуниловского?» Он ожидал впереди дремучий лес, а перед ним распахнулось бескрайнее поле пней. Тот круг, какой он только что наметил прой- ти, теперь показался ему уже бессмысленным. Если

Ксения сумела добраться до вырубок, значит — это уж точно — махнула по ним: ведь человека, потерявшего в лесу дорогу, всегда тянет на просветы в деревьях, и он, выбравшись в делянку, будет до отупения блудить по ней, но ни за что не решится снова сунуться в измучившую его темноту. А эти делянки тянутся из одного района в другой, даже забегают в соседнюю область.

Дело неожиданно осложнилось. Отправляться ли по намеченному кругу — может, все же действительно обкричать сначала его? — или начать поиски здесь, в необозримых делянках?

Сорока-вестунья — кажется, та же самая — снова, всполошившись, закружила над ним. «А ну тебя!» — отмахнулся Василий Петрович. Сорока возмущенно застрекотала и, срезав угол делянки, перелетела на коряво топорщившуюся сосну, неумно разметавшую над землей свою крону.

«Не строевая, пощадил тебя», — усмехнулся Василий Петрович и взобрался в седло.

Простор раздвинулся перед ним еще шире.

«Пожалуй, вырубки-то все же Доброумовского лесопункта, — решил Василий Петрович. — К Доброумову ближе, чем к Дунилову». А если так, то с этим лесом валандался здесь и его сын Дмитрий: он в Доброумове трактористом.

Дмитрий — первенец Степаниды, Зиновий — у Марии-покойницы подскребыш. Дмитрий — Степанидина радость, ее начало. Для Василия же Петровича и тот и другой и не начало и не конец, а самое что ни на есть обыкновенное продолжение. До Дмитрия было пятеро сыновей. Да сколько еще после Дмитрия у него появилось деток! Вера и Катя — теперь уж замужем обе, у обеих свои ребята, как горох из стручка, завыскакивали. Потом Алеша, Мишка, Настя, Кирилл. Не Кирилл, а Курилка — зовет его Василий Петрович.

Этому, конечно, тяжелее всех без матери: шесть годов — не пятнадцать. Алешка, которому пятнадцать-то стукнуло, теперь и не охнет: восьмой класс закончит — и кум королю, зять министру. А Курилке, конечно, не сладко.

Степанида померла по талой земле, будто выжидала, когда легче копать могилу. Всю зиму промаялась она в тяжелой хвори и все скорбила, что, наверно, не дотянуть ей до вешней воды, что придется ложиться в стылую землю. А вот набрала откуда-то силы, дострадала до самых черемуховых холодов.

Василий Петрович и сейчас еще по Степаниде скорбил, хотя понимал, что богу — богово. Но что там ни говори: без мужа — голова не покрыта, а без жены — дом не крыт. Хорошие ребята у него, работающие. Настя вон от горшка два вершка, одиннадцать лет, а как заправская баба ведет хозяйство: и стирает, и обеды готовит, и корову доит. Правда, и братья как шарик вокруг Насти катаются: картошки ей начистят, воды натаскают, наколют дров, пол и то вымоют. Василию Петровичу любо на таких деток смотреть. А все же подумает, что сироты, — кровью обливается сердце.

«А ничего, вытянем», — подбодрил он себя, прогоняя невеселые думы.

Пни чернели набухшими от воды срезами и вдали сливались с землей.

Василий Петрович понудил лошадь. Она, выбирая ровное место, запетляла по вырубке.

Не успел Василий Петрович отъехать от закрайка и тридцати шагов, как земля под ним тревожаще покраснела. От пенька к пеньку, насколько хватал глаз, бордово отсвечивал мокрыми бликами брусничник, будто кто-то нарочно толстым слоем рассыпал дозоренные ягоды продуваться на ветерку.

«Боже ж ты мой, ягод-то...» — удивился Василий Петрович. Он в своей жизни еще не видел такого...

Василий Петрович высвободил ноги из стремян, спрыгнул на землю.

Брусника была сочная и уже давилась в руках.

«Перетерпела, милая... Пропадешь, никому не нужна в этом повырубленном лесу...»

На высоких кочках и замшелых пнях ягоды были исклеваны птицами, но и поедь хранила в себе животворные соки, не собиралась гнило буреть.

Василий Петрович быстро набил на зубах оскомину и снова взобрался в седло.

— Ого-го-о, Ксенья-я, — прокричал он с лошади, заставив ее вздрогнуть. Эхо было здесь уже не лесное, — придушенное — и быстро терялось в просторе, прижимавшем его к земле.

Длиннохвостая стрекотунья-сорока снялась с сосны и полетела вдоль вырубки. Белая грудка ее вытянулась куриным яйцом.

Василий Петрович направил Карюху к синеющему за полянками горизонту. Ему было жалко давить ягоды, и он все оглядывался на следы от копыт, в которых, ему казалось, скапливалась кровь.

— Ого-го-о, — отгоняя дурные видения, хмельным голосом кричал Василий Петрович.

Лошадь петляла среди пеньков, под ногами у нее, как в отсыревшем мху, сочно всхлипывало.

Василий Петрович качался в седле и полчаса и час, а синеющий горизонт отступал от него за увалы и неумно раздвигался вширь. Да, тут Ксенью искать как иголку в омете соломы.

День был пасмурный. Серая наволочь затянула небо, и по всему было видно, что собирался дождь. Отсыревший воздух охлаждал щеки.

Василий Петрович, не привыкший к таким раздольям, опасливо заглядывался. Лес был понятнее для него, чем вырубки. По лесу он ходил, не боясь заблудиться, читая дорогу по мхам и лишайникам на дере-



вьях, по грубым наростам и трещинам на коре белостволых берез, по выступившей на елях смоляной накипи, по муравьиным кучам. В делянках же, казалось, не было никаких ориентиров. Даже трава у пеньков выгорела здесь вкруговую — не разберешь, где север, где юг.

И Василий Петрович, боясь заблудиться, повернул лошадь назад, терпеливо всматриваясь в оставленные кобылой следы. Они были красными от брусничного сока. Сколько же тут понапрасну пропадет спелой ягоды? На весь белый свет, наверно, ее хватило бы.

Ой, Митька, уж наворочал ты дров в лесу, так пошто дороги-то пробил не в ту сторону? К деревне бы надо торить их, к Полежаеву — вот ягоды-то и отобрали б.

А Митька что? Недоплетенный пестерь \*, с тридцать девятого года, и до сих пор неженатый: в голове-то ветер гуляет. У Василия Петровича в двадцать-то два уже... Он осекся, вспомнив, что в этом возрасте только-только женился, и первенец, Костя, появился у него лишь на двадцать третьем году. Ну, ничего, Василий Петрович успел наверстать упущенное. Пусть дотянутся до него другие.

Он вдруг снова вспомнил о Ксенье и пожалел ее, что она до сорока годов докуковала одна. А сорок лет — бабий век... В сорок ни одного ребенка не принесла, дальше ждать хорошего нечего...

Василий Петрович зло осадил себя: «Типун тебе на язык! Чего о бабьем веке раскаркался?» Может, и в самом деле Ксенья уже погибла... Об этом грешно было думать. И Василий Петрович снова настроил мысли на деток. Конечно, неплохо бы и Ксенье ими обзавестись. А от кого? На стороне нагулять? Или увести мужика от какой-нибудь бабы?

---

\* Пестерь — заплечный берестяной мешок для ягод или грибов.

Василию Петровичу припомнился смешной случай. Да не припомнился, а перед глазами так в яви стоял.

Из районной лечебницы приехал в Полежаево ветеринарный врач — прививки коровам делать от бруцеллеза. Полежаевский-то ветеринар, Лука Никонович, все лето отхаркивался кровью в больнице, еще и до сегодняшнего дня не выписали домой. Вот из района и прислали этого чудака.

Он появился на ферме с фанерованным чемоданчиком, собрал доярок в красный уголок и битый час объяснял, как будут делать прививки. Бабы не роптали на него за потерянное время, потому что ветеринар не столько толковал им о деле, сколько травил анекдоты, рассказывал побасенки. Василий Петрович сидел в углу и дивился, кто это в одного человека набил столь чепухи. Уж на что он, Василий Петрович, на словцо не промах, а ветеринара и ему бы не пересмеять.

Ксения, выбравшая за столом место по соседству с бухтинщиком, то и дело игриво поталкивала ветеринара плечом и бесстыдно взвизгивала. С другого боку к заезжему подластилась, конечно, Маня Скрябина и изо всех сил старалась переохотать подругу. «Ну чего же, годы уходят», — не осуждал их Василий Петрович и все поглядывал на Фаю Абрамову, которая не вылезала на глаза заезжему гостю, а, хмурясь, втягивала шею в фуфайку и ежилась.

Ветеринар был наполовину плешивый, то и дело хватался рукой за лысину, будто проверял, на месте ли она.

Ксения быстро освоилась и перешла с ветеринаром на «ты». А он, почувствовав ее расположение, уже ни на кого не смотрел, а встал полубоком к Ксенье и говорил уже только для нее одной. Маня Скрябина обидчиво поджимала губы, но все еще пыталась громким хохотом повернуть ветеринара к себе.

— Слушай, — неожиданно задала вопрос Ксения.

Ветеринар выжидающе посмотрел на нее сверху. И ведь гад — Василий Петрович видел — метил взглядом девке за пазуху.

— Да. Чего хотела спросить?

— Слушай, — прищурилась Ксенья и многозначительно толкнула ветеринара плечом. — Ты лысину-то не на чужих ли подушках натер?

Ветеринар притворился непонимающим:

— Да, много по командировкам езжу, — сказал он невинно.

— Ох, нам бы такого командированного хоть всего на полмесяца, — вздохнула Ксенья.

— Хлопочите перед начальством, — обрадованно предложил он. — Останусь.

— А какие причины-то выставлять?

— Ну, я у вас пока три дня проживу, чего-нибудь за это время придумаем.

Но Ксенья не собиралась ждать:

— Может, позвонить в район, ультиматум поставить: пока не оплешивеешь полностью, не отпустим. Пусть только сунутся к нам...

Ветеринар догадался, что Ксенья шутит, и извернулся бесом:

— Не-е, угрозами не помочь.

— А чем помочь-то? — не удержалась Маня Скрябина. — Уж если женатый, так тебя здесь ничем не удержать.

Он ушел от простодушного вопроса Мани, женат он или холост, и перекинулся на анекдоты.

— Вот, значит, приезжает агитатор в деревню, — заподмигивал бабам ветеринар, — собирает в клуб женщин для беседы о том, как дисциплинировать мужиков...

— Такой же, наверно, агитатор, как ты, — подколола Ксенья.

Ветеринар скромно ей улыбнулся:

— Наверно, — и продолжал: — Да, значит, начи-

нает агитатор беседу и говорит женщинам: «Мужей надо держать как собак!» Женщины ему аплодируют: «Правильно». — «Днем, — говорит агитатор, — надо их кормить до отвала, а на ночь спускать с цепей».

«Ловок, бес, — подумал Василий Петрович. — Дал понять, что не на цепи».

Ветеринар выждал, когда доярки перестанут смеяться, достал из карманчика брюк серебристую луковичу с витым, как веревка, брелочком, щелкнул крышкой:

— О-о, делу — время, потехе — час.

Доярки глянули на свои ходики, висевшие на стене, и тоже заторопились: рассиживаться-то и в самом деле некогда.

Под часами, сбоку, был приклеен ватманский лист бумаги, в который ежемесячно заносились результаты надоев.

— Бабоньки, — изучив цифры, удивился ветеринар, — да ведь вы хорошо работаете... Знаете, я к вам из газеты пошлю фотографа. Надо отметить примерных тружениц, наградить памятными фотографиями.

Ксенья подошла к ветеринару сзади, повернула его за плечо.

— А частушку знаешь? — спросила она, бесстыже уставившись ветеринару в глаза. — Ну, эту самую, про награды-то, — засмеялась она.

Ветеринар неопределенно пожал плечами.

Ксенья отшатнулась от него на два шага, чтобы он видел ее во весь рост, и спела:

Нам наград больших не надо,  
Наградите мужиком.  
А не то мы нашей фермой  
Обвенчаемся с быком.

Василий Петрович не слышал, чего после этой частушки говорил Ксенья ветеринар, потому что вышел на улицу и уже вознамеривался пойти домой, как дверь

хлопнула, ветеринар распаренно перевалился через порог и поманил Василия Петровича пальцем.

— Слушай, дед, — сказал он заговорщицки и легонько щелкнул себя указательным пальцем по подбородку. — Сходи до магазина, а то я еще не освоился, не знаю, где что тут у вас. — Он достал из бумажника три хрустящих десятирублевки, но Василий Петрович несогласно отвел его вытянутую руку.

— Не-е, не могу, — скривил он губы. — Я сегодня уже хватил. Мы тут с бригадиром бутылку спирта выпили на двоих — и не разодрались...

Ветеринар недоверчиво попринюхивался и понял, что Василий Петрович его разыгрывает.

— А со мной? — спросил он.

— А с тобой раздеремся. — Василий Петрович повернулся, оставив недоумевающего ветеринара стоять у крыльца.

— Дед, ты чего, обиделся, что ли? — крикнул он. Василий Петрович ничего не ответил ему.

Не заходя домой, он уселся на крыльце и, не осознавая зачем, набирался терпения не прокараулить, когда Ксения будет возвращаться домой.

«Господи, да свекор я, что ли, ей? — укорял он себя, но не уходил, смолил трубку за трубкой. Осенние ночи холодные, сырость так и ползла под рубаху. Сентябрь — уже не август-зарничник, когда можно круглую ночь провести на крыльце и не поежиться. Холод стал пробирать до костей, тогда-то Василий Петрович и услышал из-за реки подзадоривающий хохоток.

Ксения шла с фонарем, а рядом с ней месил дорожную грязь ветеринар. Фонарь высвечивал его развевающийся на ходу плащ.

Перед поворотом к своему дому Ксения замолчала, ускорила шаг и, когда тропинка вывернула из-за обочины, потопталась на тверди, околачивая с сапог грязь. Ветеринар проделал за ней то же самое.

Ксенья молча двинулась по лужайке, он угонисто завывал за ней. Она открыла калитку, поднялась на крыльцо. Он напористо следовал за хозяйкой.

— Милый, а тебя-то кто сюда звал? — спросила Ксенья неестественно ласково и вдруг шарахнула чем-то командированного. Василий Петрович услышал, как ветеринар скатился с крыльца и как Ксенья, звякнув замком, открыла дверь и, видимо проскользнув в темный проем, торопливо захлопнула ее на задвижку.

Ветеринар, путаясь в длинном плаще, обиженно укорил Ксенью:

— Ну, чего ломаешься-то? Чего?

Ксенья молчала за дверью.

— Через год ведь никому будешь и не нужна.

Ксенья не вытерпела:

— Ой, что-то уж больно короткий срок ты установил для меня... За такой у тебя и лысина, пожалуй, не успеет расползтись.

— Мне-то лысина не страшна, а вот тебе...

— А ну, проваливай отсюда! — Ксенья, щелкнув задвижкой, открыла дверь. — Кому говорят, проваливай... Жеребец мне выискался. Я ведь не кобыла, всякому подставляться.

Он испуганно попятился. Василий Петрович слышал, как под его ногами зашуршали листья.

Ветеринар выскочил на дорогу и самой середкой ее пошел в деревню.

Ксенья не закрывала дверь. Василию Петровичу казалось, что он видит ее, всю в белом, стоящую на крыльце. «А почему в белом-то? — удивился он обманному зрению. — Ведь она в фуфайке должна, не раздевалась еще».

Ветеринар по мосту перешел реку и стал подниматься в гору. Когда он поравнялся с Василием Петровичем, тот увидел в его руках фанерованный чемоданчик.

— Ну, так как живем? — насмешливо поинтересовался Василий Петрович.

Ветеринар близоруко взгляделся в темноту:

— А-а, это ты, дед... Видел, что ли?

— Да нет, у меня глаза слабые, — засмеялся Василий Петрович. — А вот на уши не жалуясь... Хорошо она отбрила тебя.

— Да ну ее... Рвотный порошок, а не баба.

— У нас в Полежаеве все такие, — предостерег Василий Петрович. — Так что знай...

— Да ладно, ладно тебе, — отмахнулся ветеринар. — С каким-нибудь хахалем, наверно, заранее договорилась. То и не пустила меня.

У Василия Петровича и на минуту не задержались эти слова в голове, будто ветер невнятно прошелестел в стороне и замолк.

### 3

Сорока всполошенно застрекотала вблизи. Ксения хотела повернуться на ее зов — и не смогла. Тело было уже чужим и жило само по себе. Ксения скосила глаза туда, где трещала сорока, но, кроме угрюмо чернеющей стены леса, что была от нее сбоку, ничего не увидела. А сорока тараторила за спиной, в трепетавшем мокрыми листьями осиннике.

Ксения была сейчас настороже, она очнулась от громкого эха, гулко летавшего над лесными гривами, и сорока подавала ей весть, что человек, кричавший в лесу, выходил на вырубку.

Ксенья показалось, будто она почуяла, как у нее стало работать сердце и как вялая кровь засочилась по жилам, оживляя занемевшее тело.

Ксения пошевелила пальцами правой руки, которая у нее бессильно обвисла меж коленей — они чуть заметно дрогнули.

Неумолчная сорока сделала полукружье над сосной, к которой привалилась спиной Ксения. Она летала, как ронжа, какими-то рывками, то оседая к земле, то взмывая вверх. Ксения не видела, как сорока села над ней, она только услышала, что качнулась ветка и вниз посыпалась омертвевшая хвоя.

И уже не столько слухом, сколько каким-то другим чувством, которому Ксения не знала названия, она ощутила, что на делянке стоит человек и что он не один. Ксения хотела подать ему голос, но язык ослушался ее, и изо рта выдохнулся лишь едва различимый хрип, который не потревожил даже сороку. На лбу у Ксении выступил пот, она дернулась обтереть его, но рука не подчинилась ей. И тогда проступила потом спина. Ксения чувствовала, что он собирается струйками и что намокшая нижняя рубаха не может его сдержать. Нет, этого не могло быть, рубаха у нее и без того была мокрой от тяжелой росы, выпадавшей по вечерам, от дождя-колотуна, пробравшего Ксению зубостучной дрожью уже во второе утро после ночлега в лесу, от хранивших воду кустов, продираясь через которые она обдавалась холодным душем.

Невдалеке треснули сучья, и Ксения сначала увидела лошадь, а потом уж и покачивающегося в седле человека. У нее заслезились глаза, отображение человека двоилось и прыгало перед ней. Она опять попыталась крикнуть. Задеревеневший язык беззвучно шевельнулся во рту, а потом, будто пробив преграду, извлек шепотливый всхлип:

— О-о-и-и...

Сорока перепрыгнула на другую ветку, и сверху снова посеялись омертвевшие, скипидарного цвета иглы.

— О-о-а-а, — хрипло вытолкнула из себя Ксения и совсем обессилела, облилась липким потом.

Человек спешил с коня и, пригибаясь к земле, стал лазить меж пней, сам напоминая обгоревший пенек.



«Собирает бруснику», — догадалась Ксенья. Она вчера, выбравшись на делянки, тоже удивилась обилию ягод и тоже ползала на коленях, пока от брусники не засадило во рту. Она надеялась, что ягоды утолят ее голод, но они еще больше разожгли аппетит.

Человек выпрямился — Ксенье показалось, что он бородатый, — и опять взобрался в седло.

— Ого-го-о, Ксенья-я! — прокричал человек с лошади, и Ксенья узнала Васю-Грузля. Она рванулась к нему, откачнувшись от дерева, и с сосны рыбьей чешуей закрошилась кора.

— Ва-а-сс-и-и... — захрипела Ксенья и, не в силах удержаться без опоры, снова беспомощно откинулась назад.

Вася-Грузель понудил коня и поехал.

Ксенья еще раз дернулась за ним и обреченно затихла.

«Видно уж, пропадать в лесу», — устало подумала она и смежила веки. С боков, из-за дерева, закурдывался ветерок и охлаждал потную спину. Ксенья еще ощущала это и, открыв глаза, увидела, как вдали покачивался в седле Вася-Грузель.

«Так вот куда надо было ей, дуре, вчера идти...»

А она метнулась совсем в противоположную сторону. Накружившись за два дня по буреломному лесу, она даже не поверила себе, когда заредели деревья и небо, до того видимое только над головой, запросничало впереди. «В какое-то поле вышла», — обрадованно подумала Ксенья и, если бы у нее были силы, бегом побежала бы навстречу просветам. Но вышла она не в поле. Широленные пни темнели давними срезами, и Ксенья поняла, что эти делянки уже оставлены лесорубами. Но все-таки здесь когда-то работали люди и куда-то они отсюда вывозили спиленный лес. Жилье было хотя и неблизко, но появилась надежда его найти.

Она поглядывалась. В одной стороне вырубки сли-

вались с темнеющим небом, в другой упирались в по-рыжелый осинник, и Ксенью зазывчиво потянуло к нему. Осинник всегда растет невдалеке от деревни, по крайкам полей, вдоль проезжих и забытых дорог.

Она шла до осинника долго, испугнула сороку и обрадовалась живой душе. Сорока куда-то торопила Ксенью, но ее задержала брусника, которой была усыпана вся земля. Ксенья горстями обрывала ее, почти безлистную, и бросала в рот.

Она уже знала, что ягодами не насытишь себя. Ей сотни раз попадалась черника, но голубоватые ягоды были по-осеннему водянистыми. Ксенья не ощущала от них никакого вкуса. Натыкалась она и на редкие земляничины, тоже размокшие, с вымытой сладостью и тоже не утолявшие голода.

Но больше всего в лесу было грибов. Красноголовые подосиновики выглядывали из-под листьев на каждом шагу. В траве обвисали раскисшими от воды шляпками сморщившиеся обабки. Ксенья не могла пересилить себя, чтобы съесть их сырыми. Она, правда, изгрызла несколько корней сыроежек, но после этого ее полдня занимала отрыжка.

Вот когда она позавидовала бабам, которые курят: у них всегда при себе спички.

Как-то Ксенья наткнулась у муравейника на ежа. Он фыркнул на нее и свернулся клубочком. Ксенья перевернула клубок и в не затянутое иглами отверстие увидела черный нос. Она прикоснулась к нему пальцем и поразилась, что нос холодный. Еж плотнее стянул иглы, но не смог вытеснить пальца.

Ксенья слышала, что ежей едят даже сырыми. Мужики, вернувшись с войны, об этом рассказывали. Ксенья ежом побрезговала бы. Но ведь мужики смелые, не чета бабам-квохтуньям.

Она снова пошла к осиннику, уже представляя за ним лесовозную дорогу. Но осинник вытянулся перед

ней глухой неприступной стеной. Ксения пробилась через нее и выбралась в болотистую низину, заросшую редкими, угрюмыми елями, увитыми седым лещачиным мохом. Лес был нехоженным, диким и впереди пугающе сгушал темноту. Откуда-то снова вывернулась сорока и по-бабьи раздраженно затараторила.

Ксения выбралась обратно в делянки и села передохнуть под корявой сосной. Под ней было сухо: разлапистые корни вздымались над землей, образуя у ствола подобие кресла. Ксения вытянула ноги, и они натруженно загудели.

Сидеть было холодно, но она не могла заставить себя подняться.

Перед глазами у нее разливалось красное море ягод. Ксения осоловело смотрела на них. Мокрая одежда пеленала ее одрогом. Но Ксения уже почти не ощущала его. Голову прислоняло к сосне и обносило обморочливым вязким туманом.

Ягоды краснели перед нею кровавым закатом. И Ксения стылым голосом прохрипела:

О-ой, да во-о-бо-о-ру бру-у-сни-и-ка ро-о-сла...

Она еще не осознавала в эту минуту, что поет сама, и, услышав простуженные, клекотливые хлипы, открыла глаза.

Над делянками оседали сумерки, но брусника все равно отливала мокрым красным огнем. Казалось, неугасимое пламя вот-вот взметнется над вырубками, и живая трепещущая стена веселого жара, изрыгая малиновые рвущиеся языки, с рыком и яростью двинется на прижимавшую ее ночь.

Но Ксения все же заметила, что брусника постепенно тускнела и над делянкой становилось темнее. Так и не дождавшись огня, она снова смежила веки.

О-ой, да во-о-бо-о-ру бру-у-сни-и-ка ро-о-сла... —

эпять обморочно зятянула она, не узнавая своего голо-  
са и недоумеая, кто это поет. Она не знала, что выкри-  
чала свой голос в первую ночь, не знала потому, что,  
похолодев от ужаса, поняла: ее никто не услышит, и  
уже потом ходила по лесу молчуньей. В мыслях-то она  
с собой разговаривала оба дня, и ей казалось, что даже  
слышала свой по-прежнему бойкий выговор. А голос  
по-чужому хрипел:

О-ой, да ро-о-сла кра-а-сна-а  
Терпе-е-ливая-я яго-о-да-а...

Раньше Ксенья слыхала эту песню от матери, но ни  
разу не подтягивала ей, почему-то стыдилась, что не  
хватит силы в груди на такую тоску.

О-ой, да ро-о-сла кра-а-сна-а  
Терпе-е-ливая-я яго-о-да-а...

Теперь эта сила распирала ее, но Ксенья не знала  
слов дальше и все ждала, что хриплый голос напо-  
нит их ей, но он тоже затих, оборвавшись тягучим  
вдохом:

А-а-а...

Откуда-то снизу, из-под ног, выметнулся рыжий  
огонь. Ксенью обдало жаром. «Вот, вот, вот, хо-о-рро-  
шо, — говорила она, стуча зубами. — Вот теперь я со-  
со-гр-реюсь...»

Она просыпалась в осыпной дрожи, непонимающе  
вглядывалась в темноту и, так и не сообразив, куда по-  
пала, снова забывалась зыбучим сном.

Первую ночь Ксенья пробегала по лесу, не сомкнув  
глаз. Малиновый колокольчик увлек ее за собой. Ксенья  
заметила полуразвалившийся осек, но колокольчик зве-  
нел призывно, и она выскочила из выгороженной поско-  
тины, понадеявшись, что не оторвется от нее далеко.  
Но медный звон приглушенно растворился в шуме де-

ревьев, Ксения уже совсем закружилась и не знала, в какой стороне дом.

Она не верила, что заблудилась, и, решив переждать ночь под елкой, потому что в лесу стало темно, как в подполье, и невозможно было ступить шагу, чтобы не наткнуться на сук, продрожала от сырости до утра, обманчиво согревая себя отчаянным криком. Эхо далеко разносило голос, и Ксения однажды даже поверила, что ее услышали, потому что тишину разорвали ружейные залпы. Ксения, надсаживая глотку, заорала призывнее, но стрельба больше не повторилась. Утром, когда развиднелось, Ксения пошла туда, откуда, как ей казалось, долетел до нее гром выстрелов, еще покричала, выискивая высокие деревья и направляя свой голос вдоль их стволов, пока не поняла, что ее не услышат.

Лапы елок никло тянулись долу, обещая затяжное ненастье. А Ксенья уже и без дождей было холодно. По ночам в октябрьском лесу было как на дне колодца: зуб не попадает на зуб. У костра бы обсушиться или на солнышке, но погода и перед грядущим ненастьем была неласковая, измотала Ксенью надоедливой сыростью. Дни были схожи с ночами.

Под сосной на делянке Ксения впервые согрелась, и ей показалось даже, что огонь лижет ноги. Она открывала глаза: никакого огня не было, но ей было жарко, и едва веки смыкались, как пламя снова охватывало и приподымало ее над землей.

Она взлетала в каком-то неистовом возбуждении, но сразу же падала.

Насмешливая сорока, не отстававшая от нее целый день, брезгливо кивала желтеющим клювом.

Ты, сорока-белобока,  
Научи меня летать, —

умоляла стрекотунью усталая Ксенья и пытливо вглядывалась в ее немигающие глаза.

Чтоб не низко, не высоко,  
Чтобы милого видать.

Сорока несогласно крутила клювом. Ну, конечно, на такую высоту, чтобы увидеть милого, Ксенья уже не взобраться: Тиши нет в живых. Но она совсем недавно видела его фотографию в застекленной рамке в избе у Василия Петровича. Тиша был снят в лихо набекременной на ухо пилотке, наглухо зажатый воротом гимнастерки, перепоясанный кожаными ремнями.

Ксенья не раз бывала в доме Василия Петровича, но никогда не натыкалась глазами на эту фотографию.

У нее сжалось сердце, и, хоть Ксенья не сомневалась ничуть, что это именно он, она для верности уточнила:

— Это Тиша или Зиновий? — Голос у нее предательски дрогнул, и она, промочив горло слюной, добавила: — Уж тут очень похожи, и различить не могу.

— Да ведь Егоровы оба, — горделиво заметил Василий Петрович, и Ксенья засомневалась. Зиновий действительно сильно смахивал на Тишу, младшего брата Василия Петровича. Сейчас-то, правда, Зиновий обрюзг, но в юные годы, когда был студентом, Ксенья даже пугалась этой схожести.

— Раньше-то, когда Зиновий из Костромы приезжал на каникулы, я его часто принимала за Тишу.

— Как принимала-то? — не поверил Василий Петрович. — Тишу еще в сорок первом убили.

— Да я ведь не взаправду их путала... Я говорю только: похожие очень.

— Егоровы, конечно, похожие, — упорствовал Василий Петрович.

А Ксенья и без него знала, что Тиша и Зиновий Егоровы.

Тиши она была моложе всего на два года, но он посмотрел на нее как на девку-то лишь перед самым призывом в армию.

На Николиной гриве было гулянье. Ксения только что отплясалась с девками, стояла, отмахивалась веткой черемухи от наседающих комаров. Тиша подошел к ней и сказал:

— Давай по деревне пройдемся.

Она зарделась от непривычки, потому что с парнями еще не гуляла.

А Тиша обнял ее сзади за плечи и повел по деревне. Гулянье уже распадалось на парочки, и Ксения с Тишей шли в обнимку не первыми.

— А я на тебя уж давно смотрю, — сказал он, и Ксения не поняла, то ли Тиша имел в виду, что давно на нее заглядывается, то ли говорил про сегодняшний вечер, что давно дожидается, когда она закончит плясать.

Она не решилась у него уточнить, а он отобрал ветку черемухи и стал сам отгонять от нее комаров.

Ксения недоумевала, отчего ее при Тише сжимает неловкость. Ведь жили они в одной деревне, дом от дома через реку. И раньше-то она не обращала на него никакого внимания: пробегала мимо, не повернув головы. Он иногда хватал ее за косы, так кто из ребят только и не хватал: интересно ведь им, когда девчонка визжит.

Совсем и не заметила Ксения, как хватанье обернулось серьезом.

Ой, смешно даже вспомнить сейчас.

Они однажды ходили с Тишей на игрище в Доброумово. Ну-ка, за четырнадцать километров леший унес.

Перелесками, полями, лугами шли. Заявились в Доброумово, а там уж и гулянье закончилось. Посреди деревни сидел на завалинке один пьяный мужик, неловко

облокотившийся на гармонь, и спал. Тиша растолкал его.

— А ну, сыграй нам чего-нибудь...

Но чего он сыграет, промычал, приподнявшись на локтях, да и уронил голову опять на мехи.

Тогда Тиша губами начал играть: «Трень-брень, трень-брень», — будто на балалайке. Ксения выскочила плясать, руки крыльями как лебедушка подняла. Вот было смеху! Никакое игрище так не запало ей в память.

А в Полежаево обратно пришли — печи уж топятся.

У Егоровых Парасья, Тишина мать, блины печет. Под окошками слышно, как сковородка шкварчит. А на стеклах-то, глянешь, от русской печи заря полыхает. Вот Тиша и привязался: пойдём да пойдём на блины.

У Ксении даже дыхание остановилось:

— Да ты что? Я ведь еще тебе не жена...

Ополоумел совсем: блины-то, уж если на то пошло, на другой день свадьбы родители незесты пекут. А он без всякой свадьбы к себе зовет. Сходи она — в Полежаеве река в обратную сторону поворотится. Скажут: Ксения-то белены объелась — в сельсовете не расписались еще, а она уж на блины к нему бегаёт.

— Нет, Тиша, нет!

— Или не проголодалась за такую дорогу?

— Ну, Тиша, ты и смешной. — Ксения прижалась к его плечу. — На каких правах я у вас за столом-то усядусь?

— А что, разве у нас не любовь? — спросил он ревниво и даже отстранился от нее.

Любовь-то любовь... И хотелось бы Ксенье отведать Парасьиной стряпни, ой как хотелось бы... Да ведь блины — это когда у людей одна семья. А Ксения еще неизвестно, войдет ли в семью-то Егоровых.

Тихон, правда, уже предлагал ей жениться. Решали только: перенести женитьбу, пока Тиша не отслужит два года в армии, или, не убоявшись разлуки, сходить



в сельсовет сейчас. И как раз в августе объявили по радио и написали в газетах, что служить-то теперь уже не два года, а три. А четвертого сентября нарком Ворошилов отдал приказ о призыве на службу девятнадцатого года рождения. Конечно, Тише и двух лет хватило бы: в сорок первом его уже и не стало.

Ксенья разглядывала военную фотографию Тиши и дивилась, как же это Василий Петрович совсем позабыл о том, что младший брат хотел жениться на ней. Ведь вроде бы они и не таились ни от кого, хотя раньше времени, конечно, и не заводили с родителями серьезного разговора. Тем более Василий Петрович сам только что привел в дом Степаниду, два лета после Марииной смерти ходил в бобылях и, видно, было ему не до брата, раз ничего не запомнил про Тишу из тех годов.

— Постой, постой, — вдруг спохватился Василий Петрович. — А ведь у тебя с Тишкой-то что-то было, ведь провожались вы раза два, помнится?

Раза два... Обсчитался, Василий Петрович! Два месяца!

— Нет, не провожались мы, — глухо сказала Ксенья. — Просто по пути было домой ходить. — Она хотела повернуться, уйти и все же снова спросила: — Так это Зиновий иль Тиша?

— Да нет, Зиновий... Али не видишь, гимнастерка не прежняя, нынешняя, с погонами... Это Зинко, на сборах...

— А будто Тиша сидит...

Василий Петрович заикнулся о чем-то у Ксеньи спросить, но промолчал. И Ксенья подумала, что он, наверное, вспомнил, как она увивалась в клубе вокруг Зиновия. Ну, не спросил — и не надо. А с ней происходило тогда непонятное. Ей — посмотрит на Зиновия — реветь хотелось: и она даже сама не знала, зачем парня дразнила. Не в отместку ж, конечно, за то, что он так был похож на Тишу, а за что же тогда — не объяс-

нишь. Ксения постыдилась поднять на Василия Петровича глаза.

Ее обволокло опьяняющим жаром, обнесло голову. Она спотыкливо пошатнулась, чуть не упала.

И почему-то не Василий Петрович, а Тиша подхватил ее под руки и, обжигаяще целуя в откинутае лицо, все звал прогуляться по Николиной гриве.

— Тиша, да откуда же ты? — заобливалась Ксения слезами.

— А тебя проверял... Узнавал, умеешь ли ждать? — Он, хоть и целовал ее в щеки, был какой-то неласковый. Голос у него надтреснуто леденел. — А вот сегодня поверил.

— Тиша, да почему так долго-то проверял?

— Я тебе говорю: сегодня поверил...

— Да почему сегодня-то? — не понимала Ксения.

— Сегодня ты никого не вспоминала, кроме меня, — он сказал это и захохотал. Ксения подняла голову и увидела, что его смех рассыпался по делянке алой брусникой, а самого Тиши снова не стало.

Ксения шарила вокруг жаркой рукой, но не натыкалась на Тишу. В ладонь попадала брусника, и кто-то невидимый давил ее, выжимая розовый сок, который кровью просачивалась сквозь пальцы и капал на землю.

Ксения кинулась искать Тишу, но увидела на делянке Маню Скрябину с Фаей Абрамовой.

— Девки, вы не встречали здесь Тишу Егорова?

Девки, отворачиваясь от нее, собирали бруснику.

Ксения попыталась зайти к ним с лица, но они вдруг попрятались за пеньками.

— Да вижу, вижу, где вы, — засмеялась Ксения и, уже позабыв о Тише, побежала ловить подруг. И за какой пень ни заглянет — нет никого, одни ягоды рдеют россыпью. Кожура на них тонкая, и, казалось, если бы не дожди, брусника давно бы потрескалась, перезревшие истекла соком.

Под утро Ксения снова замерзла, но не могла пробудиться, пока не застрекотала сорока.

Ох, лучше бы она и не будила ее. Лучше бы Василий Петрович проехал на коне невиденным.

Ксения опять уловила какие-то посторонние звуки. Она через силу разлепила отяжелевшие веки.

Василий Петрович возвращался по своему следу.

— Ва-а-а... — опять захрипела она и опять рванулась к нему навстречу, обламывая сучья. Она не поняла, почему ее извалило на бок — она не хотела падать, она хотела бежать, — и, уже уткнувшись лицом в землю, зарывшись носом в податливый мох, она окончательно поняла, что это ее конец. Она прощально услышала всхрап лошади и закрыла глаза.

#### 4

Василий Петрович привез Ксению горячечной.

За дорогу от делянок до Полежаева он уже все продумал: оставлять ее в избе за рекой нельзя — пить запросит, так и то подать некому. А у него в доме орава помощников, не отходя от изголовья будут сидеть. И если фельдшера вызвать понадобится, так медпункт-то через дорогу: окошко открыл да крикнул — и то услышат, Георгий Митрофанович тем же мигом и прибежит.

Он положил Ксению на свою постель в горнице, вскипятил молоко и сходил за Георгием Митрофановичем.

Георгий Митрофанович признал у нее воспаление легких и предложил отправить в больницу.

— А может, отлежится и здесь? — тревожно спросил Василий Петрович. — Везти-то по такой дороге — совсем растрясем.

Георгий Митрофанович по-стариковски кашлянул:

— Были бы мы с тобой, Василий Петрович, годиков

на двадцать моложе, так и у нас отлежалась бы... Бабу и больную надо почаще с боку на бок ворочать...

И оттого, что фельдшер шутил, Василию Петровичу подумалось, что положение Ксеньи не такое уж страшное.

— Так если нужно будет, и мы поворочаем, — сказал Василий Петрович. — Старый конь борозды не испортит.

Георгий Митрофанович похихикал в кулак:

— Ну, давай денек на ее поведенье посмотрим...

Он сделал Ксенье укол, оставил каких-то порошков и настоек и велел ими поить больную, чередуя, через каждые три часа.

— И молока кипяченого почаще давай, да с медом, — посоветовал он.

Ксенья все же была здоровая женщина и быстро пошла на поправку.

Через неделю она уже ходила, пошатываясь, по избе, протирала от пыли окна, снимала мокрой тряпкой из углов паутину. И когда она, опираясь рукой о скамью, задышливо садилась, на бледном лбу выступала испарина.

— Куда раньше-то времени поднялась? — бранился Василий Петрович. — И без тебя уберут.

— Да им ведь и побегать охота, — оправдывалась Ксенья.

И почему-то это разволновало его. Василий Петрович раньше за Степанидой не замечал, чтобы она берегла ребят. А может, потому и не замечал, что она-то все же родная мать им: если в чем и обидит, так тем же часом и приголубит своих детей. А не своих? Он попытался вспомнить, как Степанида пришла в его дом. Ведь Зиновию — от Марии — было четыре года, Петру — семь, Захару — одиннадцать... Пожалуй, столь же, как теперь Степанидиным деткам. Эти еще чуток и постарше.

Нет, про Степаниду он не мог припомнить худого, была очень ровная баба и не выделяла своих от чужих. Своим-то, пожалуй, перепало зуботычин побольше, чем Марииным. То и подумалось сейчас Василию Петровичу, что она не берегла ребят. Они у нее всякую работу делали, ничего не выпадало из рук. Не научи Степанида их этому, Василий Петрович уже давно б пропал. Ребята, по совести-то сказать, и вели хозяйство, не он. Он только добытчиком был. Ну, конечно, как всякий мужик, следил за избой: не протекает ли крыша, не прогнили ли углы, не обгорела ли где труба, не отскочила ли у рам замазка, не расшатала ли корова ясли, привезены ли из лесу дрова, достаточно ли запасено сена... А остальные-то, куда более многочисленные, заботы лежали на ребятишках. Без бабы, говорят, мужик пуше маленьких детей сирота. Со своими детками Василий Петрович не чувствовал себя сиротой. И вот, выходит, забыл, что они все-таки детки. Ксения первой напомнила.

— Да полежи ты, — нахмурился он. — Давай тряпку-то, и без тебя оботру.

— Иди, старый хрыч. — Ксения незлобиво отпихнула его, не отдавая тряпки. — Что? Мужичьих дел, что ли, нет?

Василий Петрович ввязался в работу до треска в спине. С утра, пока не выпустят из двора коров — а выгонять их рано теперь не давали выпадающие по ночам иньи, — он успевал лучковой пилой раскатать на чурбаны полвоза дров, сбегать раза три за водой к колодцу, намыть поросенку картошки и поиграть еще топором, мастера что-нибудь по хозяйству. Ребятам оставалось дрова исколоть да ноши четыре свалить под шесток для истопки.

Ксения постепенно все больше и больше забирала в свои руки работу в доме: подмывала пол, варила еду,

готовила для коровы пойло, ходила за поросенком, пропускала через сепаратор молоко, стирала.

Василий Петрович, посмотрев на ее старания, почему-то стыдливо, мельком, подумал: «А пожалуй, лучше-то Ксеньи никто и не управился бы с моей оравой».

Он, стесняясь себя, сбрил бороду, посмотрелся в проржавевшее, облезлое зеркало, висевшее в простенке, и удивился синеве впалых скул. Не кожа, а голенище от сапога.

Ксенья, увидев его бритого, всплеснула руками:

— Все равно цыган!

— На тебя не угодишь, — отшутился он.

— Так я ведь и не похулила тебя, — сказала она и, вдруг притихнув, задумалась; как сонная, уселась к окошку, уставилась печально на улицу. Василий Петрович теперь частенько заставлял Ксенью такой и, боясь потревожить ее вопросами, уходил на двор.

Однажды он ввалился в избу не вовремя. Ксенья не услышала хлопнувшей двери. Она, как перед иконой, стояла перед Зинковой фотографией и несуразно шептала:

— Ти-и-шенька, а я все же в твоём доме теперь живу... С племянниками твоими нянчусь...

Василий Петрович оробело запытался. А Ксенья горячечно выговаривала:

— Тиша-а, я ведь сколь ночей проревела в подушку... под твоей крышей живу, а и не с тобой... Посоветуй, чего теперь делать-то... Уж, может, в родню входить...

Василий Петрович неслышно переступил порог и бесшумно прикрыл за собою дверь. Волосы на голове у него слиплись от пота. Он сдернул шапку, но совсем не почувствовал холода.

«Что же это с ней? Не с ума ли сходит?» — Он давно примечал, что Ксенья будто жила чужой жизнью, отрешаясь от себя самой.

Он спустился по лестнице и, не надевая шапки, уселся на крыльцо покурить.

— Василий Петрович, — смеясь, появилась Ксенья у него за спиной. — А ты знаешь ли, отчего почернел?

Он, пугаясь несурзанности ее возгласа, настороженно присмотрелся к ней.

— Да ты чего на меня так пристально смотришь? — недоумевая, хохотнула она. — Не нравлюсь, что ли?

Нет, это была уже снова прежняя Ксенья, насмешливая, с прищуренным взглядом. Ничего странного в его поведении уже нельзя было заметить.

— Да вот, чего-то задумался, — слукавил Василий Петрович. — Ты меня врасплох захватила.

— Я говорю, знаешь ли, отчего ты почернел?.. — переспросила она и, опасаясь, что он опять не поймет, чего ради возник вопрос, пояснила: — Вот я тебе — помнишь? — сказала, что ты все равно как цыган.

— Помню.

— Ну вот. Так ты чернеешь от табаку.

Василий Петрович облегченно заулыбался.

Он и в самом деле курил без меры. Ксенья, когда заходила в избу, с непривычки не могла продохнуть и отмахивала дым от себя, першливо откашливаясь.

Василий Петрович почти перестал смолокурить в избе, забирался в ограду, а на ночь, несмотря на резкие утренники, уходил спать на поветь. Она была до крыши забита сеном, но в углу у ларя оставалось незанятое местечко, где стояла кровать, над которой еще с весны Василий Петрович натянул домотканый полог. Он натягивал его от комаров, а теперь выходило — и для тепла. В пологе, когда надышишь, становилось даже парно. Но сено ведь тоже не допускало с улицы холод, закрывало все щели, продувные подкрышные пазухи. Да еще Василий Петрович, оттянув в изголовье полог, принимался курить, и дым заполнял все пространство,

тяжело зависая вверху и удерживая на повети надышанное тепло.

Однажды Ксенья зачем-то заглянула к нему на поветь и не по-притворному испугалась:

— Ой, ведь и дом спалишь... Сено-то одним разом займется.

Она не дала Василию Петровичу дотянуть до утра, заставила перебраться в избу. И хоть в избе ему приходилось укорачивать себя и с вечера класть трубку на подоконник, он все же был доволен переселением: как хозяйка распорядилась. Степанида тоже не давала спать ему на повети. Бывало, если он не послушает, всю ночь не смыкала глаз. Не один раз выскочит на мост, наставляя ухо: потрескивает у него трубка иль нет.

— Да спи, спи, — осаживал ее, бывало, Василий Петрович. — Не маленький ребенок, с огнем не буду играть.

Степанида звала его в избу, но он наперекор ей все-таки оставался ночевать на повети.

А вот Ксенье перечить не смог. Да и как ей перечить? Не жена и не любовница. А за то, что взвалила на себя нелегкую бабью поклажу, ребятишек его от грязи отмыла, в избе навела порядок, куражиться над ней был бы грех.

Ксенья уже ходила теперь на ферму, но Василий Петрович с ней там почти не виделся.

Коров гоняли пастись по жнивью в полях, и он управлялся с ними один, без помощников. В поле — не в закустарившихся лугах, не в лесу — не растеряешь стадо. И Пеструхи-беглянки уже в стаде не было.

Доярки, как только Пеструху нашли в торфяном болоте у Межакова хутора облезшую, с потрескавшимися сосками, уговорили председателя колхоза выбраковать ее и отправить на скотобазу.

— А ты, Зиновий Васильевич, помнишь ли, как ме-



ня-то выбраковать хотел? — сощурилась Ксенья, увидев Зиновия, приехавшего на ферму за выбракованными коровами.

Зиновий не знал, как себя с ней и вести. В Полежаеве уже всю поговаривали, что Василий Петрович женился на Ксенье. Приходили даже к Василию Петровичу охотники купить Ксеньину избу.

— Не со мной торгуйтесь, а с ней... — сердился Василий Петрович. — Может, она на города ладит уехать, тогда продаст...

После такого ответа заводить с Ксеньей разговор об избе уже никто не решался.

Зиновий тоже однажды попытал у отца:

— Пап, а у тебя с ней чего? На квартире жить, так вроде бы своя изба есть.

— Не твоего ума дело, — осадил сына Василий Петрович.

Зиновий уже отвык от таких ответов, покраснел пятнами:

— Не моего, так и не моего, — сдался он. — Только ведь после маминой смерти и шести месяцев не прошло. Погодил бы немного.

— Я-то бы погодил, да у меня, Зинко, полная изба негодников, они не ждут.

Василий Петрович нарочно назвал сына Зинком, чтобы тот сразу почувствовал, что он хоть и председатель колхоза, а ему сын и у него над ним власть прежняя.

Зиновий больше не сказал ничего, а теперь вот Ксенья принародно смутила его своим вопросом.

Бабы выжидающе притихли, запереглядывались.

Но Ксенья сама же и пришла к Зиновию на выручку:

— Выходит, ты не зря меня собирался выбраковать. Чуть по-твоему и не стало...

Зиновий все еще хмурился, не зная, ответить ли ему

что-либо или набраться терпения и промолчать. Но Ксения снова опередила его, засмеялась, как прежде:

— А ведь сдал бы тогда, когда грозился-то осенью, так для колхоза, смотришь, лишние семьдесят килограммов мяса в план засчитали. И по лесу бы шастать из-за меня никому не пришлось.

Зиновий заулыбался:

— Ничего, вот снова поднаберешь вес — и сдадим.

Тут уж Маня Скрыбина высунулась, нашла в словах Зиновия оборотный смысл:

— Так чего, или уже на поправку пошла? Ты откуда знаешь-то? Уж не за ноги ли батьку держал?

Даже Василий Петрович не удержался, сплюнул:

— Язык у тебя, Маня, или лопата — разобрать не могу, — и покосился на Ксению. Она стояла как ни в чем не бывало, будто бы слова и не касались ее.

Но Василий Петрович с этих пор старался не задерживаться на ферме подолгу.

В небе пахло уже зимой. Стерня в полях почти не отогревалась от инея. На землю вот-вот мог улечься покров.

И когда снег все же выпал, когда на ферме Василию Петровичу стало нечего делать, работы у него все равно было невпроворот: она всегда поджидала его. На другой же день, как освободился из пастухов, он уже гнул для колхоза сани. У него еще с лета были запасены полозья, приготовлены вязки, и он теперь выравнивал топором, подтесывал пахнущие стружкой копылья. Дело было привычное, большого хитра не требовало, но всякий раз успокаивало, и Василий Петрович забывался за ним.

Но, возвращаясь мыслями к жизни, думал, что все-таки действительно лучше семью гореть, чем одна овдоветь.

В первом вдовстве он так сильно не ощущал свалившейся на него тяжести. Тогда все-таки была жива и

старуха, его мать, и обязанности по дому тянула, как коренная лошадь. Теперь их навьючила на себя Ксенья, но оттого, что она жила в его доме на непонятном и ему положении, Василия Петровича еще сильнее давила вина за то, что ей приходилось, как прислуге, потеть на чужую семью — обшивать, обстирывать ее, ходить за скотиной, хозяйничать у печи да еще и голубить чужих детей.

Василий Петрович видел, что Ксенья стала непохожа на прежнюю, молчаливая, неулыбчивая. Она будто несла чужой крест и не знала, сбрасывать его или донести до могилы.

И все-таки находили и на Ксенью светлые полосы: она вбегала в избу, с морозу красная, и, хохоча, хватала Кирилку и начинала тереться холодной щекой о его лицо.

— Пу-у-сти, — вырывался он, но она зажимала его в коленях и осыпала всего поцелуями, Кирилл не успевал обтираться.

— Всего замусля-я-вила, — тянул он недовольно, но Василий Петрович видел, что сын уже притерпелся к Ксенье. — Лучше бы рубаху погладила, а то бабы смеются, в измя-я-той хожу-у...

— В измятой? — спохватывалась Ксенья. — Ох ты, господи... Да ты же опять сегодня не ту надел... Я же тебе с утра горошком нагладила...

— А го-о-рошком — бабы смеются: го-о-ворят, как ку-у-ричий по-о-мет...

— Ох ты, господи, да что за привередливые бабы у нас, — улыбаясь, хмурилась Ксенья. — Хорошую рубаху забраковали...

Она разогревала утюг и бралась наглаживать Кириллу одну рубаху за другой.

— Ну, вот теперь пускай посмеются... Теперь как жениха вырядим. На выбор надевай любую рубаху, какая на тебя взглянет.

Кирилл стоял тут же, положив на столешницу подбородок, и ревниво следил за сноровисто бегающим утюгом.

— Я все-е наде-е-ну, — заявил он, поразмыслив. — И бу-у-ду ба-а-бам пока-а-зывать: они все-е гла-а-же-ные...

— Носи на здоровье. — И Ксения в припадке веселого возбуждения повернулась к Василию Петровичу. — А ты чего же меня, Василий Петрович, замуж теперь не зовешь? Раньше с бородой был, так звал, а как примолодился — и гордость заела...

У нее были, как у кошки, зеленоватые глаза. Василий Петрович впервые заметил это. Он опешил, закашлялся.

— Не кашляй. Все равно не поверю, что старый. — Она уселась к окну, и Василий Петрович испугался, что у нее снова схлынет хорошее настроение.

— И рад бы бодрить, да штаны коротки, — нехстати обронил он, сознавая, что говорит горькую правду: годы-то все же у него не огневые уже.

Но Ксения, занятая своим, не обратила на его слова никакого внимания.

— Ты слышал ли? — спросила она. — Меня ведь бабы теперь Аксиной зовут. Как ровню свою... Как бабу... Ну дак ведь и то правда: сорок лет...

## 5

В узкие прорубы окон падали отсветы снега, и во дворе было бело, как почти что на улице. И все-таки, когда Аксиныя, раздав по кормушкам сено, перешагнула заледеневший от пара порог, глаза у нее заслезились от искристого полыхания сугробов. Морозец легким облачком вырывался изо рта и хватал за нос.

Аксиныя, закрывшись рукавом черного халата, побе-

жала в молокомерную. Там целыми днями топился котел и было по-парному удушливо.

— Охти, ахти, — потянулась навстречу ей Фая Абрамова и зевнула. — Охти, ахти, за кого бы замуж пойти...

Аксинья сразу сообразила, в чей огород бросаются камушки, и поняла, что тут шел разговор о ней.

— За Васю-Грузля, — не растерялась она.

Бабы выжидающе притихли, а Фая почувствовала себя уязвленной:

— Ой, за Васю-то уж я бы ни за что не пошла. Это ты стариком не побрезговала.

— Радоваться, Фаинушка, надо, что он нами не брезгует, — поддержала Аксинью Маня Скрябина. Она вымыла в парившем ведре руки, встряхнула с них брызги на огонь, и в топке запотрескивало, будто туда бросили соли.

— Ты с ума сошла, — ужаснулась Фая. — Ну-ко, каково: старик над тобой пыхтит?

Аксинья вызывающе придвинулась к Фаяе и шепотом выдохнула в ее лицо:

— Что ты, пыхтит? Я ведь только сейчас и любовь-го нажила настоящую.

Фая недоверчиво передернула плечами:

— Ну да, любовь... — И, подмигнув Мане, безжалостно добавила: — Любит жена и старого мужа, ежели не ревнив.

Аксинья сняла колхозный халат, взяла с вешалки свое пальто и, одевшись, вышла из молокомерной. За спиной она еще успела услышать возбужденный возглас Мани Скрябиной: «Да ты что, Фаинка? Меня бы Вася от смерти спас, так и я бы у него тоже осталась», — и закрыла дверь. Но и дверью голоса не глушились.

— А я бы нет, — упорствовала Фая Абрамова. — Это же не радость, а мука со стариком-то жить...

Аксинья невольно остановилась.

— Дурочка, — сказала Маня. — Умерла бы в лесу...  
А теперь Вася ей как вторую жизнь подарил.

— А лучше уж никакой, чем такая!

— Откуда ты знаешь...

— А ты на нее посмотри... Как недоеная корова ходит...

Аксинье невольно стало слушать их перебранку, она медленно завывала по дороге снегом.

Воробьи дрались на запорошившей подворье сеной трухе, взлетали друг перед другом, расхохлившись, возбужденно пищали.

«А вам-то чего нейдется? Старика, что ли, тоже не поделили?» — Она запахнулась концом полушалка, чтобы не отморозить нос.

Воробьи не обратили на ее взмах никакого внимания и чуть не угодили Аксинье под ноги. Они вспорхнули, когда их можно было уже накрыть рукавицей.

Над лесом, в морозном тумане, то ли садилось солнце, то ли уже всходила луна, багровая и большая. Под ней черными головешками стыли на березах тетерева. Деревья гулко потрескивали, серебристый иней снежинками опадая на землю.

Дорога была уложена полозьями саней, играла красным. Алые отблески слепили Аксинью, она вынуждена была отводить взгляд в сторону и, чтобы не оскользнуться, утишать, как на льду, и без того коротенький шаг. Над крышами в Полежаеве расплзался тянущий дым. Его свертывало морозом в седеющие клубы и прижимало к земле. Аксинья проскочила свой дом на круче. К нему ненамято белела сугробная целина.

Аксинья невольно задержала дыхание и оглянулась.

Окна у дома были наглухо забиты досками, и щели между ними мохнато обозначились куржаком. С крыши обвисло закручивались карнизы наметенного снега. Аксинья равнодушно подумала, что они могут прода-

вить прогнившую дранку. Крыша давно просила ремонта, протекала даже от морозящих дождей, и Ксенья все собиралась нанять какого-нибудь мужика, чтобы перекрыть ее, но так вот и не собралась. А теперь пусть новый хозяин перекрывает.

Аксинья уже не раз предлагала Василию Петровичу продать ее дом, но он, ничего не ответив на это, сходил, заколотил досками окна, крестом прибил на двери две поперечины и только тогда сказал:

— Может, ещё и вернуться надумаешь...

А уж куда возвращаться? Ее песенка спетая. У чужого огонька теперь только и греться.

Аксинья услышала под горой ребятишкины взвизги.

Ну, так и есть, опять у Василия Петровича в огороде на лыжах катаются. Спуск там крутой, катайтесь бы на здоровье, так пацанва ж всю изгородь истолкла. Ну-ка, разгонится с такой вышины, так сколько ж надо ему простора, лыжи-то за реку даже выносят.

— Василий Петрович, да уйми ты их, — просила не раз Аксинья.

Но Вася-Грузель только посмеивался:

— Пускай промнутя.

— Да они же за зиму у тебя весь заплот по жердочке разнесут. Им ведь одного прясла мало разгородить, им все пролеты давай.

— Пущай. На то и ребята. Круче-то моей горы не найти.

— Вася, — уже, будто жена, называла его Аксинья, надеясь хоть этим раздобрить Василия Петровича, — да они же все истолкут.

— Жив буду, весной протяну новую выгороду. Дело — на два часа.

Для мужика, конечно, невелико расстройство, топор в руки взял, навыврубал в ельничке виц и кольев, а жерди сгодятся и старые. Это для бабы мучение, когда изгородь начинает рушиться и валиться. Ксенья

раньше затыкала появляющиеся дыры досками и горбылями, но ведь это до первого поросенка; ткнется рылом — и в огороде. Она и заново-то обвечивала потевшие спайку колья, но у бабы обвечивание бабье: колья тут же снова и разъезжались. Изгородь угрожающе кренилась, Ксения подпирала ее чем придется и опять думала, что надо бы нанять мужика. Но на каждую затычку не нанимаешься. В деревне привыкли все делать сами. И она как умела, делала. Ее работа держалась до первого испытания. Ненароком навалился кто-то на жердь — треснуло. Поросенок вздумал чесаться — поникло к земле. Петух на кол взлетел — так и то спохватилось.

У Васи в огороде было укатано как на дороге: беги любым местом — вздымет. Корова, пожалуй, и то ни разу не оступилась бы.

«Ну, что ты поделаешь, паразитов и мороз дома не держит», — усмехнулась Аксинья.

Она самым первым увидела на горе Кирю. Он стоял над обрывом у заиндеветших черемух и, вытягиваясь, упирался на лыжные палки и заглядывал в пугающую крутизной пропасть. «Уж не съезжать ли наладился? — испугалась Аксинья и, заторопившись, чуть не бегом побежала в гору. — Или положе-то нигде не нашел...» У черемух вниз даже страшно было смотреть, и Кириллу ли соваться туда...

Аксинья выскочила на угор, Кирилл услышал шаги, обернулся и, узнав Аксинью, оттолкнулся палками, полетел в крутобокий провал. У Аксиньи зажалось дыхание. Ей показалось, что лыжи не касались снега, парили по воздуху и, обвисая, хлябали на ногах. «Разобьется ведь!»

Кирилл вынырнул из-под обрыва, его взметнуло от резко разгибающегося к реке спуска, приподняло над снегом и развернуло к лыжне боком. Кирилл не устоял на ногах, повалился навзничь. Лыжи, замельтешив, как



крылья ветряной мельницы, прокололи наст и колыями воткнулись в землю. Кирилл выдернулся из валенок, припутанных к лыжам ременными креплениями, и его, босого, раскручивая волчком, шарахнуло к изгороди.

Аксинья, не помня себя, скатилась на ягодицах под уклон и, руганью заглушая обморочную тревогу, побежала к растянувшемуся пластом Кириллу.

— Кирю-ю-ша! Ведь убили, наверно.

Он оторвал от снега исцарапанное о наст лицо.

Аксинья схватила Кирилла на руки, понесла в гору.

Он, видать, и сам испугался, подавленно молчал, и Аксинья, успокаиваемая его молчанием — если бы вывихнул чего, так орал благим матом, — прижимала его к себе, укрывала ноги полрой пальто. Она в эту минуту забыла о валенках, суматошно уносила Кирилла домой.

— Да я са-а-ам, — наконец опомнился он.

— Куда сам? Куда сам? — затараторила она и не отпускала Кирилла с рук. — Никуда ты теперь не уйдешь... На замок дома запрю... Окна забью решетками.

Кирилл засопел носом, но не захныкал.

Аксинья втащила его в тепло, поставила у порога на ноги:

— Ну-ка, пройдишь немножко, пройдишь... Ничего не болит? Нет?.. Ну а руками, руками взмахни... — Она тревожно вглядывалась Кириллу в глаза, пытаясь выследить в них тот момент, когда они исказятся болью.

— Я сейчас за ва-а-ленками схо-о-жу, — протянул Кирилл и ухватился ручонками за скобу.

— Да сиди ты. — Она отодвинула его от дверей, выбежала на улицу.

Ребята уже выносили из-под горы Кирилловы валенки, так и не отпустывая их от лыж.

Вот тут-то Аксинья и дала себе волю. Страх, который до поры до времени был спрессован в ней камнем

и который раньше ничем, кроме крика, не выдавал себя, сейчас, расставаясь с Аксиньей, колотил ее неумемной дрожью и подкашивал ноги.

Она беспamięтно закричала:

— Чтобы я вас больше никого здесь не видела! Ноги охламонам повыдергаю, только сунетесь ко мне в огород!

Она выхватила у ребят Кирилловы лыжи и замахнулась ими.

Ребята бросились врассыпную.

Аксинья, уже выкричавшаяся, притихшая, вернулась в избу.

Кирилл сидел на полу и распутывал под подбородком затянувшийся в тесемках у шапки узел.

— Ни-и-как не-е сни-ма-а-ется, — пожаловался он Аксинье.

Она сунулась рядом с ним на колени, зубами растянула заледеневший узел.

— Ой ты, горюшко мое. — Она притянула его голову к своей груди. Кирилл доверчиво прижался к Аксинье.

— Е-если бы-ы у меня-я па-алка не зацепилась за лы-ы-жину, дак я-я бы ни за что не упа-ал...

— Да нет, нет, конечно бы, не упал.

Аксинья выделяла Кирилла из всех детей Васи-Грузля. Старшие не тянулись к ней, особенно дичилась ее девчонка. А Алешка, которому уже исполнилось пятнадцать годов, жил сам по себе и не нуждался, видимо, ни в отцовской, ни в материнской ласке. Мишка же во всем подражал ему. А вот Настя страдала без матери. Она волчонком поглядывала на Аксинью, не давала ей гладить свое белье, неохотно показывала отметки в тетрадях и ничего у Аксиньи не просила — ни есть, ни переодеться в чистое — и, как бы ни была голодна, терпеливо дожидалась, когда ее позовут за стол. Даже в баню не ходила с Аксиньей. Всего две женщины в доме,

с кем бы как не с Аксиньей идти, но Настя была всегда на особицу.

А вот Кирилл любил мыться с мачехой. Залезал в деревянную лохань, наполненную теплой водой, хохотал, брызгался.

Аксинья оттирала его мочалкой и приговаривала:

— Ой, у меня ребенок-то, как грузочек, белый теперь.

Кирилл и в самом деле был белый, не в отцову породу, в бабушку Парасью выдался. И не Василия бы Петровича Грузлем дразнить, а вот прилепили несуразное прозвище к цыганисто черному мужику: Вася-Грузель да Вася-Грузель. Вот кто грузель-то — Курилка-Кирилл. Так нет, как в насмешку, ребята и Кирилла прозвали Обабком. К тем сыновьям Василия Петровича хоть подходит: у них головы, как у подберезовиков, смуглые, подпеченные солнышком, а у этого-то рассыпались льняным волокном... Какой он обабок, грузочек он.

Аксинья была сейчас в неузнаваемо приподнятом настроении, словно какой-то клапан, отгораживающий приток радости к сердцу, вдруг опять начал работать.

— Кирюшенька, — она набросилась на Кирилла, живого и невредимого, с поцелуями — он едва успевал обтираться рукавом, — усадила его, как маленького, на столешницу — ножки, свесившись, не доставали до пола — и крепко сплющила в ладонях по-стариковски сморщившееся от этого маленькое лицо. — Хороший ты мой! Любименький!

С фотографии из простенка отчужденно смотрел на нее военный Зиновий.

Щемящая память сдавила Аксиньино сердце тоской.

— А мы сейчас блинчиков испечем, — пропела Аксинья, еще не веря, что тоска переборет в ней радость, и изо всех сил сопротивляясь тоске. — А мы сейчас блинчиков испечем...

Она не знала, с чего вдруг повело ее на блины.

Аксинья оставила Кирилла сидеть на столе, убежала на кухню, засуетилась, кинувшись искать квашонку, и хлопнула себя, бестолковую, по лбу: да где же ей быть, квашонке-то, — в подполье спущена, чтобы не рассыхалась.

Она залезла в подполье, нашла там под лестницей квашню и, чувствуя, как тоска холодит изнутри все тело, выскочила наверх, бросилась опять обнимать Кирилла. Он, будто понимал, что с ней творится неладное, не сопротивлялся.

А она, дурачась перед ним, заприплясывала:

— Те-о-тушка Варва-а-ра, меня ма-а-туш-ка послала: дай сковороды да сковородничка, мучки да подмазочки, у нее вода в печи — хочет блины печи...

Кирилка заулыбался:

— А я бли-и-но-ов-то да-а-вно не е-ел...

— Ну вот, и поешь в охотку.

Зиновий смотрел на нее с фотографии неулыбчиво.

Аксинья воротилась на кухню, отставила от чела заслонку.

Дрова у нее уже были выложены в печи клетью, чтоб завтра, в темноте, не валандаться — поджечь бересту да подпихнуть под поленья огонь.

Она швырнула спичкой — огонь занялся легко, сухие дрова сразу же запотрескивали, и Аксинья забеспокоилась, успеет ли растворить на блины. Она просеяла в решете муку и только тогда опомнилась: квашня-то зачем? Не пироги ведь собралась стряпать, вон под скамейкой глиняная луженка — ее как раз и хватит на всю семью.

Сполохи от печи играли на замерзшем окне. Аксинье показалось, что с улицы кто-то пытается заглянуть в избу, проскребает во льду глазок. Ей слышалось даже, как там кашлянули. Да ведь это же Василий! Вот

говорят, старый хочет спать, а молодой играть. И старого на игру потянуло.

— Василий, ты? — сунулась она к окну. — Невестато у тебя блины печет...

Она отпыхкала на стекле проталину: на улице уже никого не было, но и снег ни разу не скрипнул под валенком — значит, не убежал никто. Аксиныя оторопело прижала руки к груди: ощущение, что кто-то просился к ней на блины, не оставляло ее.

— Кируш, — вышла она из кухни и побоялась глянуть на военную фотографию Зиновия, — куда отец-то отправился?

— На ко-о-ню-ю-шне ко-о-рмушки чи-и-нит...

— Дак зови его на блины... Да и братьев тоже веди вместе с Настей.

Кирилл, отпутав валенки от лыж, сел на полу обуваться.

— А где я на-ай-ду-у их? — как еж, засопел он носом. — Они-и по всей де-е-ревне но-осятся...

— Кирюшенька, найди, миленький. — У Аксиныя выступили на глазах слезы. — Мы хоть всей семьей блины поедим... Я и стряпать не буду начинать, пока все не соберетесь.

Аксиныя поправила в печи полыхающую клеть дров — самый бы жар сейчас, чтобы сковороду с растекшимся по ней тестом сунуть в огонь...

— Иди, иди, Кирюшенька. Я тебя подожду.

Да, Аксиныя любила Кирилла. Он, как та сорока-вестунья в лесу, был для нее тонкой ниточкой надежды, которая обморочно обещала ей жизнь.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

ДЕВКИ ПРИЕХАЛИ . . . . .	5
АЛЕВТИНИНО ГОСТЕВАНЬЕ . . . . .	63
ЗВЕЗДА УПАЛА . . . . .	102
СВАТОВСТВО . . . . .	151
ВЕЗДЕ ХОРОШО . . . . .	190
СУМАСШЕДШИЙ АВГУСТ . . . . .	232
ВО БОРУ БРУСНИКА . . . . .	284

**Фролов Л. А.**

**Ф91 Сватовство. — М.: Мол. гвардия, 1980. — 350 с.  
1 р. 10 к. 100 000 экз.**

«Любви все возрасты покорны...» — писал в свое время поэт. Его слова можно поставить эпиграфом к книге рассказов Леонида Фролова, повествующей о жизни молодежи сегодняшней нечерноземной деревни. Это книга и о любви и о долге. О долге перед Родиной, о долге перед отцами и дедами, передавшими своим детям в наследство величайшее достояние — землю.

**ББК 84Р7  
Р2**

**Ф  $\frac{70302-059}{078(02)-80}$  161-80. 4702010200**

ИБ № 2372

**Леонид Анатольевич Фролов**

**СВАТОВСТВО**

Редактор **И. Гнездилова**

Художник **А. Морозов**

Художественный редактор **Н. Печникова**

Технический редактор **З. Ходос**

Корректоры **Г. Василёва, Н. Павлова, И. Тарасова**

Сдано в набор 28.09.79. Подписано в печать 11.02.80. А01454.  
Формат 70×108<sup>1/32</sup>. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 12,87. Учетно-изд. л. 15,6. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 10 к. Заказ 1527.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.